

Бойцов не оглушают



РАДАИП ХИЕРОВИЧ







СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

*Рафаил
Хигерович*

БОЙЦОВ НЕ ОПЛАКИВАЮТ

(ПОВЕСТЬ
ОБ АНТОНИО ГРАМШИ)

Повесть «Бойцов не оплакивают» посвящена Антонио Грамши — основателю Итальянской коммунистической партии, борцу против фашизма, за демократию и социализм в Италии, выдающемуся деятелю международного рабочего движения. Рассказывая о Грамши и его соратниках, автор книги воссоздает героические эпизоды становления и борьбы одной из крупнейших коммунистических партий современности.

Рафаил Хигерович начал свою трудовую жизнь на заводе, служил в военной авиации, в 1941 году ушел на фронт. После окончания войны целиком посвятил себя литературному труду. Он известен как драматург и прозаик, автор книг «Путь писателя», «Младший брат», «Помилуван каторгой» и др.

**История — это вечность; зло не может
взять верх, беспорядок и варварство не
могут взять верх, пропасть не поглотит
людей. Мир спасет себя сам, своими соб-
ственными силами; рождаясь среди горя
и отчаяния, люди несут в себе нравствен-
ные богатства и способность к жертвам и
неслыханным подвигам.**

Антонио Грамши

Памяти Ирины Александровны Жигалко,
без которой не было бы этой книги.

ОТ АВТОРА

Три десятилетия отделяют завершенную книгу от поездки по незнакомому тогда маршруту.

...Набитый до отказа послевоенный московский троллейбус. Шумное Садовое кольцо. Тихий переулок — тупичок, упирающийся в арку ворот. Двор, обсаженный молодыми деревьями, незамысловатая детская площадка — песочница, грибок, на площадке малыши — первое послевоенное поколение.

Дом четырехэтажный, без лифта, постройки конца двадцатых годов, обыкновенный московский дом. Квартира на втором этаже. На звонок ответил женский голос: «Одну минуточку». Возня с ключом. Передняя, обычная московская передняя. «Сюда, пожалуйста». С порога комнаты открывается то, ради чего я стремился в этот дом! Дом, в котором он никогда не был. Он — Антонио Грамши, основатель Коммунистической партии Италии. Комната московской квартиры, в которой раньше жил старый русский революционер-восьмидесятник, позднее большевик Аполлон Александрович Шухт, а ныне живут его потомки, любовно превращена в музей.

С портрета на стене смотрит молодой Грамши. Чуть уловимая добрая улыбка смягчает твердые, словно высеченные резцом черты. Под портретом на подставке посмертная гипсовая маска, слепок руки. За стеклом в шкафу маленькая, но совсем как настоящая повозка на дере-

вянных колесах — повозка сардинских крестьян. Рядом тщательно отшлифованный нож для разрезания бумаги. Две вещи лежат рядом, между ними целая жизнь. Повозку Грамши смастерил в Москве, в Серебряном бору, и был это подарок милой молодой женщине Юлии Шухт, которая вскоре стала его женой, «дорогим товарищем», матерью двух сыновей. «Любимая», — латинскими буквами выводит Грамши нежное русское слово в письмах, озаренных светом большого мужественного сердца. Нож — тоже подарок жене; Грамши сделал этот нож в одиночной камере.

Незатейливые предметы тюремного обихода: вилка, ложка, металлическая тарелка, очки, чернильница.

Две книги под стеклом: Данте «Божественная комедия» и Данте «Новая жизнь». Одна книга подарена «дорогой Юльке» в Москве. Другая... на ней надпись: «Грамши Антонио», неразборчивая подпись директора тюрьмы в Тури, круглая тюремная печать.

Для стоящей рядом со мной Юлии Аполлоновны каждая вещь — дорогое, тревожащее душу воспоминание. Наши ощущения несоизмеримы, иначе быть не может, и все же возникает смутное чувство вины.

Выходит из комнаты и тут же возвращается Евгения Аполлоновна, сестра Юлии.

— Вот еще, взгляните... Эта книга, собственно, не имеет отношения к Антонио, но он ее знал... Подарок Анны Ильиничны Ульяновой. |

На обложке название: «Школьные товарищи. Сочинение Эдмондо Де Амичиса. Перевод с итальянского А. И. Ульяновой. Издание И. Д. Сытина, 1898 г.» На титульном листе четкая надпись чернилами: «Наде, Тане, Жене и Асе от переводчицы».

Когда и где Анна Ильинична подарила дочерям Аполлона Александровича Шухта, давнего друга Ульяновых, свой перевод популярной повести итальянского писателя? Евгения Аполлоновна задумалась. Ее первые воспомина-

ния о семье Ульяновых восходят к началу 90-х годов. А книга, книга — это чуть позднее, но тоже еще в прошлом столетии. Анна Ильинична с сестрой навестили Шухтов в Швейцарии. Нет, не в деревянном доме на улице Маланью в Женеве, где часто бывал Владимир Ильич Ленин, а в маленьком шале в горах Швейцарии. Родители и они, девочки, очень обрадовались гостям. Но в тот раз или в какой другой была подарена книга? Евгения Аполлоновна вопросительно смотрит на сестру. Юлия Аполлоновна никак не может помочь, она моложе Евгении на семь лет.

Старшая сестра снова выходит и возвращается с объемистой папкой. В папке рукопись на машинке — перевод на русский язык «Писем из тюрьмы» Грамши. Эти письма разными путями приходили в московскую квартиру и бережно хранились. Письма мужества и верности, чистой любви и горькой разлуки. Сейчас эти письма известны всему миру. Но тогда их можно было прочитать только в рукописи, сидя за столом в этой необыкновенной комнате-музее.

...Прошло 30 лет. Многое изменилось на свете. Ветер перемен коснулся и тихой мемориальной комнаты. Опустился стеклянный шкаф: большинство предметов переместилось в Сардинию. В небольшом городке Гиларце, в доме, который помнит маленького Антонио — Нино, как его называли в детстве, — создан народный музей Грамши. В Москве осталась повозка сардинских крестьян, еще кое-что. И совсем маленький, карманный томик Данте. Наверное, он скромно лежал под стеклом и раньше, но за другими предметами не бросался в глаза. Томик Данте Грамши носил всегда с собой: в кармане пиджака, куртки, потом тюремного халата, носил и читал до последних дней...

Опустел шкаф, зато пополнились книжные полки. Как и прежде, стоят книги личной библиотеки Грамши,

спасенные от фашистов Татьяной Аполлоновной Шухт: недорогие издания на итальянском, французском, английском языках, почти все с тюремной печатью и личным номером заключенного «7047». Русские писатели (в переводах на итальянский и французский): Александр Пушкин, Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Иван Гончаров, Владимир Короленко, Илья Эренбург, Михаил Шолохов... Научные работы, которые особо упоминаются в «Письмах из тюрьмы», например, «Жизнь Данте» профессора Умберто Космо, чьим учеником был Грамши в пору студенчества.

Книги-друзья, верные спутники по жизни. У каждой позади беспокойная судьба. Некоторые путешествовали с ним из Турина в Москву, из Москвы в Вену, из Вены в Рим. «Книг-путешественниц» сохранилось немного, одна из них «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» — работа В. И. Ленина, переведенная в Италию.

В Москву и в этот дом личная библиотека Грамши прибыла в конце 30-х годов. В 1948 году к книгам-«старожилам» прибавилось первое итальянское издание «Писем из тюрьмы», сейчас на полках — целый ряд «Писем» на многих языках мира. В 1951 году из Италии пришло первое шеститомное издание «Тюремных тетрадей». Вот они, эти шесть томов, выход которых произвел впечатление разорвавшейся бомбы, доброй бомбы, если такие бывают: «Исторический материализм и философия Бенедетто Кроче», «Интеллигенция и культурное строительство», «Рисорджименто», «Заметки о Макиавелли, о политике и о современном государстве», «Литература и национальная жизнь», «Прошлое и настоящее». Выстроились последующие многоязычные издания «Тюремных тетрадей», вплоть до последнего четырехтомного итальянского, отразившего в комментариях некоторые итоги тридцатилетнего изучения историками и философами выдающегося наследия Грамши, одного из соратников В. И. Ленина.

Сегодня теоретическое наследие Грамши стало полем острых столкновений различных политических концепций, предметом страстной международной полемики. Бесспорно,— и на этом сходятся все оппоненты — идеи Грамши, его видение будущего ныне, через четыре десятилетия после смерти Грамши, ставшего настоящим,— одно из ярких и оригинальных явлений в развитии философской мысли, великий пример того, как творческое применение марксизма, несмотря на противоречия времени, остается единственно верным и надежным компасом в сложной, взрывоопасной ситуации современного этапа истории человечества.

Велик интерес к Грамши, естественно желание исследователей уловить движение мысли Грамши, понять и объяснить некоторые малоизвестные детали его биографии, в частности последний период его жизни. На действительно скудном фактическом материале последних тюремных лет делаются подчас весьма субъективные выводы. Привлекая документы из архива семьи Грамши, попытаемся этот материал расширить.

После перевода Грамши из Тури в Формию, а затем в Рим только три человека, из числа близких, могли видеться с заключенным: его свояченица Татьяна Шухт, брат Карло и старый товарищ Пьеро Сраффа, профессор политэкономии Кембриджского университета, на короткие сроки специально приезжавший из Англии. Регулярно навещать заключенного имела возможность одна Татьяна Аполлоновна. Ее письма родным, хранящиеся в семейном архиве, дают картину этих посещений: каждый раз она словно проходила сквозь строй карабинеров и многочисленных агентов в штатском. Формальное улучшение жизни заключенного (перевод из общей тюрьмы) повлекло за собой усиление охраны и новые тяготы.

Бережно хранимые письма Татьяны Шухт — неприкрашенная хроника жизни Грамши последних лет, свиде-

тельство его огромной нравственной силы. Одновременно письма — своеобразные отчеты о борьбе человека с физическими недугами, о его медленном умирании. Естественно, они могут быть широко использованы лишь в выдержках, что и сделал автор с разрешения семьи Грамши.

Автор благодарит всех, помогавших ему: членов семьи Грамши; членов семей Героя Советского Союза Примо Джибелли, Эрнани Чиваллери, Джино Де-Марки; одного из старейших итальянских коммунистов Паоло Роботти (Рим); товарища Грамши по тюремному заключению Джованни Лаи (Сардиния); советских исследователей, в первую очередь Цецилию Кин, Каролину Мизигано и многих-многих других доброжелательных помощников на пути создания книги о нашем современнике, истинное величие которого мы только начинаем постигать.

«...Он мыслил ради всех, он говорил со всеми и страдал за всех» (Пальмиро Тольятти).

ЧАСТЬ I

В СТРАНЕ СТА ГОРОДОВ

Страна ста городов — одно из средневековых названий Италии (*редакционное примечание к «Тюремным тетрадям» А. Грамши*).

Городом именуются не камни, а жители.
Исидор Севильский, VI—VII вв.

ТУРИН, ВЕСНА 1913 ГОДА. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

От университета до пьяцца Карлина, где в мансарде многоэтажного дома под номером 8 квартировал студент Антонио Грамши, было недалеко, но профессор Умберто Космо весьма сожалел, что взял на себя эту малоприятную миссию. Стоял холодный ветреный день, порывы циклонической, или, как ее называют в здешних местах, черной, боры разогнали всех прохожих.

— Ужасный ветер... он пронизывает насквозь... сшибает с ног... — бормотал профессор, обеими руками придерживая шляпу. — Адский ветер...

То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.

Профессор Космо преклонялся перед Данте Алигьери. Мир великого флорентийца стал его миром, свои чувственные восприятия он вольно или невольно выражал поэтическими образами Данте. Вот и сейчас память услужливо предложила терцину из пятой песни «Ада».

Впрочем, происхождение «адской» черной боры вполне земное: во второй половине зимы и в начале весны она рождается в Пьемонтских Альпах, стремительно спускается с гор и обрушивается на Турин массы холодного воздуха. Профессор Космо взглянул на небо, сплошь покрытое белесыми слоистыми облаками (очевидно, в горах шел снег), поднял воротник пальто и пошел быстрее.

Неприятное ощущение от предстоящего дела возникло не из-за дурной погоды и не сегодня, а два дня назад, когда возвратившийся из поездки в Париж Космо заглянул перед лекцией к секретарю факультета и тот вручил ему записку от профессора языкознания Маттео Бартоли. Бартоли писал, что, по имеющимся у него сведениям, слушателя филологического факультета Антонио Грамши предположено снять со стипендии, учрежденной для нуждающихся учащихся. Это грозит уходом из университета в высшей степени одаренного студента. Поэтому профессор Бартоли, зная бескорыстную заинтересованность профессора Космо в судьбе Грамши, просит коллегу не счесть за труд побеседовать с упомянутым студентом. Бесценный педагогический опыт и такт несомненно помогут профессору Космо... и так далее. Слова «бескорыстная заинтересованность» были написаны — или так показалось Космо — с нажимом пера. Дело в том, что заинтересованность была «корыстная» и со стороны Космо и, как можно было предположить, со стороны Бартоли.

Космо считал Грамши талантливым, многообещающим студентом. Он любил этого маленького сардинца с бездонными синими глазами. Любил за необыкновенную жажду знаний, за остроту ума, за не знающую преград одержимость в поисках истины. Однажды, отвечая на пытливые вопросы студента, профессор вдруг ощутил чувство неловкости и смущения, которые возникают при соприкосновении с более высоким интеллектом. Профес-

сор тогда рассердился на себя и решительно погасил странное чувство. Но оно упорно возвращалось.

В мыслях, которыми он пока еще ни с кем не делился, профессор Космо видел Грамши своим преемником, которому он передаст эстафету знаний, а позднее и курс итальянской литературы. Очевидно, коллега Бартоли имеет виды на способного студента по своему предмету — сравнительному языкознанию.

В чем же все-таки причина беспокойства за судьбу Грамши? Секретарь факультета ответил, что во время отсутствия профессора Космо состоялось заседание президиума стипендиального фонда «Имени Карла Альберта — короля сардинских провинций». Президиум выразил неудовольствие тем, что удостоенные стипендии молодые люди вместо того, чтобы посвятить себя науке, участвуют в уличных беспорядках и демонстрациях. По филологическому факультету был назван Антонио Грамши, по юридическому — Пальмиро Тольятти.

Тольятти! Снова этот юноша! С тех пор как Космо стал интересоваться жизнью Грамши, неизменно где-то рядом ощущалось присутствие Тольятти. Дружба между студентами возникла в стенах университета, видимо, еще в дни конкурсных экзаменов на соискание той самой стипендии — 70 лир в течение 10 месяцев в году, — которой они могли теперь лишиться. К экзаменам допускались бедные молодые люди, родившиеся в бывших провинциях сардинского королевства. Стипендия давала возможность неимущим продолжать свое образование в университете, стипендиаты были обязаны посещать лекции, своевременно и хорошо сдавать экзамены. Для старательных и небесталанных студентов обязанности, в общем, необременительные. Так что же случилось?

Первые семестры Грамши занимался с каким-то жадным упоением, и Космо мог поклясться, что наука — главное в жизни одаренного юноши. Кроме занятий по

филологии Грамши вместе со своим другом слушал ряд курсов на юридическом факультете: профессора Паккиони — по римскому праву, Луиджи Эйнауди — по политической экономии, Франческо Руффини — о взаимоотношениях между церковью и государством. Тольятти же Космо не раз замечал в своей аудитории: оказалось, что студент-юрист слушал еще и лекции Артуро Фаринелли о немецком романтизме и лекции Маттео Бартоли по языкознанию. Что ж, весьма похвально!

Но в нынешнем году Антонио Грамши словно подменили. И беда даже не в том, что он стал пропускать занятия по болезни, — это неудивительно при его слабом здоровье. Тревожнее другое. Однажды во время лекции профессор Космо взглянул в лицо Грамши, как не раз делал это, адресуя аудитории новую мысль, и встретил отсутствующий взгляд. Студент был далеко, он думал о чем-то своем.

За долгие годы преподавания в туринском лицее имени Джоберти и вот теперь в университете профессор Космо убедился: чем одареннее студент, тем сложнее и болезненнее у него протекает процесс формирования личности. Именно это, как предполагал Космо, переживает сейчас Грамши. Как помочь молодому человеку? И можно ли помочь? Ведь вмешательство извне иногда способно нанести рану.

Судьба талантливого студента беспокоила профессора. И все-таки без еще одной побудительной причины он, Космо, вряд ли решился бы на этот визит. Ведь можно было послать к Грамши университетского служителя с запиской или одного из студентов, того же Тольятти, например. Однако он пошел сам, да еще в такую дурную погоду. Ежась от порывов черной боты и размышляя о своем поступке с некоторым даже недоумением, Космо вынужден был признать, что побудительная причина лежала в его парижской поездке.

Профессор виновато отмалчивался, когда жены ученых коллег забрасывали его вопросами: что носят в Париже, какие шляпы, какие бурнусы? Не мог удовлетворить и возбужденный интерес к поэту Гийому Аполлинеру, заключенному в тюрьму Санта по ложному обвинению. Был крайне немногословен даже тогда, когда затрагивалась основная цель поездки — чтение лекций о Данте. Всегда радовавшие вопросы, связанные с его работой над Данте, были теперь даже неприятны; таким бескрылым и ничтожным показался профессору собственный вклад в науку после впервые увиденной в Париже многофигурной композиции Родена «Врата ада», изваянной по мотивам «Божественной комедии».

Ни прочитанные книги, ни фотографии не могли передать подлинную мощь этого творения. Композиция властно вовлекала зрителя в высокую сферу раздумий о сложности человеческой природы, напоминала о том, что мир полон смятения и непостоянства. Человек бредет ощупью, испытывая терзания от своего бессилия, от нечистой совести и собственных пороков. Роден как-то сказал, что на всю жизнь приковал себя цепями к «Вратам ада». И это не было преувеличением. Заказ на дверь — всего лишь на скульптурно орнаментированную дверь для нового французского музея декоративного искусства — стал на три с половиной десятилетия счастьем и мукой Родена. Суд Данте над своим веком резец гениального скульптора превратил в суд над веком Родена.

Великое сотворчество через пропасть шести столетий! Космо жаждал с кем-нибудь поделиться мыслями и впечатлениями. Как ни странно, наиболее желанным собеседником для него был студент второго курса Антонио Грамши. После неприятного разговора о стипендии профессор расскажет о «Вратах ада», и — он надеялся — возникнет та изумительная интеллектуальная близость, которая так влекла Космо к этому студенту.

...Да, но где же пята Карлина? Космо был близок, чтобы разглядеть таблички, ему приходилось подходить к домам вплотную и запрокидывать голову, раздраемая ветром роскошная борода профессора, не раз воспетая в студенческом фольклоре, яростно вздымалась к небу... Нет, это не пята Карлина. Очевидно, он свернул направо, а нужно было налево. Или наоборот: он свернул налево, а нужно было направо?.. Космо оглянулся... У кого бы спросить?.. Поистине, Турин — странный город. Рано утром, когда профессор вышел из дома — а жил Космо в южной части Турина за рекой По, в районе, где на рубеже XIX и XX веков как грибы после дождя выросли автомобильные заводы «Фиат», — его удивило многолюдье: на перекрестках и у моста стояли группы рабочих. Это были забастовочные пикеты. Угрюмые, усталые лица. Космо не одобрял забастовок, но проходил мимо пикетов с виноватым чувством собственного благополучия. В университете профессор обменялся впечатлениями с коллегой, жившим в восточном предместье Турина — Дора. И там с утра пикеты: текстильщики — самый старый отряд пролетариата Турина — пришли на помощь автомобилестроителям.

Казалось, весь Турин охвачен гигантским кольцом бастующих рабочих. А здесь, в центре, ни души. Если зайти в какую-нибудь лавку?.. На вывеске раскрытая книга, чернильница с торчащим из нее гусиным пером, горящая свеча, пламя которой, будь оно настоящим, сожгло бы и перо и книгу. В витрине, за тусклым, давно не мытым стеклом большая раскрашенная гипсовая мадонна в окружении целого сонма святых. Святые были разных размеров, в группе это производило странное впечатление. Сама мадонна казалась безголовой, верхняя половина стекла изнутри была закрыта рекламой лото — официальной правительственной лотереи. С недавних пор билеты лото стали продаваться и в частных лавках, в том числе,

к нагодованию профессора, в книжных и канцелярских. Раньше он любил такие лавчонки: в них можно было приобрести карандаши, чернила, конверт с маркой, сегодняшнюю газету, в них водились старые книги... Однажды набрел на целую коллекцию инкунабул — первопечатных книг, выходивших в Европе во второй половине XV века. Счастливая минута!.. Теперь, с наглым вторжением лото, все изменилось.

Космо толкнул дверь и вошел в лавку. Несколько человек, переговариваясь громким шепотом и возбужденно жестикулируя, внимательно изучали вывешенные на стене «счастливые номера», один что-то записывал в клеенчатую ученическую тетрадь. Стоящий за прилавком продавец, возможно сам хозяин, встретил вошедшего вежливым поклоном.

— Прошу прощения, только подберу синьору бухгалтеру его газеты.

Растрепанные седые усы и редкая клочковатая бородка придавали продавцу сходство с портретом стареющего Джованни Джолитти, трижды за последние десять лет возглавлявшего кабинет министров Италии.

— Пожалуйста,— продавец вручил газеты пожилому худому мужчине, нервно постукивавшему костяшками пальцев по прилавку.— Надеюсь, сегодня вы найдете то, что ищете.

Худой мужчина молча схватил газеты. Продавец повернулся к Космо.

— Чем могу служить, синьор профессор?

— Вы меня знаете?

— Ко мне часто заходят студенты университета,— уклончиво ответил продавец.— Полагаю, вас интересуют старые книги. Посмотрите здесь на прилавке и на нижних полках.

— «Бои в оазисе Джоффра, в Фецпане!» — фальцетом выкрикнул худой мужчина, не отрывая глаз от газе-

ты. — «Генерал Амельо настаивает на тактике «выжженной земли»!» Нет конца, нет конца!.. — Он судорожно сжал газеты и торопливо направился к двери.

Космо перебирал книги... Ничего интересного. Продавец наблюдал за профессором своими грустными глазами. Спросить адрес и уйти, ничего не купив, казалось неудобным. Профессор уже решил попросить вернуть первую попавшуюся книгу, как в куче макулатуры мелькнула знакомая обложка: Данте Алигьери, сборник философских сочинений и трактатов, хорошее флорентийское издание 1906 года. Прекрасный подарок для Грамши, идеальный повод для визита...

— Я беру Данте. Сколько платить?

Продавец смущенно повертел книгу в руках.

— Мне весьма неприятно... Том отложен для одного постоянного покупателя. Не сердитесь, синьор профессор, покупатель — очень талантливый и очень бедный студент. К сожалению, так часто бывает. Он живет рядом, на пьяцца Карлина.

— На пьяцца Карлина! Не Грамши ли?..

— Вы угадали, синьор профессор.

— Я направляюсь именно к нему и буду рад подарить молодому человеку заинтересовавшую его книгу, радуясь, что все так хорошо получилось, говорил Космо, пока продавец отсчитывал сдачу и завертывал покупку.

«Пьяцца Карлина, 8». Наконец-то!.. Унылый многоэтажный дом, и, кажется, на самом верху. Профессор вздохнул и начал подниматься по крутой, не очень чистой лестнице.

Откуда-то доносился невнятный глухой шум возни. Сквозь шум прорывались и сразу же замирали пронзительные вопли, что-то вроде визга поросенка, когда его упрятывают в мешок. С каждым преодолеваемым этажом шум усиливался, становился отчетливее, пока не распался на ряд обособленных шумов: хриплое дыхание запы-

жавшегося человека, шарканье тяжелых башмаков по каменному полу, визг, неожиданно возникающий на высокой ноте и так же неожиданно смолкающий.

На площадке последнего этажа профессор стал свидетелем суровой экзекуции. Грузная простоволосая женщина в темном фартуке одной рукой крепко держала мальчика лет десяти, другой энергично шлепала его, приговаривая: «Будешь?.. Будешь?.. Будешь?..»

Мальчик издавал пронзительный вопль. Женщина прекращала шлепки и рукой зажимала мальчику рот, повторяя свое: «Будешь?.. Будешь?.. Будешь?..» Мальчик молчал. Но как только женщина отпускала его рот и заносила руку для очередного шлепка, раздавался новый, еще более пронзительный вопль.

На площадку выходили двери нескольких квартир. В какую же постучать?

— Извините, сеньора, но мне нужно повидать студента Антонио Грамши.

Женщина опустила руки и выпрямилась. Почуввав свободу, мальчишка стремительно ринулся вниз. Женщина перегнулась через перила:

— Только вернись домой, только вернись! Я тебе покажу!

Далеко внизу, как выстрел, хлопнула входная дверь.

— Придержи дверь, паршивец, придержи дверь! — подала женщина явно запоздалый совет.

— Мальчик уже далеко, он вас не слышит, — миролюбиво сказал профессор Космо. — Не укажете ли вы, сеньора, где живет студент Антонио Грамши.

Не отвечая, женщина скрылась в одной из квартир. Изумленный и раздосадованный профессор попытался самостоятельно решить проблему, но женщина уже появилась вновь. Она сняла фартук, прошла гребнем по волосам и накинула на плечи шаль.

— Вы что-то спрашивали, сеньор? — к удивлению

профессора, низким грудным голосом произнесла женщина.

— Только одно: где живет студент Антонио Грамши?

— А, наш Сансонедду — маленький Самсон. Его так прозвали за пышные кудри. А может быть, еще за что. Кажется, его так называли в детстве. Ну, а прозвища, они, знаете, синьор, прилипчивы. Это здесь, у вдовы Берра. Хозяйка уехала на три дня, а синьор студент дома. Сегодня он никуда не выходил. Пожалуйста, я вам открою дверь. Осторожнее, здесь темно. Если вам что-нибудь нужно будет, я живу напротив.

В маленькой комнате, куда вошел профессор, на первом плане были книги. На столе, на подоконнике, на простой, очевидно самодельной, полке. Грамши лежал на кровати.

— Здравствуйте, Антонио, наконец я до вас добрался, — произнес профессор. Грамши молчал.

— Вы спите? Днем? Может быть, вы нездоровы?

Грамши молчал. Космо наклонился над изголовьем, густая черная борода коснулась лица Грамши.

— Да что с вами, Антонио? — обеспокоенно спросил профессор.

Он положил руку на лоб Грамши, пощупал пульс. Сомнения не было, Грамши не спал, а находился в глубоком обмороке.

Профессор беспомощно оглянулся. Книги, дорогие сердцу профессора книги, верные его спутники и друзья, здесь ничем не могли помочь. Людям нужны люди. Профессор выскочил на площадку, отворил противоположную дверь и закричал:

— Синьора, пожалуйста, синьора!.. — И сразу же, словно ожидая зова, показалась давешняя женщина.

— Меня зовут Франческа.

— Да-да, синьора Франческа! Понимаете, он лежит без сознания, Надо врача.

— Не волнуйтесь, синьор, сейчас позовем.— Она перегнулась через перила и закричала:

— Карлуччо!..

— ...лу-уччо!.. — покатилося по всем этажам.

— Беги за до-октором Ломбардо-о-о!..

— А он услышал вас? — с сомнением спросил Космо.

— О-го, еще как услышал.

В подтверждение этого внизу «выстрелила» дверь.

— Не снимайте пальто, синьор, в комнате холодно.

Я принесу скальдино, погреете руки. Идемте к нашему больному... Только вы не волнуйтесь, это уже у него однажды было. Доктор сказал, что Антонио слишком много работает и слишком мало ест.

— Почему мало ест? У него нет аппетита?

Наивность вопроса рассмешила Франческу.

— У бедных людей так часто бывает, синьор.

Доброжелательное спокойствие Франчески внушало доверие. Женщина на минуту отлучилась, тут же вернулась с чашкой воды и флаконом. Водой брызнула в лицо Грамши, жидкостью из флакона смочила носовой платок и натерла ему виски. В комнате резко запахло нашатырным спиртом. Грамши шевельнулся и открыл глаза.

— Ай, Сансонедду, Сансонедду, — укоризненно покачала головой Франческа. — Напугали профессора... Посидите, синьор, возле него. Я сейчас вернусь.

Она вышла. Космо растерянно сел.

Взгляд больного стал осмысленным.

— Здравствуйте, профессор... Вы... За вами послала добрая Франческа?

— Нет, нет. Лежите, дорогой Антонио, не разговаривайте.

Женщина вернулась с подносом, на котором стояли две чашки — с кофе и бульоном и скальдино — небольшим глиняным сосудом с горячей золой. Скальдино она поставила на скамеечку в ногах постели, кофе подала

Грамши, придерживая чашку, пока больной не сделал несколько глотков.

В комнату вбежал Карлуччо:

— Доктор сказал: буду через час.

— Через час?! — возмутился Космо.

— Доктор сказал: мама знает, что нужно сделать.

— Знает, знает, — добродушно отозвалась Франческа, подавая больному бульон. — Бедные люди без докторов рождаются и без докторов умирают, когда приходит время. Наше время еще не пришло, Сансонедду, нам еще жить и жить! — говорила она, придерживая чашку, хотя в этом уже не было нужды: щеки больного порозовели, движения стали увереннее.

Космо шепнул несколько слов Карлуччо, сунул ему деньги. Карлуччо умчался. Вышла и Франческа.

— И весь этот переполох из-за меня, — смущенно сказал Грамши. — Кажется, я потерял сознание?

— Это был обморок, Антонио. Думаю, на почве переутомления и... голода. Боже мой, голода!.. Как вы могли мне ничего не сказать?

— Сказать что?.. Я легкомысленно растратил свои деньги и расплачиваюсь за легкомыслие. Вот и все. Вы не представляете, как дорого стоит в Турине простое женское платье.

— Женское платье? — ошарашенно переспросил Космо. — Впрочем, почему же... Молодой человек должен иногда повеселиться.

Грамши тихо засмеялся.

— Что тут смешного, Антонио?

— Нет, ничего. Но кажется, я впервые смеюсь за последние два года. В течение двух лет я жил вне мира, почти как во сне. Я жил только мозгом, совсем не жил сердцем. И работал. Возможно, работал слишком много, больше, чем позволяли силы. Только работал. Ни разу не засмеялся и ни разу не заплакал. Но хватит об этом.

Видите ли, профессор, у меня есть сестры, три сестры. И каждая мечтает о новом платье к праздникам. А новое платье в Турине стоит восемнадцать — двадцать лир. Королевская стипендия, как вы знаете, семьдесят лир. К тому же у букинистов нашлась одна очень интересная книга. На все остальное осталось... Впрочем, это неважно.

— Нет, важно, очень важно! К стыду своему, я почти ничего не знаю о своем лучшем студенте. Следовательно, в Сардинии остались три сестры?

— Это совсем не веселая история. Зачем она вам, профессор?

— Пожалуйста, лежите. И если трудно говорить...

— Не трудно. Что же вы хотите знать? Да, у меня три сестры и три брата. Моложе меня двое: брат Карло и сестра Терезина. Отец — Франческо Грамши, скромный конторский служащий, всю жизнь, сколько я его помню, боялся потерять работу и нищенское жалованье. Мать — Джузеппина Марчиа в свою очередь всю жизнь решала сложнейшую задачу: как на жалованье мужа прокормить главу семьи и семерых детей, о себе она не думала. Увы, еды не всегда хватало...

Дверь от толчка раскрылась. Вошел Карлуччо, нагруженный свертками и кулками. Он свалил их на подоконник и протянул профессору не очень чистый кулачок.

— Что это? — удивился Космо.

— Сдача, синьор.

— Оставь себе на мороженое.

— И на апельсиновую воду?

— И на апельсиновую воду. Хватит? — Космо сунул руку в карман.

— Хватит, — великодушно заявил Карлуччо. — На маленькую бутылку.

— Почему, купи большую бутылку. И запомни, в дверь полагается стучать.

— Так ведь у меня были заняты руки.

— Уважительная причина, — улыбнулся Грамши. — Когда съешь мороженое, сбегай к Тольятти.

— К синьору Пальмиро?

— К синьору Пальмиро. Скажи, что я болен и не приду. Он знает, что делать. Понял?

— Понял...

Космо засмеялся и подошел к окну.

— Какой сильный, порывистый ветер. Карлуччо уже на другой стороне площади. Покупает мороженое. Б-р-р, в такую погоду... и апельсиновую воду. Незамысловатые детские радости... Помчался выполнять ваше поручение. Ужасный ветер... Невольно вспоминается вихревое движение фигур на нижних створках и боковых пилонах роденовских «Врат ада». Помните у Данте?

Я там, где свет немотствует всегда
И словно воет глубина морская,
Когда двух вихрей злобствует вражда.
То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ...

Довольный, как ему казалось, ловко переброшенным мостиком к основной теме, Космо отошел от окна, сел и ждал вопроса, который позволил бы ему развить свои мысли. Но вопроса не последовало. Грамши лежал с уже знакомым профессору отрешенным выражением лица.

— Незамысловатые, да, — повторил Грамши. — И все же детское восприятие мира гораздо сложнее, чем нам кажется. Взрослые легко забывают свои детские ощущения, позднее эти ощущения растворяются в комплексе других восприятий мира. Забывается, что ребенок умственно развивается очень быстро, впитывая в себя с первых же дней жизни огромное количество впечатлений. Ими он руководствуется в тот период, когда начинает более осмысленно рассуждать.

— Откуда, мой молодой друг, у вас такие наблюдения?

— У меня младшие брат и сестра, я уже упоминал об этом. И у моих товарищей были младшие братья. Скверная привычка наблюдать и делать выводы из увиденного возникла у меня довольно давно...

Грамши замолчал. Космо терпеливо ждал, потом осторожно спросил:

— Кажется, вы учились в Кальяри, не правда ли?

— Да... Перейдем к следующей главе. В туринский университет является юноша с небольшим запасом знаний, но с большими надеждами. Не будем слишком строги к юноше из Сардинии, кроме множества недостатков у него есть одно достоинство: он умеет относиться к самому себе с легкой иронией. Он — тройной или даже четверной провинциал; это звучит неуклюже, но зато полностью соответствует истине. Ему предстоит преодолеть привычки жителя глухого и сонного городка, отсталый образ жизни и мышления, присущий уроженцу Сардинии, наконец, те исторически сложившиеся особенности и черты характера, которые делают итальянского гражданина провинциальным по сравнению, допустим, с французом или англичанином. В известной степени это ему удастся, но только в известной степени... А теперь, если разрешите, я встану.

— Может быть, лучше еще полежать? Впрочем, не настаиваю... Совсем забыл, я принес маленький подарок.

Космо снял бумажную обертку и протянул Грамши только что приобретенную книгу.

— Вы хотели ее иметь. Во всяком случае, так сказал букинист, похожий на Джолитти.

— Заметили, да? — улыбнулся Грамши. — Простим доброму синьору маленькое тщеславие. Я очень хотел иметь эту книгу. Охотно принимаю подарок.

Космо с удовлетворением наблюдал, как Грамши быстро и осторожно листает книгу.

— Профессор Бартоли,— сказал Космо,— заинтересовал вас историей языка. С помощью Данте объединим интересы филолога и лингвиста. Вы догадываетесь, я имею в виду трактат Данте «De vulgari eloquentia» *. В первые годы изгнания, обдумывая вопрос, на каком языке написать «Комедию», то есть «Божественную комедию», как это творение стали называть после Боккаччо, Данте создал трактат, посвященный проблемам народного языка во всем его объеме, о его литературном и обиходном использовании, начиная от высшей ступени и трагического стиля до общедоступного и элегического стиля и даже до языка отдельной семьи. Как плодотворна главная мысль трактата: итальянский язык не совпадает ни с одним из диалектов, но является их своеобразным синтезом. Вспомним поэтический образ, примененный Данте: исследователь — «Охотник», идет по следам «Зверя» — общенационального языка. Ни в одном из диалектов он не находит «Зверя», но запах его, как утверждает Данте, чувствуется всюду, во всех областях Италии.

— Кроме Сардинии... Или это святотатство, спорить с Данте?

— Почему же, однако не забывая, с кем идет спор. То есть спорить на уровне его мысли.

— Что ж поделать, если в этом вопросе я не согласен с великим флорентийцем? По мнению Данте, сарды даже не итальянцы, так как у них нет собственного народного языка.— Грамши болезненно поморщился и сел на постели.— Действительно, на нашем острове несколько основных диалектов. Так сложилось исторически, ведь Сардиния была введена в состав Италии только при императоре Диолектиане, ее романизация закончилась гораздо позднее. В Сардинии долгое время пользовались греческим языком, наряду с пунийским.

* «О народном красноречии».

Он встал и привычно заходил по маленькой комнатке: от окна к двери и обратно, но заштался и вынужден был опереться на подоконник. Космо с тревогой следил за ним.

— Не лучше ли еще полежать, Антонио?

— Пожалуй... Проклятая слабость... Да, наряду с пупийским. Во внутренних частях Сардинии говорили еще по-иберски и по-лигурски. Страбон, например, считал туземное население этих островов варварами. По существу, Данте в средние века повторил мнение Страбона. Сейчас на севере острова преобладает диалект логударский, впрочем, его вытесняет галурский, одна из ветвей итальянского языка. В центральной части, в том числе и в Гиларце, кампиданский. А вообще в нашей маленькой стране столько же диалектов, сколько провинций, множество слов иначе произносятся в разных районах и даже деревнях... Какое увлекательное занятие — изучение происхождения и развития слова. Ведь история слова — история нравов и обычаев, история отношений между людьми...

— Поворот темы неожиданный, но, как мне кажется, возможный и плодотворный, — помолчав, сказал Космо. — Профессор Бартоли не откажет в консультации, возможно, в этом возникнет необходимость. Мы все обсудим в самые ближайшие дни. Но дайте мне слово, что история, подобная сегодняшней, больше не повторится... Голодный обморок! Могло ли прийти мне в голову, когда я строил планы вашего будущего, что...

— Моего будущего? — Грамши резко приподнялся на постели. — Любопытно. Поделитесь этими планами, профессор. Как-никак, я — заинтересованное лицо.

— Лежите, прошу вас, лежите. И не сердитесь. Увы, ваш учитель — плохой дипломат. Но правда остается правдой. Да, я думаю о вашем будущем, думаю часто. Это ясные, спокойные мысли. Придет время, не очень далекое время, Антонио Грамши поднимется на профессор-

скую кафедру, окинет взглядом десятки внимательно ждущих лиц и донесет до аудитории то, что не успел или не сумел донести профессор Космо.

Грамши пристально посмотрел на собеседника. Глубокие синие глаза его потеплели.

— Я благодарен вам, дорогой профессор, очень благодарен. Это не пустые слова. Но... Антонио Грамши никогда не поднимется на профессорскую кафедру.

— Все зависит от вас, только от вас.

— Даже если это так... Мое будущее будет иным.

— Каким же?

— Кто знает!.. На нашем острове люди говорят: «Не бывает дороги без пыли и острых камней».

...Они должны были снова двинуться в путь; карabinеры уже надели на них кандалы и цепи. Его заковали новым образом: косточка запястья оставалась вне обруча и больно ударялась о железо. Со стены грозно выпячивал губы Муссолини, мундир дуче был в пятнах от копоти паяльных ламп и табачного дыма. Вошел начальник конвоя, бригадир огромного роста, и спросил арестанта, не родственник ли он «знаменитого депутата Грамши»? Услышав, что он и есть Грамши, бригадир вышел, сочувственно бормоча что-то невнятное. На всех остановках до места назначения бригадир разговаривал о нем с собиравшимися вокруг тюремного вагона людьми, неизменно называя его «знаменитым депутатом».

РИМ, ВЕСНА 1913 ГОДА. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

Черноволосая девушка играла скрипичный концерт Брамса. Нежный упрямый подбородок крепко прижал к хрупкому плечу лакированное тело скрипки, смычок, по-

слушный тонкой, но сильной руке, уверенно вел тому главной партии.

Изобранный слух маэстро Этторе Пинелли, профессора римского музыкального лицея Санта Чечилия, автоматически отмечал технические ошибки юной исполнительницы. Ошибок было немало, но вскоре профессор Пинелли перестал их замечать. Черноволосая девушка не только уловила в музыке Брамса ее внутреннюю логику, но и сумела передать что-то свое, заветное, может быть, даже до конца не осознанное, сумела выразить свою индивидуальность. А это старый профессор ценил превыше всего.

К тому же скрипичный концерт великого Брамса!.. Боже, как давно это было! Последнее время Пинелли стал путать имена и даты, но все связанное с Брамсом не забудет никогда. Друг Брамса Иोजеф Иоахим выслал ему ноты в Рим. Он, Этторе Пинелли, был первым исполнителем концерта Брамса для скрипки с оркестром, первым в Италии, а может быть, и в Европе. Тогда эти руки — Пинелли непроизвольно пошевелил узловатыми, опухшими в суставах пальцами — были молоды и сильны. Сколько же ему было лет? Немногим более тридцати. Прекрасный возраст, творческая зрелость, все впереди. Все — весь мир! То, что осталось позади, казалось только прологом к будущему. К старости он понял, что ошибался. У молодости свои творческие радости, счастье постижения мастерства. А впереди, впереди у молодости не так уж много, как кажется.

Профессору Пинелли шел семидесятый год, но только недавно он вдруг почувствовал себя старым и немощным. Это «вдруг» случилось на концерте в торжественной и праздничной обстановке — музыкальный Рим отмечал сорок пять лет с того памятного дня, когда он, молодой скрипач и композитор, вместе с таким же молодым, на один-два года постарше, пианистом и композитором

Джованни Стамбатти основали в Риме Общество классической камерной музыки и учредили при Академии Санта Чечилия скрипичную и фортепианную школу. Из этой школы и возник музыкальный лицей, профессором которого Пинелли состоит вот уж тридцать шесть лет. Сорок пять, тридцать шесть — не круглые даты. Пинелли предложил дожидаться пятидесяти. Полвека — это звучит торжественно. Но инициаторы чествования наседали, и старый друг Джованни согласился с ними: «Кто знает, Этторе, доживем ли мы до круглой даты?» Пинелли засмеялся и дал согласие. Много лет они поочередно со Стамбатти дирижировали придворными концертами. В этот юбилейный вечер друзья дирижировали попеременно. Для своего выступления профессор выбрал скрипичный концерт Брамса.

В свое время Пинелли выпало счастье встречаться с Брамсом. Великому композитору представил его Иोजеф Иоахим. Это было в Ганновере. Пинелли учился у Иозефа Иоахима, скорее — совершенствовался; начинал он у Рамаччиотти в Риме. Рамаччиотти научил играть на скрипке, Иоахим научил мыслить. В творчестве Иоахима поражала монументальность и широта замысла в сочетании с поэтичностью, чистотой и благородством стиля. Иоахим не хотел отпускать ученика в Италию, советовал еще поработать у него в Ганновере, но Пинелли стремился на родину.

В те времена вся Европа следила за событиями в Италии. В Италии сражался Гарибальди. Для Этторе Пинелли это было святое имя. Семнадцатилетним мальчишкой он убежал к Гарибальди, но не успел побывать ни в одном сражении: присоединение Южной Италии к Сардинскому королевству свершилось, армия Гарибальди была распущена. Снова — музыка. Снова и навсегда...

В Рим он вернулся в 1866 году. В этой дате Пинелли ошибиться не может. 3 октября 1866 года осуществилась,

наконец, мечта итальянского народа. Исполнилось заветное великих мучеников Италии. От Альп до Этны раздался один радостный возглас: нет больше австрийцев на итальянской земле!

Это были счастливые дни. Все чувствовали себя сильными, способными на свершения. Так родились музыкальное общество и лицей. Скептики предрекали неудачу. А лицей живет. Сколько таких, черноволосых и белокурых, взрастил он на музыкальной ниве?.. Но в этой русской что-то есть. Первую часть концерта она исполнила просто хорошо... Пожалуй, в конце части должно энергичнее звучать волевое начало...

Бесконечно давно впервые прочитал он партитуру Брамса; первая встреча с гениальным произведением искусства, как первая любовь,— память о ней остается на всю жизнь. Музыкальная общественность Рима ждала исполнения концерта с настороженным нетерпением. Шли разговоры, что Брамс потерпел принципиальную неудачу, пытаясь при помощи старых композиционных средств передать современный строй мыслей и чувств.

У Пинелли уже было имя, был опыт, но, выходя на сцену, он волновался, как новичок. Друзья говорили потом, что их напугало его бледное, без кровинки лицо.

Растревоженное воспоминаниями, заняло старое сердце. Опять тянущая боль. И трудно дышать... Бесшумно ступая, чтобы не мешать занятиям, профессор подошел к окну и осторожно отворил створки. В духоту класса ворвался либеччо — теплый и влажный ветер Тирренского моря, настоящий на густых ароматах цветов ранней римской весны. Маэстро Пинелли жадно вдыхал свежий воздух. В груди что-то клокотало и хрипело. Но боль, кажется, утихла.

В лицее во время классных занятий старались не открывать окна, чтобы не мешали посторонние звуки. Звуков было много: улица жила своей жизнью. Вприпрыжку

пробежал рыжий мальчишка-газетчик, пронзительно выкрикивая последние новости. Пинелли прислушался... «Бои в оазисе Джоффра и в Фецдане... Генерал Амелю настаивает на тактике «выжженной земли»... Новое министерство колоний обещает превратить Ливию в цветущий сад...» У профессора Пинелли возникло ощущение, что все это уже было: теплый ветер с моря, невнятный шум улицы, пронзительные крики мальчишки-газетчика, военные новости... Так же бежал мимо окон мальчишка и кричал: «Гарибальди снова покинул Капреру!..»

Тогда Пинелли выскочил на улицу и купил газету. В ней были лишь скудные подробности битвы при Монтеротондо близ Рима, скудные потому, что Рим и область составляли отдельное папское государство. Против папской тирании и боролся Гарибальди.

Газетное сообщение не могло скрыть, что в этой битве волонтеры Гарибальди разгромили папские войска. Пинелли ликовал, но радость оказалась преждевременной... Снова вприпрыжку бежал мальчишка-газетчик, выкрикивая: «Победа при Ментане!.. Гарибальди заключен в крепость Вариньяно!..»

Да, объединенные и прекрасно вооруженные французские и папские войска (в этой битве французы впервые испытывали скорострельные ружья «шаспо»), численностью в два с лишним раза превосходящие отряды Гарибальди, нанесли волонтерам поражение. Это не смогло изменить ход истории: 20 сентября 1870 года светская власть папы была свергнута, территория папского государства после плебисцита присоединена к Итальянскому королевству. Но горькой была осень после битвы при Ментане. Раненых волонтеров почти без всякой медицинской помощи держали под замком. Пинелли не находил себе места, потом отправился к казарме святого Онуфрия, где находились гарибальдийцы. Охрану казармы несли зуавы, попытки Пинелли проникнуть в казарму успеха

не имели, часовой-зуав просто взял ружье на изготовку. В бессильной ярости Пинелли отошел в сторону, раздумывая, что делать дальше. В это время к казарме подошла молодая женщина в темной накидке с непокрытой головой. Она приблизилась к зуаву и, не обращая внимания на окрик на незнакомом языке и взятое на изготовку ружье, не повышая голоса, попросила вызвать дежурного офицера. Вряд ли зуав понял ее, но спокойная и уверенная интонация, с которой говорила женщина, заставила его опустить ружье и, обернувшись к стоящему у стены другому зуаву, сказать ему несколько слов. Второй зуав нехотя вошел в казарму. Через несколько минут появился офицер. Женщина молча протянула ему бумагу с гербовой печатью. Офицер подозрительно осмотрел бумагу и покачал головой:

— Доступ в помещение, где содержатся пленные, запрещен. Тем более иностранцам.

— У вас в руках разрешение, синьор офицер. Будьте любезны, передайте его вашему начальнику и поскорее.

— Вряд ли посещение казармы доставит вам удовольствие.

— Я как-то не подумала об этом, синьор офицер, — с откровенной иронией ответила женщина.

Офицер пожал плечами и отворил дверь:

— Проходите.

Женщина вошла.

Пинелли с восторженной завистью наблюдал за этой сценой и решил подождать, пока решительная незнакомка выйдет из казармы. Ждать пришлось долго. Пинелли посматривал на часы и уже начал беспокоиться, когда в дверях появилась незнакомка. Она отошла от казармы к противоположной стене, прижалась спиной к холодным кирпичам и так стояла неподвижно, с закрытыми глазами, как показалось Пинелли, целую вечность, хотя — он еще раз взглянул на часы — прошло всего пять минут.

Пинелли не выдержал:

— Синьора, извините мою навязчивость, вам плохо? Женщина открыла глаза, глаза у нее были черные, красивые, глубоко посаженные, под густыми черными бровями, и внимательно посмотрела на Пинелли. Очевидно, его внешность внушила доверие. Женщина покачала головой и ответила:

— Им плохо... Если бы вы видели, какой там ужас. Живые и мертвецы вповалку, ампутируют руки, ноги без хлороформа, грязь ужасающая, у раненых нет ничего, ни бинтов, ни простыней, ни наволочек...

— Прошу вас, располагайте мной! Я не назвался... Этторе Пинелли, музыкант, преподаватель лицея Санта Чечилия и председатель Общества классической камерной музыки.

Женщина улыбнулась. Пинелли заметил ее улыбку и смутился.

— Не могу похвастаться столь высокими званиями. Якоби-Толиверова, Александра Николаевна, русская писательница.

— Вы русская?

— Почему это вас удивляет? Многие русские люди душой с Гарибальди... Хотите помочь, синьор Пинелли? Нужны деньги, белье, платье... Сегодня же я обедаю всех знакомых. Сделайте все, что сможете.

— Я соберу у друзей. И знаете что, — загорелся Пинелли, — мы дадим концерт в пользу раненых, можно?

Александра Николаевна, казалось, его не расслышала.

— Там, у самой двери, — тихо сказала она, — молодой гарибальдиец. У него три пули в груди. Я потребовала, чтобы хирург извлек пули. Хирург пожал плечами: «Все равно умрет». Когда я шла назад, служители клали молодого гарибальдийца на операционный стол. И представьте, он пришел в себя, и, оказывается, все слышал. «Спасибо, синьора, — произнес раненый. — Меня зовут Джо-

ванни Джибелли... Пожалуйста, напишите братьям в Караваджо. Их зовут...» — дальше я не расслышала. Но хватит разговоров, за дело, синьор Пинелли!

Три дня прошли в хлопотах по сбору вещей и продуктов. Нагруженные, они отправились в казарму. У Пинелли не было пропуска, пришлось ждать у входа долго, более часа. Александра Николаевна вернулась оживленная и озабоченная, в руке она держала красную тряпку, окровавленную, грязную.

— Капля в море. Надо еще и еще... А знаете, молодой гарибальдиец Джибелли жив. И даже подарил мне свою красную гарибальдийскую рубашку. Вот... За дело, синьор Пинелли, за дело!

И еще несколько недель прошли для Пинелли в каком-то вихре. Музыкальные дела, которые он основательно забросил, заставили его на время покинуть Рим, о чем он виновато сообщил Александре Николаевне.

— Конечно, поезжайте. Вы очень мне помогли. Спасибо.

— Но я вас еще увижу в Риме?

— Не знаю. Приезжайте в Петербург.

— Приеду, — пообещал Пинелли. Но так и не приехал. Только передал привет через своего учителя Иоахима, который четыре года спустя вместе с Брамсом гастролировал в России. Получил ответный привет.

А с молодым гарибальдийцем Пинелли довелось встретиться. Однажды после концерта капельдинер доложил, что его спрашивает какой-то Джованни Джибелли. Профессор, а он уже был профессором скрипичной игры академии Санта Чечилия, не сразу вспомнил это имя. Улыбаясь, вошел молодой человек в скромной одежде рабочего. Они поговорили о прошлом, о казарме святого Онуфрия и, конечно, об Александре Николаевне.

— Иногда я получаю письма от русской синьоры, — сказал Джибелли. — Но редко. И я пишу редко. Ничего

не поделаешь — жизнь, — заметил он, словно извиняясь за себя и «русскую синьору». — Осталась память навсегда и ее портрет. Она подарила перед отъездом.

И профессор пожалел, что тогда не попросил на память портрет «русской синьоры».

...Как давно это было... Позднее он слышал, что Якоби-Толиверова помогла спасти Кастелаццо, близкого Гарибальди человека, за что Гарибальди сердечно благодарил ее. Сейчас «русская синьора» — старая женщина. И жива ли она?..

Прозвенел звонок. Профессор вздрогнул и повернулся к классу. Черноволосая девушка вопросительно смотрела на него.

— Спасибо, Джулия. Попрошу тебя немного задержаться. Все остальные свободны до следующего урока.

В одно мгновение скрипки были уложены в футляры, ноты — в папки, и молодые музыканты гурьбой устремились к двери.

— До свиданья, маэстро, до свиданья, синьор профессор!

Пинелли с доброй улыбкой наблюдал за привычной суматохой. В начале своей педагогической деятельности профессор удивлялся и даже негодовал, наблюдая за трансформацией своих питомцев. Вот они, как ему казалось, благоговейно внимают божественной музыке. Но стоит только прозвенеть звонку, как одухотворенные художники мгновенно превращаются в озорных мальчишек и девчонок. Уже давным-давно профессор перестал этому удивляться; у детства и юности свои законы. И милая, талантливая русская девочка Юлия, Юлия Шухт... Только что она прекрасно играла Брамса, а сейчас украдкой обменивается знаками с подружками. Наверное, хочет сказать: «Не знаю, что это старику вздумалось, вы пождидите меня, я скоро».

Дверь затворилась за последним учеником. Юлия Шухт выжидательно смотрела на профессора.

— Мне передали, что ты хочешь ехать вместе с сестрой в Россию, — после паузы сказал Пинелли.

— С сестрами. Евгения тоже едет.

— Да. Ее я не знаю. А решение Анны одобряю. Анне двадцать лет. В нашем лицее она получила прекрасное музыкальное образование. Полна энергии. Вашей бедной родине нужны такие люди. Но ты еще девочка.

— Я уже не девочка. Мне семнадцать лет. Почти.

— Семнадцать почти, — повторил профессор. — Представь, я не заметил, как ты выросла. Все вы быстро растете и меняетесь. А мы стареем... и тоже меняемся... До окончания лицея тебе осталось два года. Два золотых года. Используй их, девочка! Ты предана музыке, я знаю. Но в мире кроме музыки, как бы она ни была прекрасна, есть радость бытия и слезы отчаяния, бедность и богатство. Найдутся хорошие люди, которые помогут тебе не только сердцем, но и умом. Пусть эти два года, оставшиеся до окончания лицея, станут и годами твоей общественной зрелости... Ты никогда не была на родине?

— Нет. Я родилась в Женеве. Но у нас в семье постоянно вспоминают о России. Дома мы говорим только по-русски... Поем русские песни. У мамы хороший голос, меццо-сопрано, отец обычно ей аккомпанирует... Помню, как в детстве... Но вам это неинтересно.

— Именно это мне и интересно. Продолжай, девочка.

— Я хотела сказать, что в детстве, когда мы укладывались спать, отец раскрывал двери в соседнюю комнату, садился за рояль и спрашивал: «Готовы?» «Готовы!» — кричали мы хором. «В постелях?» «В постелях!» «Что же вам, детки, сыграть?» И играл, иногда минут пятнадцать, даже больше. А мама пела, не всегда, правда... Знаете, это были чудеснейшие минуты. Мы подросли и стали петь хором. Семейный хор, со стороны смешно, но нам нравилось.

— Не смешно, прекрасно!.. Ты можешь задержаться еще на восемь минут? Только на восемь минут.

- Конечно, синьор профессор.
- Сыграй мне третью часть концерта.

...Восемь тысяч человек в серых шинелях, бушлатах, кожаных куртках пели пролетарский гимн. Они умолкли, а наверху, под массивными сводами огромного манежа, еще долго прокатывалось: «С Интернационалом воспрянет род людской!» Словно во сне подошла она к краю эстрады — крохотного островка в волнующемся человеческом море... Подняла смычок...

РИМ, ВЕСНА 1913 ГОДА. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

Шухты жили на виа Монфератто. В лицей Юлия обычно ходила пешком. Но сегодня она опаздывала и села в первый подошедший трамвай, на котором номер был обозначен арабскими цифрами. Из этого следовало, что трамвай принадлежит частному обществу (номера маршрутов на муниципальных трамваях обозначались римскими цифрами) и проезд на нем немного дороже. В бюджете большой семьи Шухтов транспортные расходы оставляли заметный след. Но на образование детей не скупились.

В ознаменование приближающегося отъезда дочерей в Россию Аполлон Александрович решил совершить с семьей прощальную прогулку по Риму. Последнее время он мало бывал дома, уйму времени отнял организация Первого съезда русских культурных и экономических общественных организаций в Италии. Съезд состоялся в Риме, в помещении «Общества Русской библиотеки имени Льва Толстого», прошел успешно, делегаты разъехались, и Аполлон Александрович смог, наконец, по его выражению, «вернуться в лоно семьи».

Когда Юлия Аполлоновна прибежала домой, все уже сидели, готовые к выходу.

— Ну что же ты, Юлька! — укоризненно сказала мать, Юлия Григорьевна (у матери и дочери были одинаковые имена). — Такой день сегодня.

Юлия Аполлоновна не стала оправдываться, положила папку с нотами, взяла накидку, потому что вечер был прохладным, и сказала, что готова.

— Сперва мы пойдем к святому Петру, — объявил Аполлон Александрович.

На площади святого Петра в этот весенний день было очень много туристов. Они послушно следовали за гидами, которые громко, не обращая внимания на другие группы, знакомили с достопримечательностями «Вечного города».

— Примкнем, что ли, к этой группе? — сказал Аполлон Александрович. — Тут, кажется, гид потише.

— ...Мы с вами находимся на площади святого Петра, — говорил по-французски гид, пожилой мужчина со склеротическим лицом. — Она представляет квадрат, перед которым тянется овальное пространство, окруженное грандиозными колоннадами: эти колоннады состоят из четырех рядов дорических колонн. Посреди площади стоит огромный египетский обелиск; вокруг него начертана на земле роза ветров, с обеих сторон его возвышаются два красивых фонтана. Когда светит солнце, яркие лучи его пронизывают струи, серебряный дождь играет и блестит мириадами огней на мраморных колоннах...

— Уйдем от него, — сказал Аполлон Александрович.

Они пошли к воротам Сан-Спирито, в сторону Яникульского холма.

— Постоим, передохнем, — сказал Аполлон Александрович. — Нам предстоит крутой подъемчик... А красиво и, между прочим, похоже на Царское Село. Правда, Юлия Григорьевна? — обратился он к жене.

— Ничуть.

— Ну взгляни: Разъезжая улица у пяти углов. Точно. А дальше — Семеновский плац...

— Непохоже, — улыбаясь, повторила Юлия Григорьевна.

— Нади нету, она бы подтвердила. Постой, Ася, ты ведь тоже родилась в Царском. Правда, похоже?

— Милый папочка, меня увезли из Царского в возрасте десяти месяцев. Увы, мое свидетельство не имеет силы. Но раз ты говоришь... я уверена: похоже!

— Ты добрая дочь, Асенька. Видишь ли, Разъезжая упиралась в Семеновский плац. Моя мама, ваша бабушка, Отиллия Егоровна, водила меня на учения и парады кавалерии. И мы смотрели, как мой отец, а ваш дед, Александр Иванович, на вороном коне, под музыку сводного оркестра, гарцевал впереди своего полка, лейб-гвардии кирасирского его величества... С мастью коней, впрочем, я могу и напутать. Под кирасирами, кажется, ходили гвядеы, а вороные были у сумских гусаров. Отец позднее командовал гусарами... Запоматовавал, ну и шут с ними, о мастями. Вот домой хочется, ой хочется!

— Если ты вернешься в Россию, папа, тебя арестуют? — спросила Юлия.

— Нет, Юленька, не арестуют. Но являться в полицию отмечаться придется ежедневно. Нет уж, поживу я пока здесь, а там видно будет. Вы только пишите, дочки, из России почаще. Ну, двинулись.

Они подошли к церкви святого Онуфрия. Здесь была могила Торквато Тассо, который жил и умер в соседнем монастыре. От церкви амфитеатром поднимались скамейки, на них, видимо, отдыхали монахи. Сейчас скамейки были пусты.

— Присядем на короткое время, потом поднимемся к памятнику Гарибальди. Садитесь, детки.

— Папа, а почему ты не пошел в гусары? — вдруг спросила Юлия.

— Вот тебе и на, неожиданный вопрос. Если ответить коротко: передо мной было два пути, и я пошел... в революцию. Но гусарское во мне что-то есть. — Он повернулся к Юлии Григорьевне и продекламировал:

...Вдруг — минутный ливень, ветер прохладный,
За окном открытым — громкий хор.
Там — в окне, под фреской Перуджино,
Черный глаз смеется, дышит грудь:
Кто-то смуглою рукой корзину
Хочет и не смеет дотянуть...

Все зааплодировали:

— Браво, папа! Чудесные стихи! Чье это?

Аполлон Александрович окинул всех победоносным взором:

— Ну-ка, отгадайте, просвещенные дочки. Отгадавшей — приз.

— Апухтин?

— Нет.

— Надсон?

— Нет.

— Может быть, Майков? — спросила Анна Аполлоновна. — Из его итальянского цикла? Помните: «Смуглянка милая, я из страны далекой».

— Майковской «смуглянке милой», даже по дамскому счету, ныне лет восемьдесят. Наша же синьора, если верить поэту, в расцвете молодости. Не догадываетесь? Так и быть, подскажу: в ошибочном предположении Аня-ты есть одно рациональное зерно. Нуте-с, кто претендует на приз? Раз... Два... Приз останется неразыгранным... Минуточку, Юлька хочет сказать.

— Не знаю... «Там — в окне...» Подумала, Блок, но у Блока, кажется, нет такого стихотворения.

— ...Три! Приз вручается Юльке.

Аполлон Александрович вынул из кармана пиджака небольшую книжку и торжественно преподнес ее залившейся румянцем младшей дочери.

— Не красней, Юлька, приз ты заработала честно. Читаю заглавие: «Александр Блок. Собрание стихотворений. Книга третья — Снежная ночь». Тут двенадцать итальянских стихов Блока. Несколько стихотворений итальянского цикла, итальянского — вот в чем рациональное зерно Анюты, — он напечатал раньше в журнале «Аполлон», но до наших палестин журнал не дошел, и вы эти стихи знать не могли. Так что извините вашего папу за то, что ему захотелось покрасоваться перед учеными дочками.

— Спасибо, папа, огромное спасибо.

— Рад, что доставил вам удовольствие. Теперь пойдем прощаться с Гарибальди.

Конная статуя Гарибальди выглядела величественно. Гарибальди смотрел в сторону Ватикана.

— Символично, — сказала Евгения Аполлоновна, — но я не уверена, что сам Гарибальди одобрил бы эту скульптуру.

Евгения Аполлоновна училась в Академии изящных искусств. В семье ее суждения по этим вопросам не оспаривались.

— Не пора ли домой, детки? — спросил Аполлон Александрович, поглядывая на часы. — Пора, пора, — не сдавался он на уговоры. — Поздно, и мама устала. Если желаете, милостивые государины, посидим немного под дубом Торквато Тассо. И по русскому обычаю положено перед дальней дорогой. Юлька, беги вниз, занимай скамейку.

К дубу Торквато Тассо нужно было спуститься одной площадкой ниже. Увы, могучего дуба уже давно не было: сохранился лишь огромный пенёк, к которому была прикреплена мраморная доска. Но уже поднялся молодой дубок, посаженный к старому пню. Рядом стояла массивная

каменная скамья. У скамьи Юлия вела переговоры с молодой парой. Увидев спускающуюся процессию, возглавляемую величавым Аполлоном Александровичем, молодые люди вскочили и, взявшись за руки, со смехом побежали вниз.

— Вспугнули влюбленных,— с сожалением сказала Юлия Григорьевна.

— Ничего. У них еще много дней впереди. Садитесь, дети мои! В кои веки еще доведется вот так посидеть всем вместе.

Помолчали. Внизу лежал Рим, освещенный последними лучами заходящего солнца.

— Спасибо, папа, что привел нас в это место,— сказала Юлия.— И дадим слово друг другу, что придем сюда еще раз. Не знаю когда, через десять лет, пятнадцать, но придем... Все вместе. С нашими детьми!

— Ты невозможный ребенок, Юлька! — ужаснулась Юлия Григорьевна.

— Уже не ребенок, мамочка... «В тени этого дуба сидел Торквато Тассо, близкий дыханию славы и смерти»,— вслух прочитала она надпись, выбитую на мраморной доске.— Как ты думаешь, папа, Блок был здесь?

— Думаю, да.

— И прочел это?

— Наверное. Почему ты спрашиваешь?

— Так.

— Какие трагические строки навеяны Венецией,— тихо сказала Татьяна, перелистывая подаренный сестре томик Блока:

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба,
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба...

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,

Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

— Сильные строки... и бесстрашные. Сколько же ему лет? — спросила Юлия Григорьевна.

— Сейчас тридцать два, когда писал это стихотворение, было двадцать девять.

— Совсем молодой.

— ...Сколько же ему лет? — шепотом спросила старушка, соседка Юлии Аполлоновны, прижимая к груди большой потертый ридикюль.

— Сорок.

— Совсем молодой.

На эстраде очень усталый Блок, опираясь руками о спинку стула, негромко, своим обычным глуховатым голосом читал «итальянские стихи».

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба...

В этот весенний московский вечер поэт выступал в третий раз. В «Общество Данте Алигьери, или Любителей итальянской словесности» Блок пришел после Политехнического музея и Дома печати. Голодные москвичи ценили искусство. Поэт был болен. Все чаще напоминало о себе сердце, наступала общая слабость, когда каждое движение требует усилий.

Я в эту ночь — больной и юный...

Но кто мог знать, что ему осталось жить всего три месяца!

**ТУРИН (ЗА РЕКОЙ ПО),
ВЕСНА 1913 ГОДА.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ**

Застать туринского рабочего дома не в праздник можно только утром, затемно, или поздним вечером. Шестидесятичасовая рабочая неделя — это значит полных 10 часов работы ежедневно, а если нужно хозяину, то и больше. Сегодня, однако, день не праздничный, и не поздно, а рабочий Анджело Джибелли сидит дома и читает газету на кухне, где от очага идет приятное тепло, особенно приятное в холодный и ветреный весенний день. Если бы мы смогли заглянуть в квартиры туринских рабочих заводов «Фиат-Чентро», «Диатто-Фрежюс», «Индустрио метальурджика» и других, то увидели бы примерно такую же картину: глава семьи на кухне либо мастерит что-нибудь, либо читает газету, а его жена мучительно решает каждодневную задачу, как несколькими горстями муки и двумя-тремя ложками оливкового масла накормить большую семью.

Этим же занималась и жена Анджело, только задача ее казалась легче: у Анджело и Розы был только один, уже взрослый сын.

Если рабочие не в праздник сидят дома, — значит, они бастуют. Если хозяйка отмеряет муку горстями, а оливковое масло чайными ложками, — значит, бастуют давно.

Итак, Анджело Джибелли сидит на кухне и читает газету, искоса неодобрительно поглядывая на свою жену Розу. Анджело — блондин с черными глазами. Ему сорок с небольшим, но он уже начал седеть. Впрочем, как у всех блондинов, у него это пока мало заметно. Розе пришлось в жизни нелегко, долгие годы она ухаживала за парализованным отцом мужа, старым Джованни, участником легендарной гарибальдийской «тысячи». И все же черно-

голосая, черноглазая Роза, мать двадцатилетнего сына, была по-прежнему красива. Анджело гордился женой. Его неодобрительный косой взгляд был вызван весьма прозаической причиной: Роза жарила лепешки, щедро подливая масло на сковородку.

— Ты, наверное, забыла, что мы бастуем? — не выдержал Анджело, указывая на бутыл, где масла осталось на доньшке.

— Не забыла, — кротко ответила Роза, продолжая свое дело.

Анджело пожал плечами и уткнулся в газету.

— Прочитал бы вслух, что пишут, — примирительно попросила Роза. — Что на свете делается?

— Что делается? Ничего хорошего.

— А куда опять запропастился твой сын?

— Он и твой сын, Анджело. Прямо — взрослый парень, у него своя голова на плечах. Если хочешь знать, он пошел проводить домой бедного синьора бухгалтера, проводит и вернется.

— Проводить бухгалтера — полчаса, пусть час. А он целый день носится.

— Будто не знаешь, где он носится?

Анджело подозрительно посмотрел на жену:

— Что ты хочешь сказать, Роза?

— Сказать?.. Прямо в охране вашего забастовочного комитета, ты это прекрасно сам знаешь, нечего на меня сваливать.

— Но ты же мать, Роза.

— Мать!.. Закрывать дверь? Прямо откроет замок просто пальцем, он же механик. Спрятать его штаны? Уйдет без штанов. Это же наш Прямо! — воскликнула Роза. В голосе ее были беспокойство и гордость за сына. — Ой, пригорело, так я и знала! Возьми передник и жарь сам без масла, а я сяду на стул и буду давать советы.

— Роза!

Ситуацию разрядило появление соседки, пришедшей одолжить соли. Соль она получила, но не торопилась уходить. Сообщила несколько незначительных новостей и перешла к горячей теме — забастовке. Говорила с Розой, явно адресуясь к Анджело.

— В позапрошлом году бастовали сколько? Три месяца, даже больше. Что выиграли? Чуть не подошли с голоду, верно?

— Верно, — вздохнула Роза.

— В прошлом году бастовали? Бастовали. Сколько? Опять три месяца. На этот раз кое-чего добились, но чего? Мужу добавили тринадцать чентезимо в неделю... тринадцать чентезимо, курам на смех, верно?

— Верно, — вздохнула Роза.

— Женщина, не кусай, если не знаешь, хлеб это или камень! — озлился Анджело. — Верно, верно... Что верно? Куры смеются, а я не смеюсь. И твой муж Альфредо тоже не смеется. Потому что Альфредо в нынешнем году работает на один час в неделю меньше, а заработок у него не меньше, даже чуточку больше. Но Альфредо — квалифицированный мастер. А у чернорабочего прибавка не тринадцать чентезимо, а может быть, семьдесят — восемьдесят. Потому что мы прибавляли не по квалификации, а поровну.

— Почему же поровну? Мой Альфредо...

— Пускай твой Альфредо тебе и объясняет. Скажу только одно — хочешь слушай, хочешь не слушай: есть такие слова — «классовая солидарность». Вот почему твой Альфредо, и я, и другие мастера сами предложили так решить вопрос. И мы его решили правильно.

Дверь широко распахнулась. Вошел Примо.

— Шире не мог открыть? — буркнул Анджело.

— Понятно. Дискуссия на политическую тему, — ухмыльнулся Примо. — Но здесь все-таки кормят?

— Кормят, сынок, кормят. Иди мой руки. Хорошо мой. Совет был нелишним.

— Где это ты так? — подозрительно спросил Анджело.

— Не беспокойся, отец, не на заводе. Я не штрэйкбрехер. Помогал ребятам в ангаре собрать мотор «Фармана», «Ф-4», если хочешь знать точно.

— Незачем мне это знать, да и тебе незачем.

— Ребята обещали поговорить с инструктором... Если он разрешит...

— Что разрешит? — всполошилась Роза. — Лететь на аэроплане? Ты хочешь, чтоб у твоей мамы разорвалось сердце?

— Я не хочу, чтобы у моей мамы разорвалось сердце, — чмокнув мать в щеку, Примо вышел из кухни.

— Ой, Альфредо ждет соль, — вдруг всполошилась соседка и удалилась.

— Самый худший глухой тот, кто не хочет слушать, — пробормотал Анджело, снова принимаясь за газету.

— Что ты сказал? — спросила Роза.

— Ничего.

— Она — хорошая женщина.

— Разве я говорю, что плохая?

У умывальника Примо старательно оттирал ладони мыльной пеной.

Анджело и Роза уже сидели за столом. Роза громко позвала:

— Примо!

— Иду, мама.

Он провел расческой по волосам и вышел к столу. Ели молча. Роза вопросительно посмотрела на сына.

— Голоден, Примо?

— Что ты, мама, сыт.

— Знаю, как ты сыт.

Она вынула из шкафчика кусочек сыра пармезан, завернутый в чистую тряпочку, разделила его на две части и положила на тарелку сыну и мужу.

— Кушайте.

Анджело молча разделил свой кусочек на две части, одну положил на тарелку жены. Прямо покосился на отца, улыбнулся и сделал то же. Роза, казалось, не заметила их манипуляций. Когда оба кусочка исчезли в энергично жующих ртах, Роза завернула лежащие у нее на тарелке остатки сыра в тряпку и положила в шкафчик.

— Это не по правилам игры, мама! — воскликнул Прямо.

— Игра!.. — вздохнула Роза. — С утра до вечера я играю, чтоб на столе что-нибудь было... Опять приходил синьор Мазетти, велел передать, что если мы надумали, то он согласен дать за портрет хорошую цену.

— Что он ходит без толку! — вскипел Прямо. — Пошли-ка ты этого синьора к черту. Ведь ему сказали: портрет русской мы сохраним в память о дедушке. И не продадим. Никогда.

— Кто знает... — протянула Роза.

Прямо подозрительно взглянул на мать, вскочил из-за стола, вышел и вернулся с акварельным портретом в руках. Спокойно и внимательно с портрета смотрела молодая женщина с нежным овалом чуть удлиненного лица. На плечи женщины была накинута черная шаль, которую она придерживала изящными руками. Женщина была красива, но прежде всего обращала на себя внимание непринужденность и естественное благородство ее облика.

— Пусть портрет будет в моей комнате.

— Пусть, — легко согласилась Роза. — Только где ты его повесишь? В твоей комнате даже мухе сесть некуда.

— Найду место. Спасибо, мама.

С портретом в руках он вошел в свою комнату — каморку, отгороженную от общей комнаты легкой перегородкой. Стены и перегородка были сплошь оклеены вырезанными из журнала фотографиями знаменитых летчиков, которые любили сниматься рядом со своими незатей-

ливыми машинами из дерева и перкаля. Первые шаги авиации, первые дерзания... Братья Райт, в 1903 году поставившие «рекорд нового века» — (260 метров по прямой!). Перелет Блерио через Ла-Манш в его узком месте — 37 километров, — и мировая слава уже немолодого инженера и летчика. В момент перелета Блерио было 37 лет, количество лет равнялось протяженности полета. Досужие люди из этого выводили различные закономерности... Два брата Фарман, и их школа под Парижем. Снимок школы: небольшой ангар — группа людей у аэроплана. Несмотря на все ухищрения фотографа, школа выглядела скромно. Тем не менее попасть в нее — мечта многих. И туринского автомобильного механика Примо Джибелли, разумеется... На фотографии — душа школы Анри Фарман. Всего за шесть лет он усовершенствовал аэроплан братьев Вуазен (снова авиационные братья!), создал собственную машину и творит на ней чудеса... Сколько раз Примо читал описания полета. Кажется просто: включил мотор, дал газ, разогнался по невысокой траве... И послушный руке летчика аэроплан набирает высоту...

...С нутным ревом мотора «Потез-54» набирает высоту. Густая облачность скрывает землю. Впереди и справа еще три «Потеза». Тяжело нагруженные машины надрываются от напряжения. Четыре стокилограммовых бомбы под крылом, 50 десятикилограммовых в кабине: бортмеханик по команде штурмана сбросит их вручную... До цели еще минут двадцать. Облачность не уменьшилась. Приличная машина, куда лучше двухместного легкого бомбардировщика «Бреге-19». Впрочем, на той устаревшей колыхае он не раз летал в глубокий тыл врага, участвовал в воздушных боях западнее Мадрида. Потом принял этот «Потез» — один из шести, закупленных Республикой

во Франции. Не без легкой грусти передал чиненый-перечиненый «Бреге» молодому летчику. «Молодому!» Что же он — старый? Ничего не поделаешь, 43 года! Возраст для летчика солидный. Зато боевого опыта у него побольше, чем у других... Кажется, удалось пробить облачность. Но где же остальные три машины?.. Внизу огневые позиции мятежников. Отсюда они готовятся нанести удар по Мадриду... Все ближе разрывы зениток... Выходим на цель... Бомбы — одна за другой. Молодец, штурман! За бомбежку даже в Зарайской школе поставили бы отлично. Можно поворачивать домой... Удар?! Попали, дьяволы... Дотянем?.. Нет, машина горит... «Экипажу прыгать!.. Прощайте, товарищи!»

«Потез-54», оставляя за собой дымный шлейф, камнем падает на позиции мятежников.

ТУРИН, ВЕСНА 1913 ГОДА. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

Профессор Космо извлек из жилетного кармашка большие серебряные часы, посмотрел на циферблат и со вздохом водворил часы обратно. Сегодня, может быть, впервые за годы педагогической деятельности профессор без видимой причины отменил назначенные учебные занятия. С запиской в университет был послан вездесущий Карлуччо.

Доктор Ломбарди все-таки пришел, милостиво одобрил действия Франчески, накапал в рюмку микстуру, предупредил, что дает успокаивающее и легкое снотворное, сказал, что молодому человеку нужно меньше работать, больше гулять и развлекаться. Франческа покормила больного, и Грампи заснул. Профессор Космо собрался уходить, затем решил остаться и закончить прерван-

ый разговор. Другая такая возможность вряд ли представится. Доктор Ломбарди уверил, что сон будет непродолжительным.

Будущее Грамши искренне беспокоило профессора. Нельзя служить двум богам: или наука или общественная деятельность. Сам Космо придерживался либеральных взглядов, его вполне устраивала политика Джованни Джолитти. Да, многие упрекают Джолитти в политическом балансировании, иронически называют его «канатоходцем». Но кто из политических деятелей, от античности до наших дней, не был в той или иной степени «канатоходцем»? *Semper Idem* *. В конце концов, именно Джолитти еще в начале века пошел навстречу некоторым требованиям рабочего класса. Не из-за альтруизма, вовсе нет, просто понял, что для нормального развития итальянской экономики необходимы реформы. Неважно, почему он это сделал. Важно, что сделал... И к теории социализма Космо относился с уважением. Именно к теории. Практическая деятельность многих известных ему итальянских социалистов вызывала у него раздражение...

Грамши во сне проговорил несколько слов и открыл глаза.

— Я был дома, в Сардинии... Ради этого стоило поголодать... Но, дорогой профессор, вы тратите на меня непозволительно много времени. Я здоров, совершенно здоров.

Грамши встал, оправил кровать и подошел к окну.

— Ветер утих, следовательно, потеплеет. Когда у людей нет ни кусочка угля, это тоже имеет значение. Знаете, рабочие автомобильных заводов Турина второй месяц бастуют.

— Знаю. Вы причастны к забастовке? — подозрительно спросил Космо.

* Всегда одно и то же (лат.).

— Причастен? Нет. Сочувствую рабочим и стараюсь, чтобы мое сочувствие не было пассивным.

— Стараетесь, да. Я слежу за «Гридо дель пополо», читаю в этом туринском социалистическом еженедельнике и ваши короткие статьи о формах рабочей взаимопомощи. Внимание к матерям, детям, инвалидам, престарелым — гуманно и нужно. Слияние различных организаций взаимопомощи — вероятно, тоже нужно. Но, возвращаясь к нашему разговору, неужели вам видится именно такой путь? Может ли это быть главным делом жизни?

— Не может. Для решения социальных задач недостаточно кооперативов, касс взаимопомощи, недостаточно отдельных экономических улучшений и даже завоевания некоторых политических свобод. Нужно, чтобы рабочий класс стал новым руководителем нации.

Космо оторопело смотрел на своего студента.

— Далеко идущая программа... Не буду спорить о конечной цели, спор уведет нас от вашей судьбы, которая меня беспокоит более, чем когда-либо. Можно верить в социалистический идеал, можно даже быть членом социалистической партии...

— Я член ее туринской секции...

— ...Но стать партийным функционером! А ведь это неизбежно, если сделать социалистическое движение главным в своей жизни. Согласитесь, что профессиональная партийная деятельность подразумевает и восхождение по лестнице партийной иерархии.

— В известной степени да. Не как цель.

— Допустим, не как цель... Если не возражаете, расскажу одну историю. В Париже я увидел афишу — анонс о лекции Энрико Ферри. Известный итальянский социалист и многолетний редактор «Аванти!», депутат и профессор, адвокат, криминалист и так далее любезно согласился встретиться с французскими студентами. Терпеть не могу подобные разглагольствования, особенно сооте-

чественников, все же отправился на лекцию. Признаюсь, слушать «великого» самовлюбленного Ферри оказалось нелегким испытанием. Рядом со мной сидел мужчина лет сорока, с интеллигентным, как мне показалось, славянским лицом. Вышли вместе. Представились друг другу. Оказался русским литератором, написал книгу об Италии. — «Что вас привело на лекцию Ферри?» — спросил русский. — «Любопытство. Как-никак — он мой соотечественник. А вас?» — «Как-никак — он один из персонажей моей книги, — ответил русский. — Однажды я даже был у него дома. Но с Ферри не сказал ни слова. Сбежал». — «Почему так?» — «Извольте, если вас интересует».

Передам суть его красочного рассказа. Прием у социалистического депутата до мелочей напоминал прием у модного врача: предварительная запись, вымуштрованная горничная в кружевной наколке, затрепанные журналы в приемной. Правда, карточку с фамилией очередного пациента, то бишь просителя, горничная вносила в кабинет distinguished синьора депутата на серебряном подносе.

Космо внимательно посмотрел на Грамши, как привык делать это во время своих лекций. На этот раз студент «не отсутствовал», а слушал с интересом.

— Я возразил, что подобные детали еще не определяют существа вопроса. Тогда мой собеседник напомнил недавний политический вольт Ферри, его молниеносное превращение из ярого пацифиста в не менее ярого националиста, сторонника войны в Ливии. «Не будем гадать, — сказал мой собеседник, — как развернется дальнейшая карьера Энрико Ферри. Он просто накипь, плавающая на поверхности народной массы, пример того, как на этой поверхности рождаются, лопаются и вновь вскакивают пузыри».

«Не будем гадать, — согласился я. — Но должен вам

заметить, что социалистическая партия, платформу которой, кстати, я не разделяю, это не один Ферри. Это — Лабриола, это — Турати, это — Ладзари и многие-многие другие глубоко порядочные люди». На этом мы расстались... Беседа произвела на меня сильное впечатление. В позиции русского литератора подкупало сочетание двух аспектов: взгляд на Италию человека несколько стороннего и вместе с тем чувство привязанности, даже влюбленности в Италию, такую несовершенную, но милую его сердцу... Что же касается портрета Ферри, то русский литератор все же нарисовал его пером карикатуриста.

— Но верно в главном! — воскликнул Грампи. — И дело не в Ферри, этот человек — уже прошлое. Понимаю вашу присказку, профессор. Да, в итальянском социалистическом движении существовала и существует обстановка, благоприятствующая бонапартизму. Более или менее решительные люди могут захватить самый высокий руководящий пост. Не так уж трудно при помощи выверенных приемов и дешевой демагогии взволновать толпу и заставить торжественно нести себя на руках, как в эффектной театральной постановке. Но социальная борьба не театр. Можно за две недели добиться громкой славы, в последующие две недели эта слава обернется позором.

— Иногда недели превращаются в годы.

— Пусть так. Но конец тот же: позор! Поверьте, профессор, я знаю, о чем говорю. Сегодня за стенами этой тесной комнаты бастуют рабочие Турина.

— Не в первый раз. А чего они добились?

— Не в первый. В то же время, если хотите, в первый. И хотя в самый ответственный момент социалистическая партия раскололась, а реформисты призывают не подвергать опасности «обретенные свободы», социалистическое движение в Италии прошло стадию евангельской

проповеди. И хотя синдикалистские лиги организуют бурные забастовки без веры, без плана, «на авось», эти забастовки выражают недовольство рабочих. Рабочие понимают, что нельзя идти старым путем.

— Допустим, не хочу спорить. Но как вы представляете свое место в этом процессе? Для ученого у вас все качества: острота и смелость мышления, логика, усидчивость, вкусы и привычки, наконец. Для общественного деятеля, лидера определенной социальной группы, в данном случае, полагаю, пролетариата, нужно другое. Грамши, которого я знаю, чрезвычайно чувствителен и добр, замкнут и обособлен, скромен и старается не выходить на первый план. Наконец, чисто физическое свойство — тихий голос; такой голос не годится для митингов. Ваши друзья — книги. Книги, книги и еще раз книги!

— «Здесь мой Рим, мои Афины, моя родина, — громко произнес Грамши, и трудно было понять, что он вкладывает в строки Петрарки: сожаление или иронию. — Сколько есть на свете друзей, которые покинули мир за много веков до моего рождения, но стали известными мне и заслужили мое восхищение своей доблестью, разумом и великими подвигами. Все эти друзья, вызванные из разных мест, собираются в мою маленькую долину, и мне доставляет больше радости беседа с ними, чем со многими другими, которые считают себя живыми людьми потому, что видно дыхание, выходящее из их ртов в холодную погоду».

— Он прав, тысячу раз прав!.. — Умберто Носмо вскочил со стула и сделал попытку пройти по тесной комнате, ушибаясь о разные предметы. — Человеку на все его деяния отведен короткий срок. Но если я сохраняю для человечества одно-единственное слово Данте или Петрарки, которого вы цитировали, я буду считать, что выполнил свою миссию на земле.

В дверь постучали. Вошел худощавый черноволосый

молодой человек. С любопытством бросил взгляд на возбужденных собеседников. Вежливо поклонился профессору. Это был Пальмиро Тольятти.

— Прекрасно, Пальми, что ты сразу пришел. Доктор и профессор Космо считают, что сегодня мне лучше побыть дома. Я — послушный пациент и ученик.

— Гм, послушный,— пробормотал Космо, отходя к окну.— Взгляну-ка, что делает наш Карлуччо.

— У нас нет секретов, профессор... Вот ведомость и итог,— Грамши протянул Тольятти лист бумаги.— А деньги, где же деньги?.. Да...

Он вытащил из-под кровати большую железную кружку для пожертвований, выложил ее содержимое — бумажные лиры и мелочь — в пакет.

— Проверь, пожалуйста, отнеси в забастовочный комитет и передай Анджело Джибелли. Если сможешь, сделай это сейчас же.

— Хорошо,— коротко ответил Тольятти, пряча пакет в карман.

Космо с некоторым недоумением наблюдал за этой процедурой. Грамши улыбнулся.

— Почему бы не взять взаймы одну-две бумажки и обойтись без нелепого голодного обморока?.. Так?

— Вопрос поставлен несколько прямолинейно, но в общем так.

— Конечно, нетрудно взять, а затем вернуть. Грех невелик. Возможно, в начале своего пути так рассуждал Энрико Ферри.

— Ферри, при всех его недостатках, крупный человек.

— Человеческая «крупность» — понятие относительное. Я имею в виду не дарования, а нечто другое. И нынешний редактор «Аванти!», Бенито Муссолини, бесспорно, человек способный. Но я позволю себе усомниться в его «крупности». Когда общественный деятель позволяет

себе в социалистической газете написать: «О социализме я имею понятие варвара»,— это либо примитивное невежество, либо самолюбование и рисовка. Добавим к портрету преувеличенный словесный экстремизм и безмерное честолюбие... Нет, человеческая «крупность» — категория более высокого порядка... Тебе пора, Пальми.

Тольятти кивнул и поднялся.

— Я тоже откланяюсь,— сказал Космо. И, уже вставая, вспомнил, что так и не выполнил просьбу профессора Бартоли («придется вместе с Бартоли подумать и найти объяснения, приемлемые для президиума стипендиального фонда»).

— Попрощаемся, Антонио...

Космо был очень огорчен. Он крепко сжал руку своего молодого друга и долго не выпускал ее. Волнение профессора растопило присущую Грамши защитную оболочку ироничной сдержанности.

— Поверьте, мир Данте будет всегда со мной!

— *Pia desideria, pium desiderium**,— покачал головой Космо.

— Когда-нибудь вы убедитесь в этом,— негромко сказал Грамши.

...Он привычно листал маленький томик. Форматом в четвертушку листа, томик свободно умещался в кармане тюремного халата и был его верным товарищем в одиночном заключении...

*О, если б ваши внуки мир нашли! —
...перед вами разомкнуты...
Скрытые в грядущем времена...*

* Благочестивые пожелания, благочестивое пожелание (лат.) — заглавие книги XVII века, ставшее «крылатым» выражением.

Его удивило то, что текстологи, скрупулезно исследовавшие творчество Данте, не обратили внимания на закон возмездия, обрушивающийся на персонажей «Божественной комедии» лишь за одно желание заглянуть в будущее. Жестока кара, и все же один из поверженных:

*чело и грудь вадымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирает.*

*«Тюрьма в Тури, 7 сентября 1931 года
...Космо, как специалист-дантолог, сможет сказать мне, сделал ли я лжеоткрытие или же наброски эти действительно заслуживают того, чтобы их разработать и внести, таким образом, небольшой вклад в изучение Данте, приобщив эту скромную работу к миллионам других написанных доселе исследований».*

ТУРИН, НАЧАЛО ЛЕТА 1913 ГОДА

Улицы города затопил мощный людской поток. Торопливо захлопывались двери богатых особняков, с грохотом опускались жалюзи на магазинных витринах. Из переулков в поток вливались все новые и новые ручейки...

Победа пролетарского Турина, одержанная в долгой и напряженной девятигодичной борьбе, имела огромное значение для рабочего класса Италии. Именно с этого времени начался процесс превращения туринского пролетариата в вождя духовной жизни итальянских трудящихся.

...Они шли к парку Микелотти, традиционному месту митингов, не обращая внимания на буржуазный Турин, невзирая на полицейские заслоны. Тысячи тяжелых башмаков одновременно ударяли по камням мостовой, и этот густой гул господствовал над шумами большого города.

ЧАСТЬ II

«ОРДИНЕ НУОВО»

Рабочие полюбили «Ордине нуово»... потому, что в статьях еженедельника они отчасти находили самих себя, свои лучшие помыслы и стремления.

А. Грамши

Глава первая

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!»

*Плакат над воротами «Фиат-Центро»
в 1920 году*

1

Прошло семь лет. Снова, как и каждую весну, на Турин, на его улицы и переулки спустилась с гор черная бора. Но другой ветер — светлый и могучий ветер социальных перемен, рожденный Октябрем 1917 года, ворвался в Италию, в Турин, прозванный в ту пору «итальянским Петроградом».

...Джакомо Бернольфо, бывший сержант горной артиллерии, а ныне начальник охраны редакции и типографии «Ордине нуово», на ходу перехватил бочонок под левую руку и, энергично размахивая затекшей правой, подумал, что «это» — тяжелая штука.

Нехитрое правило конспирации рекомендовало не называть даже про себя предметы, которые могли бы не понравиться полиции. Вообще-то к подобным советам он относился скептически, но ведь всякое случается. Есть хорошая поговорка: «Если бы знать, где черт прячет свой хвост!» Действительно, если бы знать!.. Например, почему полицейский у церкви Сан Бернардино на пло-

щади Пескьера пристально посмотрел на его бочонок. Скорее всего, человеку просто захотелось выпить вина. Но, может быть... Ведь власти Турина уже два года ведут следствие о поджоге церкви Сан Бернардино. Чепуха, конечно, но язык всегда ударяется о больной зуб. А поджог церкви Сан Бернардино был для него больным зубом, хотя сам он к этому поджогу не имел ни малейшего отношения. В том-то и дело, что не имел. А должен был иметь. Должен был охладить горячие головы, не дать совершить глупость. Кто-то сказал, что в подвалах церкви и монастыря военные склады. Толпа ринулась. Впрочем, дело давнее.

Пройдя еще два квартала, он остановился и оглянулся. На улице не было ни души. Тускло светили редкие фонари. Благоразумнее направиться в обход, но бочонок оттягивал руку. Пойдем напрямик через кладбище... Ворота закрыты, но сбоку есть калитка... Железная дверца подалась с громким скрежетом. Он замер и прислушался.

На войне он видел немало покойников, покойники ему ничего дурного не сделали. Вот живые — другое дело. Опасения Бернольфо носили вполне земной характер.

Кажется, пока ничего подозрительного. Посыпанная гравием дорожка между двумя рядами могил раздваивалась: одна, пошире, шла направо, другая, узкая, продолжала виться между могилами. Паршивое место, удобное для засады. Впрочем, засада возможна за каждым памятником... Он двинулся по узкой дорожке — самому короткому пути — к противоположной ограде кладбища. В тишине громко хрустел гравий под тяжелыми, доншиваемыми после армии горными ботинками. «Так всех покойников перебудишь!» Попробовал ступить на носки. И тогда услышал сзади торопливые шаги. Догоняли двое или трое. Неподалеку от дорожки белела мраморная фигура ангела — надгробье над могилой. Сунул бочо-

нок ангелу под крыло, вернулся на дорожку и остановился. Те, сзади, тоже остановились. До ограды было совсем близко. Бросился вперед. Из темноты выросли две молчаливых фигуры. «Окружили. Сам виноват. Зря полез на кладбище». Остервенело рванул железный прут решетки. В сильных руках железный прут — сносное оружие.

По ту сторону ограды настороженно вслушивался в шум потасовки оборванный мальчишка лет четырнадцати-пятнадцати. Мальчишка оглянулся, соображая, куда бы спрятаться. Шагов на сорок тянулась высокая каменная ограда. Но в ограде зиял пролом. Через пролом видно: трое волокут одного. Один большой, видно сильный, упирается и все зовет товарищей. А где они, товарищи?

Голоса доносились ясно, отчетливо:

— Стукни это рабочее дерьмо, чтоб не воняло!

Свистящие удары дубинки и хриплый рев избиваемого:

— Развяжи мне руки, подонок, тогда увидишь, кто из нас дерьмо, а кто мужчина!

— Стукни его!

И опять заработали дубинки.

Потом, когда мальчишку расспрашивали о стычке и хвалили его за храбрость, виновник смущенно отворачивался. В тот день он помирал с голода, замерз как щенок и не собирался вмешиваться в чужую драку. Просто сработали руки. «Пим-пам-пум!» Обломки кирпичей полетели в спины вооруженных подонков.

Если б они знали, что их новый противник — голодный, тщедушный оборвыш!.. Он швырял, почти не глядя, обеими руками, кирпичи с треском ударялись о камни мостовой, высекая искры, догоняли друг друга, сталкивались в воздухе, разлетались дождем осколков. Он швырял в исступлении бешенства. Пот и слезы застилали глаза, он не чувствовал боли в ободренных пальцах.

В этот момент руки ему нужны были только для одного: швырять, швырять, швырять!

Надвинулось тяжелое дыхание бегущего человека. Большое тело протиснулось в проем, и хриплый голос одавленно произнес:

— Живей, живей!..

— Оставь кирпич, тебе говорят! — рявкнул большой и побежал. Двигался он как-то боком, неуклюже пригнувшись к земле. Паренек понял, что у него связаны руки за спиной.

Сзади раздались короткие хлопки, что-то цокнуло о могильную плиту — нападающие стреляли из револьверов.

Револьверные хлопки продолжались, но беглецы уже укрылись за большим гранитным памятником.

— Попробуй-ка развязать мне руки. — Мальчишка притронулся к веревке, затянутой тутим узлом, и застонал от нестерпимой боли: из изодранных пальцев сочилась кровь. Он впился в узел зубами и стал его рвать. Через минуту большой с наслаждением растирал свои онемевшие кисти.

— Вот так-то лучше. А теперь давай убираться отсюда.

Перебегая от памятника к памятнику, они выбрались за кладбищенскую ограду.

— Ну, покажись, каков ты есть? — сказал большой, оглядывая неказистую фигуру своего спасителя. — Молодец, ничего не скажешь. Будем знакомы. Джакомо.

— Джакомо, — ответил мальчишка, пожимая протянутую руку. Большой оглушительно захохотал. Мальчишка с испугом оглянулся. Преследователей не было видно.

— Как же быть? Значит, так: я — Джакомо-большой, ты — Джакомо-маленький. Идет? Фамилия моя, на всякий случай, Бернольфо. Давай выбираться отсюда потихоньку, потом подумаем, как нам жить дальше.

Узкими темными переулками они вышли на площадь и сразу отпрянули назад, в темноту. У фонтана стояла группа вооруженных людей.

— Отлежаться бы до утра,— пробормотал Джакомо-большой.— Не знаешь такого места?

— Знаю. Только...

— В ресторан Корсини не зови, без фрака не пойду,— усмехнулся Бернольфо.— Показывай дорогу.

Они подошли к полуразрушенному сараю, его щели были заткнуты тряпками. Джакомо-маленький сказал:

— Держитесь за меня, а то стукнетесь.

Бернольфо послушался, но все же раза два ударился о торчащие обломки и громко чертыхнулся.

Джакомо-маленький отодвинул старый лист фанеры, служащий дверью, вошел в берлогу и зажег коптилку. Бернольфо огляделся и присвистнул:

— Хорошо живешь, друг.

— Не хуже других. Протопить печку, что ли?

— Печку? — Джакомо-большой критически оглядел старый бидон.— Не надо. Давай спать.

Он снял с себя куртку и лег на рваный тюфяк. Ноги Джакомо-большого уперлись в стенку берлоги, все сооружение зашаталось.

— Не по росту дворец,— добродушно усмехнулся Бернольфо.— Ложись, малыш, ближе. Накройся курткой. Утром подумаем, как нам жить дальше,— повторил он давешнюю фразу.— Спи... А здорово ты их: «пим-пам-пум!»

Джакомо-маленький спросил:

— Скажите, синьор, кто эти люди, которые хотели вас... обидеть?

— Обидеть?! Ох и деликатный ты парень, Джакомо. Они хотели меня убить. Кто эти люди? Фашисты они, слышал? Нет? Боюсь, еще услышишь. А кто виноват? Предали нас, малыш. Руководство социалистической пар-



тии, Конфедерация труда. Да, трудно отдавать завоеванное, ох как трудно! Кое-кто приуныл. «Ничего, Джакомо,— сказал наш Грамши. Ты еще услышишь о нем,— Это не последний бой. Пусть они пока радуются. У нас в Сардинии говорят: все волки в конце концов встречаются в меховом магазине».

За всю свою жизнь Джакомо-маленький не слышал такого количества премудростей. Бернольфо необходимо было выговориться. После сильного потрясения и пережитой опасности человеческая психика требует разрядки. Понимает слушатель или не понимает — не так уж важно.

Но Джакомо-маленький хотел понять. Очень хотел. И потому спросил:

— Эти люди... значит, на вас напали фашисты?

— Конечно. Кто ж еще?

— А вы, синьор?

— Я — социалист. Это ты хотел спросить?

— Да, но ведь социалисты предали рабочих? Так вы сами сказали.

Бернольфо приподнялся на локте, Джакомо-маленький скорее почувствовал, чем увидел, что Бернольфо смотрит на него.

— У тебя варит голова, малыш. Если в твоем вопросе нет подковырки,— думаю, что нет,— отвечу: мы, группа «Ордине нуово», социалисты. Но мы — за Коммунистический Интернационал. Мы — за обновление партии... А знаешь ли ты, что такое социалист?

— Кажется, знаю, синьор.

— Синьор, синьор,— передразнил Бернольфо.— Зови меня товарищ или по имени. Откуда же ты такой образованный?

Темнота располагала к откровенности. И мальчик рассказал своему неожиданному гостю нехитрую историю, как матери не дали пособия за погибшего на войне

мужа. «Но почему? — спросила мать. — Мой муж был хорошим солдатом, его наградили двумя медалями за храбрость». «Солдат должен быть солдатом, а не лезть в политику», — ответил чиновник муниципалитета. Потом они с матерью переехали в Турин, говорили, что «Фиату» нужны дешевые рабочие руки. Десять часов на заводе оказались матери не под силу. Она заболела. Перед смертью умоляла святого Джакомо — его покровителя — не оставить сына своими милостями. Он не в обиде на святого, крыша над головой — это уже хорошо. Еда? Еды, конечно, маловато, но с голоду пока не умер. Вот только вечера в берлоге длинные-предлинные. Дома у него были книжки с картинками, тут книжек нет, да и темно. Зато в темноте можно представлять про себя всякие истории, это почти так же интересно, как читать книжки...

В берлоге было тихо, наверное, Бернольфо заснул. Джакомо-маленький тоже стал засыпать... Он увидел, как волки, много волков, поодиночке входят в меховой магазин, снимают с себя шкуры и вешают их на крючки... Понурая стая волков перед магазином терпеливо ожидала своей очереди.

— Да, плохо тебе, малыш! — гроыхнуло над самым ухом. Джакомо-маленький вздрогнул... Волки в панике разбежались. — Плохо тебе, малыш, — участливо повторил Бернольфо. И своей огромной ладонью-лопатой ласково провел по его лицу. Участливые нотки в голосе, давно забытая ласка... В темноте раздались всхлипывания.

— Ну-ну, Джакомо, ты же мужчина. Утром подумаем, как жить дальше. На святого Джакомо какая надежда?

Только начало светать, как Бернольфо растолкал Джакомо-маленького.

— Вставай, пойдем.

— Куда?

— Попрошу-ка я тетушку Анджелину. Может быть, она тебя приютит. Начнешь работать, профессию получишь. Согласен? Пойдем, пойдем, не пожалеешь.

Знакомым путем вернулись на кладбище. Было пустынно и тихо. Под крылом мраморного ангела спокойно лежал бочонок. Бернольфо подхватил бочонок под правую руку, отвесил ангелу шутливый поклон, еще раз оглянувшись вокруг.

— Теперь, малыш, как говаривал наш лейтенант, предстоит энергичный марш-бросок. Видишь ли, эту штуку я надеялся пристроить в одном местечке. Но раз тут бродят всякие подонки, мы отнесем эту штуку в другое местечко. А другое местечко далеко. Посмотрим, какой ты ходок.

Действительно, «марш-бросок» оказался предлинным. Джакомо-маленький с трудом поспевал за Бернольфо. Но это ясное и свежее утро навсегда осталось в его памяти, перед ним впервые раскрылся рабочий Турин, неукротимый город-боец. Бернольфо торопился и все же не забывал «просвещать» своего подопечного.

— Мы, малыш, на площади Сан-Карло... Это, между прочим, центральное полицейское управление, а это, сам понимаешь, памятник королю... Если подойти поближе, ты бы увидел на памятнике следы пуль. Еще в 1864 году, может быть, на год-другой я ошибусь, не в этом дело, тут была расстреляна демонстрация, которая протестовала против перенесения столицы во Флоренцию. На следующий день Виктор Эммануил, сам понимаешь, не нынешний, а Виктор Эммануил II, перед нынешним был еще Умберто I, его убил анархист Гаэтано Бреши, так вот король давал во дворце придворный бал. Народ обступил решетки дворца и силой помешал знатым господам попасть на бал... Ну вот, подожди немного, сейчас я покажу свой дворец. Не веришь, настоящий дворец, вот, гляди...

Бернольфо указал на пятиэтажное здание:

— Подойди поближе, прочти, что там написано: «Палата труда». Этот дворец принадлежит Всеобщей ассоциации рабочих, а следовательно, и мне. Мы его построили, туринские рабочие. Здесь у нас зал на две тысячи человек, библиотека и еще много чего. Улица называется Галилео Феррарис. В мае 1915 года тут собрались толпы людей. На улице Галилео Феррарис, в саду Пьетро Микка, на улице Чернайя. Мы шли к площади Кастелло. Нам преградили дорогу войска, кавалерия. Мы свернули сюда, на улицу Виотти, и переулками прошли на улицу Рома... Тут нас встретил взвод кавалеристов. Лейтенант, молоденький такой дурак, подал команду: «Залп!» Многих ранило, а одного рабочего убило, его звали Деццани. И еще одного убило, Карлуччо, хороший паренек был. Он жил в том доме, где Грамши. Антонио простить не мог, что мы не уберегли мальчишку... Вот на этом самом месте. Что ты смотришь на мостовую? Кровь?.. Ведь пять лет прошло. Тогда много крови было, целая лужа. И здесь, возле Палаты труда. Там рабочие разобрали мостовую, выломали железные прутья из решетки. Целое сражение. Из-за чего сражение, спрашиваешь? Разве я не сказал? Мы хотели помешать правительству вступить в войну. Не вышло. Через четыре дня Италия начала воевать против Германии и Австро-Венгрии, в тот же день меня и призвали... Еще раз посмотри на это место, малыш. Два года спустя здесь собралось более сорока тысяч человек. Из Петрограда — это, знаешь, главный город России — приехала делегация русского Временного правительства, состоящая из меньшевиков и эсеров. Что такое меньшевики, потом объясню. Они хотели уговорить Италию продолжать войну «до победного конца». Делегаты выступали вон с того балкона, видишь? Не успели выйти, как все сорок тысяч крикнули: «Да здравствует Ленин!» Кто такой Ленин, знаешь? Немного? Ничего,

я тебе потом расскажу. Только делегаты раскроют рот, как вся толпа разом: «Да здравствует Ленин!» Вот как было...

Остальную часть пути Бернольфо молчал. Молчал и Джакомо-маленький, оглушенный непривычным обилием информации. Перешли через мост на другой берег реки По. Бернольфо еще прибавил шагу, Джакомо-маленький едва успел прочитать на дощечке, что проспект называется Монкальери. У маленького кафе Бернольфо остановился, сунул Джакомо-маленькому несколько монет.

— Скушай чего-нибудь, только не наедайся, а то тетушка Анджелина обидится. Я скоро вернусь.

Джакомо-маленький не мог представить, как можно наесться, чтобы больше не захотелось. И еще понял: ему не доверяют. Неприятно, конечно, но ведь доверие надо заслужить. Джакомо-маленький не обиделся. К тому же из полураскрытой двери кафе доносились дразнящие ароматы. Он почувствовал, что голоден, как вся компания волков, вешавших свои шкуры на крючки в меховом магазине, и вошел в кафе...

Бернольфо вернулся действительно скоро, без бочонка. Есть не стал, только выпил горячего кофе. Снова вышли на улицу.

В этом районе жили рабочие «Фиата». В нижних этажах некоторых домов ютились лавки, торгующие разной разностью. «Интересно, куда Бернольфо спрятал бочонок?» — подумал Джакомо-маленький, оглядываясь и не замечая ничего примечательного. Через полгода, выполняя «партийное поручение», как неукоснительно каждый раз предупреждал Бернольфо, он будет часто проходить проспектом Монкальери и узнает, что в ничем не примечательном доме номер 236 в магазине безделушек находится склад оружия, а напротив, в ничем не примечательном доме номер 253, живет семья Джибелли: кадровый рабочий Анджело Джибелли — сын гарибальдийца

и внук гарибальдийца Примо Джибелли, за которым гонялась чуть ли не вся туринская полиция.

Совершив еще один «марш-бросок», два Джакомо очутились в рабочем районе Борго Сан-Паоло. У старого трехэтажного дома Бернольфо задержался. Штукатурка дома была в дырках, словно дом переболел оспой. Бернольфо ковырнул штукатурку пальцем и извлек кусочек металла.

— Память об августе 1917 года. Возьми. Здесь была баррикада. Строили баррикаду наспех, после того, как рота альпийских стрелков дала в упор залп по толпе. А стреляли полицейские, переодетые в солдатскую форму. За баррикадой засели самые отчаянные ребята и еще целый день оборонялись. Понимаешь, друг, оборонялись!

Бернольфо толкнул дверь. С жалобным скрипом, похожим на визг подбитой собачонки, дверь отворилась. Бернольфо пропустил вперед Джакомо-маленького и, перешагнув порог, остановился, оглядывая полупустую в это время дня тратторию. Все здесь знакомо, сто раз видено-перевидено. Длинные некрашенные столы, такие же лавки. За стойкой тетушка Анджелина, высокая полная женщина лет сорока пяти, наливает вино из бочонка, такого же, какой был у Бернольфо, в бутылки, оплетенные соломой. Не отрываясь от своего дела, она неодобрительно поглядывает на ближний к стойке стол, за которым друг против друга молча сидят двое мужчин. Бернольфо знал их. С черной повязкой на глазу — это Анастасио, бывший солдат, при Капоретто он потерял правый глаз. Другой — возле него стоят прислоненные к лавке костыли — Джузеппе, бывший рабочий «Фиата». Прессом ему раздавило ногу. Пришлось отнять. Веселая компания — косой да хромой. Они земляки, еще до войны приезжали в Турин из Фоссано; в траттории их так и зовут — земляки из Фоссано.

Обо всем уже переговорено, так и молчат часами.

За дальним столом сидели двое молодых людей. Одного мы уже встречали, это Примо Джибелли, другой — Эрнани Чиваллери, механик завода «Скатт», тихий, молчаливый человек. Друзья, однако, знали, что Чиваллери можно поручить самое опасное дело и он его выполнит. Оба были членами военной секции Союза социалистической молодежи.

Сперва нужно было устроить парнишку.

— Присаживайся, малыш, тут тебя никто не обидит.

Бернольфо подошел к тетушке Анджелине и вполголоса коротко пересказал ей историю Джакомо-маленького. Анджелина оказалась человеком действия. Она наполнила миску густой кукурузной кашей — полентой — и поставила перед Джакомо-маленьким.

— Кушай на здоровье. Пойду нагрēju котел воды, — добавила она, критически оглядывая лохмотья мальчишки.

Теперь Бернольфо подсел к Примо и Эрнани:

— Грамши уехал в Рим?

Примо кивнул.

— Проводили?

— Проводили, — ответил Примо. — Только издали.

— Почему издали?

— Ты не знаешь?

— Он с-сердится... к-когда его п-провожают, — заикаясь, объяснил Эрнани.

— Все в порядке, не сомневайся, Джакомо, — сказал Примо.

— Ладно. На кладбище я чуть не попался. Этот малыш выручил, — кивнул Бернольфо на Джакомо-маленького, с завидным аппетитом уплетающего поленту. — Бочонок пришлось отнести в магазин.

Примо понимающе кивнул.

— Так вот, задание Грамши. Помните, что было 15 апреля прошлого года?

Эрнани и Примо переглянулись.

— Много чего было,— уклончиво ответил Примо.

— 15 апреля прошлого года фашисты напали на редакцию «Аванти!». Вот что было... Надо укрепить помещение «Ордине нуово», редакцию и типографию. Получайте план,— вынул из кармана и передал Примо листок бумаги.— Тут все помечено, где натянуть колючую проволоку, где что. Берите своих ребят, припасы и действуйте, ясно?

— Ясно.

— Не совсем ясно. Вот что посоветовал Грамши. Машину вы достанете?.. Так вот, привезите все что надо и разгружайте открыто. «Хорошо бы те подумали, что помещение заминировано»,— сказал еще Грамши.

— Заминировать? — удивился Эрнани.

— Чтобы те подумали! Поняли? Вот и все.

2

Грамши срочно выехал в Рим для встречи с товарищем, прибывшим в Италию из Москвы по поручению Коминтерна. Приглашение приехать передал Грамши хорошо знакомый журналист Визнер, коллега по работе в «Гридо дель пополо».

— Зовут нашего гостя Владимир Александрович Деготь,— сказал Визнер.— Человек он весьма любопытный. Рабочий-переплетчик, большевик с начала девятисотых годов, часть своей жизни провел в эмиграции во Франции в ту пору, когда там находился и Ленин. В парижской группе большевиков Деготь выполнял разные практические задания. Вообще он человек практического склада. После Октябрьской революции пригодилось его знание языков. В 1919 году Деготь — один из организаторов знаменитой Иностранной коллегии при Одесском

комитете партии. Интуиция, подкреплённая опытом, и здравый смысл помогли ему правильно оценивать людей и ориентироваться в сложных политических ситуациях. Думаю, что Ленин ценит его именно с этой стороны. Встреча с этим товарищем, полагаю, представляет для вас несомненный интерес.

Деготь жил в меблированных комнатах. Он старался не пользоваться гостиницами, которые обычно находились под наблюдением полиции. В заранее условленное время Грамши постучал в дверь комнаты, на которую ему указала служанка. «Войдите», — по-французски отозвался мужской голос. /

Грамши вошел. Посреди комнаты стоял большой грузный человек.

— Деготь, — назвал он себя, внимательно рассматривая гостя.

— Грамши!

— Кто вам дал мой адрес?

Грамши пожал плечами:

— Визнер. Товарищ Визнер.

— Что еще сказал товарищ Визнер?

— Что вас интересует рабочее движение Турина, — нетерпеливо ответил Грамши. — Если оно вас действительно интересует...

— Действительно интересует. И не только меня. Не надо сердиться, товарищ Грамши. В царской России было такое милое учреждение — охранка. Нас, русских революционеров, оно кое-чему научило. Словом, рассказывайте. обстоятельно и подробно.

— Что вы хотите узнать? — спросил Грамши.

— Все! — засмеялся Деготь. — Вот так — хочу знать все. Думаете, невозможно? Тогда ограничимся текущим моментом. Что за группа «Ордине нуово»? Но я сразу взял вас на абордаж. Хотите передохнуть с дороги?

— Нет, я не устал, — ответил Грамши, внимательно

разглядывая собеседника. Высокий лоб, крупные черты лица, густые волосы, расчесанные на пробор, внимательные, умные глаза. И руки, сильные рабочие руки, но без следов недавней физической работы.

— Раньше вы были рабочим? — спросил Грамши.

— Да, переплетчиком. И высокой квалификации, — не без удовольствия заметил Деготь. — Что, по рукам заметно?

— Да. Так вот, группа «Ордине нуово» родилась в Турине. Она — детище рабочего Турина. В этом ее сила и, одновременно, известная территориальная ограниченность. Вы бывали в Турине?

— Нет.

— Придется коротко рассказать вам об этом необычном городе.

Деготь кивнул.

— До воссоединения Италии Турин был столицей маленького государства, в которое входили Пьемонт, Лигурия и Сардиния.

— Ваша родина?

— Да, я из Сардинии. После перенесения столицы в Рим Турину, казалось, грозила опасность потерять свое бывшее значение, но он быстро преодолел экономический кризис и стал одним из важнейших промышленных центров Италии. Говорят, в Италии три столицы: Рим — папский, Турин — рабочий, Милан — финансовый. Действительно, развитие крупной промышленности привлекло в Турин цвет всего итальянского рабочего класса.

— Не болеете ли вы местным патриотизмом, товарищ Грамши?

— Дело не в местном патриотизме, от которого, между прочим, не отрекаюсь, а в объективной реальности. Не преувеличивая, скажу, что каждый итальянский рабочий мечтает работать в Турине. Он видит в этом городе свой, пролетарский центр, Петроград итальянской ре-

волюции. К слову сказать, туринцы внимательно следят за русским Петроградом. Весть о Февральской революции была встречена в Турине с неописуемым восторгом.

— С восторгом по-итальянски? — улыбнулся Деготь.

— Да, мы увлекающаяся нация. На улицах обнимались, целовались, плакали от радости, узнав, что в России царская власть низвергнута. Известия о последующих событиях в России докатились до нас через преграду цензуры. Но итальянский рабочий интуитивно почувствовал ясную и негибкую волю Ленина. Когда в июле 1917 года в Турин с официальной миссией приехали меньшевики Смирнов и Гольденберг, туринцы встретили их возгласами: «Да здравствует Ленин! Да здравствуют большевики!» Этот митинг положил начало новому периоду в развитии массового движения. 23 августа 1917 года в Турине вспыхнуло восстание. Было почти как на войне: траншеи, проволочные заграждения с пропущенным через них электрическим током, баррикады. Пять дней рабочие отражали все атаки войск и полиции. Надежды на поддержку войск не оправдались. Борьба закончилась поражением. Известны ли вам эти страницы нашей недавней истории?

— В то время я работал в Иностранной коллегии в Одессе. Мы рассказывали о туринских боях солдатам оккупационного корпуса. Это, знаете ли, была действенная пропаганда.

— Очень хорошо. Буду предельно краток. Поражение не сломало туринцев. События текущего года — одно из самых крупных революционных выступлений итальянского пролетариата после первой мировой войны: всеобщая апрельская забастовка, нечто вроде встречного боя. Классовая борьба в Италии резко обострилась, товарищ Деготь. Рабочие преисполнены непреклонной решимости бороться. Промышленники и землевладельцы стремятся любыми средствами поставить рабочих на колени.

Грамши на минуту задумался, чтобы поточнее сформулировать свою мысль. Деготь внимательно и заинтересованно слушал. «Он умеет слушать, этот человек», — подумал Грамши. Грамши сам умел слушать и очень ценил это качество в других.

— Так вот, можно утверждать, что за настоящим этапом классовой борьбы в Италии последует либо завоевание революционным пролетариатом политической власти, либо бешеный разгул реакции имущих классов и правящей касты.

— Смелый прогноз, — проговорил Деготь. — Все это очень важно, товарищ Грамши.

— Прогноз мой опирается на трезвый анализ реальной обстановки. И я хочу подчеркнуть, что в этой до предела накаленной атмосфере Итальянская социалистическая партия выступает в роли простого наблюдателя событий, стояла и стоит в стороне от международного рабочего движения. С этим не может согласиться Туринская секция социалистической партии, от имени которой я говорю с вами.

— Если не ошибаюсь, вы один из руководителей этой секции?

— Да. Осенью 1917 года меня избрали секретарем ее Временного исполнительного комитета... То, что завоевано нами ценой многих жертв и тяжелых потерь, мы не отдадим. Но Туринская секция — всего лишь секция. Речь идет обо всей Итальянской социалистической партии. Так дальше продолжаться не может. Партия должна из мелкобуржуазной парламентской превратиться в партию революционного пролетариата.

«Этот туринец прекрасно разбирается в диалектике, умеет о сложном говорить просто и ясно», — подумал Деготь и спросил: не предполагает ли товарищ Грамши написать статью на эту тему? Нет сомнения, что высказанные мысли являются результатом зрелых размышлений,

они, так сказать, отстоялись и могут быть, должны быть изложены на бумаге. Грамши ответил, что обязательно напишет, как только позволит время. Ему кажется, что в Турине опять назревают события. Оценить их перспективу весьма трудно. Многое зависит от позиции социалистической партии, позиция эта вызывает беспокойство.

— И не только у вас,— помолчав, сказал Деготь,— вернусь домой, постараюсь передать содержание нашей беседы товарищу Ленину... Вам не доводилось встречаться с Владимиром Ильичем?

— Нет. К великому сожалению.

— Мне посчастливилось часто видеть и слышать его в эмиграции, в Париже. Я был членом парижской группы большевиков... Не стану вдаваться в воспоминания, а то меня не остановишь. Между прочим, в десятом номере журнала «Коммунистический Интернационал» помещен прекрасный портрет Ленина. Хотите взглянуть?

Он вынул из ящика стола и протянул Грамши журнал — сброшюрованную тетрадь большого формата. На обложке рабочий тяжелым молотом разбивал цепи, опутывающие земной шар.

— Как раз французское издание. Журнал издается одновременно на четырех языках, вы знаете? Редакция дает последовательную нумерацию страниц, начиная с первого номера. Нашли?.. Последний портрет, и очень удачный.

Ленин стоял в спокойной, непринужденной позе, прислонившись к книжному шкафу. Казалось, он собирался снять с полки нужную книгу, но его отвлекли. Грамши долго рассматривал портрет. На фотографии Ленин продолжал думать. Он повернулся к собеседнику, в глазах его мелькнула заинтересованность. Но через несколько мгновений он вернется к книгам, к прерванной работе. Подпись под портретом, крупно: «Н. Ленин (В. И. Ульянов)». И ниже, помельче: «К пятидесятилетию со дня рождения (10 апреля 1870 г.— 10 апреля 1920 г.)».

Деготь внимательно наблюдал за реакцией собеседника. На его лице было довольное выражение. «Какой непосредственный, увлекающийся человек, — подумал Грамши, — его искренне радует то, что портрет Ленина мне понравился».

— Вот и будет вам маленький презент от меня, — сказал Деготь. — Возьмите журнал с собой. Когда еще этот номер будет в Турине... Да, так я говорил, что передам содержание нашей беседы товарищу Ленину. Но это будет не скоро. Подумаем, как сделать, чтобы до открытия II конгресса Коммунистического Интернационала товарищ Ленин располагал всей необходимой информацией об итальянских делах.

3

Над материалами к конгрессу Ленин работает в июне — июле 1920 года. Он предлагает на обсуждение товарищей «Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам», просит *«в самой краткой (не более 2—3 страничек) форме»* дать конкретные дополнительные сведения по опыту отдельных стран. Связной Коминтерна, приехавший из Италии с делегацией социалистической партии, привозит Ленину номер «Ордине нуово» с текстом доклада Туринской секции. Автор доклада (публикация «Ордине нуово» без подписи) с предельной ясностью и точностью ответил на вопрос: что должна делать Итальянская социалистическая партия в переживаемый момент международного коммунистического движения?

Прочитав доклад, Ленин поручает немедленно сделать его перевод с итальянского и, не дожидаясь этого, вносит в текст «Тезисов об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала», датируемых 4 июля, предпоследним, 17-м пунктом следующее:

«По отношению к Итальянской социалистической партии II конгресс III Интернационала находит в основе своей правильной ту критику этой партии и те практические предложения, которые изложены, как предложения Национальному совету Итальянской социалистической партии, от имени Туринской секции этой партии в журнале «Новый порядок» («L'Ordine Nuovo») от 8 мая 1920 г. и которые вполне соответствуют всем основным принципам III Интернационала.

Поэтому II конгресс III Интернационала просит Итальянскую социалистическую партию созвать экстренный съезд партии для обсуждения как этих предложений, так и всех решений обоих съездов Коммунистического Интернационала для исправления линии партии и для очищения ее, и особенно ее парламентской фракции, от некоммунистических элементов».

На другой день, 5 июля, Ленину приносят перевод. Владимир Ильич внимательно прочитывает его. Перевод недостаточно точно передает образный и ясный язык оригинала. Ленин делает некоторые поправки в переводе и пишет записку о необходимости напечатать доклад до конгресса в журнале «Коммунистический Интернационал» или особым листком. И делает приписку: «Плохой перевод, но все же *надо* печатать». И на полях: «Дать мне корректуру *немедля*».

Кроме доклада «За обновление социалистической партии» в том же прочитанном В. И. Лениным номере «Ordine nuovo» были напечатаны без подписи еще две важные статьи: «Предрассудки и действительность» и «Сила революции». Первая статья подводит итоги неудачного апрельского выступления туринского пролетариата: «Туринские рабочие были насильно втянуты в борьбу; у них не было выбора; они не могли отложить столкновение ни на один день... Туринские рабочие уже доказали, что поражение в этом бою не сломило их воли к борьбе...»

Вторая статья, написанная по свежим следам празднования Первого мая в Турине, мощной рабочей демонстрации, которую королевские гвардейцы попытались разогнать оружием, заканчивается выводом: «Рабочий народ... стал организованной и дисциплинированной армией, сознающей стоящую перед ней реальную цель, сознающей, что она представляет собой историческую силу...»

Внимательный читатель без труда заметит, что эти две статьи и доклад «За обновление социалистической партии» написаны одной рукой. Автором всех трех материалов, опубликованных в «Ордине нуово» 8 мая 1920 года, был Антонио Грамши.

19 июля II конгресс Коминтерна начал свою работу, а уже на следующий день вышел двенадцатый номер журнала «Коммунистический Интернационал». В журнале напечатаны ленинские «Тезисы об основных задачах Второго конгресса Коммунистического Интернационала», включавшие упомянутый 17-й пункт, и полностью текст доклада Туринской секции Итальянской социалистической партии.

Итальянская делегация на конгрессе бурно обсуждала тезисы.

Конгресс считал возможным, идя навстречу итальянским делегатам, не упоминать в резолюции о неправильности политической линии ИСП, но подчеркнул основную мысль: предложения Туринской секции соответствуют всему направлению Коминтерна. Подробности дискуссии на конгрессе Коминтерна Грамши узнал от возвратившихся в Италию делегатов, узнал и о поддержке Ленина. Грамши был обрадован и не скрывал этого. «Нам приятно... узнать,— пишет он в «Ордине нуово»,— что оценка Исполкома III Интернационала значительно отличается от той, казалось бы, безапелляционной, которую давали крупнейшие деятели партии».

В Итальянской социалистической партии развернулись горячие споры. Но события в Турине на время зашли для Грамши все остальное, потребовали максимального душевного и физического напряжения.

4

В начале сентября Центральный комитет Итальянской федерации рабочих-металлистов, после долгих и безуспешных мирных переговоров с предпринимателями о повышении заработной платы, призвал рабочих по всей Италии к захвату заводов металлообрабатывающей промышленности. Это явилось ответной мерой на попытку промышленников, в первую очередь туринских, взять инициативу в свои руки. Еще в марте в Милане состоялась первая общенациональная конференция промышленников. Основной доклад на конференции делал крупный промышленник Оливетти. Доклад был посвящен... движению фабрично-заводских советов. «Советы,— сказал он,— должны рассматриваться как революционные организации...» Всеми силами противиться созданию фабрично-заводских советов требовал Оливетти. Требование было поддержано. Промышленники оказались проницательнее многих социалистических лидеров. Конференция провозгласила создание Конфедерации промышленников.

Итак, захват фабрик и заводов! Первый шаг был сделан. Металлообрабатывающие предприятия продолжали выпускать продукцию уже без хозяев.

Но для нормальной работы нужны многие материалы. Автомобильным заводам, например, требуются шины, кузова, кожа, стекло. Промышленники, изготовлявшие эти товары, отказались продавать их рабочим. По призыву коллективов головных заводов смежные предприятия тоже были заняты рабочими. Туринское движение

фабрично-заводских советов — по определению Грамши, «форма организации коммунистического типа» — подготовило этот во всех отношениях сложный революционный акт. «Но туринский пролетариат был изолирован от остальной Италии,— с горечью писал Грамши.— Центральные органы социалистической партии не сделали ничего, чтобы ему помочь»...

Поздним вечером Грамши подошел к заводским воротам, у которых, картинно опираясь на карабин, стоял молодой рабочий-красногвардеец. Увидав незнакомого человека, красногвардеец взял карабин на изготовку и спросил:

— Куда? К кому?

Грамши улыбнулся. Тревога за будущее движение, не дававшая покоя всю последнюю неделю, казалось, отступила. В конце концов завтрашний день еще может сложиться по-разному, а реальный сегодняшний день — вооруженный молодой рабочий у ворот завода, карабин на изготовку. Реален дым из заводских труб, реален доносящийся сюда, за пределы завода, глухой шум работающих станков. Реальна продукция, которую выпускает этот завод и десятки других предприятий Турина, работающих без хозяев. Движение туринских рабочих подхвачено другими промышленными центрами Италии. Каждое предприятие, захваченное рабочими, стало своего рода пролетарской республикой, живущей тревожно и напряженно в ожидании событий. Силы врага еще не выявлены, истинные намерения его пока понять невозможно. Но «республики» живут, и это имеет безмерное историческое значение.

— Отвечай, когда спрашивают! — грозно сказал красногвардеец. Он заметил улыбку незнакомца, принял ее на свой счет и обозлился.

— Не сердись, товарищ,— миролюбиво ответил Грамши.— Позови кого-нибудь из заводского совета.

Красногвардеец еще раз сурово оглядел Грамши, порылся в кармане, вытащил свисток и поднес его к губам, не сводя глаз с Грамши. На сигнал отозвался голос из дежурки за воротами:

— Иду!

Показался пожилой красногвардеец. Он подошел к воротам, вглядываясь в фигуру посетителя.

— Это же сам товарищ Антонио Грамши! Кого ты не пускаешь, дурья голова! — напустился он на часового.

— Откуда я знал,— оправдывался красногвардеец, который, видимо, слышал имя Грамши, но не знал его лично.— Я же не туринец.

— Откуда ты, друг? — спросил Грамши.

— Из Асти. Нас двадцать человек приехало. На помощь.

— На помощь. Правильно поступили. Будь здоров, товарищ из Асти.

— Заводской совет вместе с цеховыми уполномоченными заседают уже часа два. И Джованни Пароди там,— сказал пожилой красногвардеец.

— Можешь меня проводить? — спросил Грамши.

Красногвардеец кивнул.

Они шли по длинному коридору. На серой стене висели большие листы с наклеенными на них полосками машинописного текста. Подойдя ближе, Грамши увидел, что это заводская стенная газета, несколько номеров. Газета называлась «Выстоять надо!». Под крупным заголовком стояло написанное помельче: «Ежедневная газета бывшего центрального завода «Фиат». Год издания — 1». И номера — от первого до четвертого. В номере четвертом текст: «Ежедневная газета» был слегка изменен: «Почти ежедневная газета». Несмотря на озабоченность, Грамши невольно улыбнулся: «Почти ежедневная...»

В этом же номере была просьба к читателям подавать материал Джино Де-Марки. Опытный газетчик, Грамши уловил в этой просьбе знакомые интонации: «Пишите, дорогие мои лентяи, пишите, черти полосатые, пишите!.. Ведь не могу я один стряпать газету!..» Впрочем, вот статья Пароди, еще некоторых членов заводского совета, сводки выпуска готовой продукции... И все-таки под большинством заметок стояла подпись: «Джини Де-Марки». Или: «Дж. Д.-М.» Не требовалось особой догадливости для расшифровки этих знаков... Джино Де-Марки, рабочий-поэт, автор сборника, вышедшего с добрым напутствием Барбюса! После заседания Грамши решил внимательно ознакомиться с номерами «Выстоять надо!». Да, выстоять надо! Надо! Но как это сделать?

Заседание проходило в небольшом застекленном помещении на втором этаже. Окна смотрели в цех, откуда шел равномерный гул. В эту сентябрьскую ночь «Фиат-Чентро» работал на полную мощность, так же как «Фиат-Линготто» и другие заводы «Фиата». Только не было сегодня на троне монарха — Джованни Аньелли, хозяина этого гигантского предприятия. Работой «Фиата» руководил другой Джованни — Пароди, рабочий-металлист, секретарь заводского совета «Фиат-Чентро», крупнейшего промышленного предприятия Италии. С радостным возгласом он поднялся навстречу Грамши, высокий, мускулистый, чернобородый.

— Здравствуй, Антонио! Мы рады, что ты здесь.

Как бы хотел Грамши вдохнуть уверенность в этих людей. На днях он спросил у руководителя Федерации металлистов Буоцци: «Понимаете ли вы, что для захвата фабрик не было проведено никакой подготовки. Вы отдаете массы на расправу, вы не приняли во внимание возможность вооруженного вмешательства правительства. Что вы сделаете в таком случае? Что вы предусмотрели?»

В ответ Буоцци пробормотал: «Мы обратимся к народу, мы доведем дело до конца!»

...Было за полночь. Заседание шло к концу, оставались частные производственные вопросы. Грамши наклонился к Пароди.

— Хочу поговорить с Де-Марки. Отпустишь его?

Пароди кивнул. Грамши с Де-Марки вышли.

— Подойдем к газете, — сказал Грамши. — Если не возражаешь, Джино, дам тебе несколько профессиональных советов. Статья за твоей подписью называется «Бойня». Автор начинает с правильных, но общих слов, что пролетариат борется за свободу, за родину, за свои идеалы, а буржуазия на эту честную, открытую борьбу отвечает самыми коварными и бесчестными методами. Затем во многих абзацах развивает правильную, но снова общую мысль, что машины, заводы, поля, шахты должны принадлежать тем, кто на них работает. Далее автор требует «положить конец царству праздной буржуазии!». Тоже верно, но мысль выражена в открытой лозунговой форме. И только в последнем абзаце автор пишет, что «вчера два наших товарища по труду и борьбе были убиты промышленником». Ты не называешь их фамилий, не описываешь саму трагедию... Вместе с тем вся статья, названная тобой «Бойня», должна была быть именно об этом конкретном событии, со всеми вытекающими отсюда выводами.

Или вот эта статья. Названа она «Спецовка» и снабжена подзаголовком: «Почти научное изыскание на тему о дороговизне». Только во второй половине статьи выясняется, что речь идет о трех «синьорах», одетых в спецовки, гулявших по цехам и несколько часов работавших у печей. Кто были эти синьоры, с какой целью они пришли на завод и даже несколько часов работали у печей? Что это было — провокация или, наоборот, жест сочувствия?.. Статья не дает ответа на эти вопросы...

Видишь ли, Джино, ты редактируешь ежедневную, или «почти ежедневную», — Грамши улыбнулся, — газету. Представь себе, что эту газету читают наши потомки, допустим, через пятьдесят лет. Читают с интересом, с уважением... Впрочем, не будем решать за наших потомков. Но в сиюминутном, преходящем они должны чувствовать время, эпоху... В общем, ты молодец, Джино. Я обязательно приду на завод еще не раз и почитаю свежие номера. И, если не возражаешь, один совет, даже просьба: сфотографируй эти номера.

— Зачем?

— А вдруг потомки все же окажутся любопытными.

(В архиве Джино Де-Марки сохранились фотографии нескольких номеров — всего их вышло семь — «ежедневной, почти ежедневной» газеты «Выстоять надо!» Центрального завода «Фиат» в дни захвата рабочими фабрик и заводов.)

Завыли сирены. По коридору засновали люди.

— Тревога!.. Мне надо на свое место! — воскликнул Де-Марки.

— Будь здоров, Джино.

Грамши подошел к наружной висячей лестнице и вслед за молодым красногвардейцем начал подниматься на крышу.

— Осторожно, Антонио. Может быть, не стоит, — сказал чей-то знакомый голос. — Это трудно.

— Ничего, — сказал Грамши. — У меня был некоторый навык в детстве. Влезу.

Поднялся без особого труда, подошел к парапету.

Он впервые видел Турин сверху и ночью. Огни, тревожные вспышки выстрелов...

— Наш город, — сказал знакомый голос.

Грамши оглянулся. Рядом стоял Пароди.

— Наш город, — согласился Грамши. — И будет нашим всегда!.. Мы одни, Джованни, хочу тебе кое-что сказать.

Все эти дни я продолжаю задавать себе вопрос: надо ли было захватывать фабрики и заводы?.. Я очень хорошо знаю слабость итальянского пролетариата, его плохую организацию. И все-таки... Надо было, Джованни!

«Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов».

К. Маркс. Письмо Кугельману.

«Маркс умел оценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное дело необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе».

В. И. Ленин. Предисловие к русскому переводу писем К. Маркса.

Глава вторая

СПОР С ВЕЛИКИМ ИДЕАЛИСТОМ

1

За тонкой стенкой два голоса: низкий густой и высокий звонкий.

Звонкий голос:— Когда яичница подгорела, поздно дуть на сковородку.

Пауза. Низкий голос, перешительно:— Когда...

Звонкий голос, скороговоркой:— Когда макароны падают в рот, все знают, как их съесть. Когда лестница упала, все начинают давать советы... Сдаешься, Джакомо?

Низкий голос:— Вот еще... Давай на другое слово... «Каждый»...

Звонкий голос: — Давай... Каждый чешется там, где у него зудит... Каждый может из своего теста сделать клецки...

— Пошли бы вы, друзья, со своими клецками в другую комнату, — взмолился женский голос. — Или подиктуйте. Меня завалили работой.

— Диктуй, Джакомо, — сказал низкий голос. — Пойду проверю охрану.

Протопали тяжелые шаги. Хлопнула дверь. Звонкий голос отчетливо выговаривал слова завтрашней передовицы «Ордине пуово». Стрекотала пишущая машинка.

«Удивительно подружились два Джакомо; огромный медлительный сержант артиллерии и маленький туринский Гаврош, с его мгновенной реакцией, — подумал Грамши. — Когда это мальчуган так поднаторел в игре «в пословицы»?» И, поймав себя на прилипчивом слове «когда», Грамши улыбнулся: веселая сценка отвлекла от невеселых мыслей. Но мысли вернулись, куда от них уйдешь! Кто-то из товарищей сказал о недавних сентябрьских событиях: «Несостоявшаяся революция». Представительница противоположного лагеря, влиятельная буржуазная газета «Коррьере делла Сера» призналась: «Революция не совершилась не потому, что мы сумели ей противостоять, а потому, что Конфедерация труда ее не пожелала». Социалистическая партия и одряхлевшая рабочая организация показали свое бессилие — вот главный вывод из пережитого.

Но жизнь не стоит на месте. Сентябрьские события уже стали историей. На очереди ноябрьские выборы в муниципальные советы. Во всех городах Италии и в Турине, разумеется, развернулась предвыборная борьба, усилившая глубокие разногласия внутри социалистической партии. Для буржуазных газет выборы стали поводом еще раз изобразить рабочее движение страшным пугалом. Потрясая этим пугалом перед глазами читателя,

газеты убеждали буржуа, что ему необходимо пойти голосовать, необходимо претерпеть небольшое беспокойство, чтобы не подвергнуться риску, — проснувшись на следующее утро после выборов, обнаружить в ногах постели... свою отрезанную голову. «Одпи — трусы, другие — шантажисты» — так язвительно-броско назвал Грамши статью в «Аванти!» о приближающихся выборах. Джачинто Серрати, паверное, поморщился, но название оставил. Пиа Карена, перепечатывая его статью, смягчила одно-два выражения. Пиа — умница, настоящий друг, но он категорически потребовал восстановить текст рукописи. Пиа потом долго дулась, называла его «синьор редактор», наверное, в этом эпизоде «синьор редактор» оказался не очень тактичен, но что поделаешь: в политической полемике он всегда резок и беспощаден. Даже тогда, когда ему самому это нелегко. Последняя статья — сейчас Пиа будет ее печатать, — «Откровенное объяснение с одним буржуа», писалась с гневом, болью и, несомненно, вызовет боль у человека, которому он многим обязан.

В соседней комнате тихо переговаривались два голоса, затем снова застрекотала машинка, Джакомо-маленький начал диктовать следующую статью. Грамши прислушался.

«Профессор Умберто Космо, автор передовых статей газеты «Стампа», был...»

Был — добрый учитель, глубоко озабоченный судьбой своих полуголодных питомцев!..

«Сейчас профессор Космо называет своих учеников «праздными гуляками», — отчетливо выговаривал слова звонкий мальчишеский голос, и от этого слова становились еще горше, — (а он знает — он, который помогал некоторым из них в моменты наиболее тяжелых денежных затруднений, — он знает, что его ученики-социалисты жили на стипендию «Колледжа провинций» — на 70 лир в месяц; он знает, что, если его ученики-социалисты

хотели купить книги, они должны были мчаться из одного конца города в другой, давая частные уроки, которые Космо сам помогал им доставать, потому что тогда «учитель» очень любил своих учеников), сейчас профессор Космо предлагает взять за образец «социализм обманщиков»».

Стрекотание машинки стихло. Наверное, Пиа Карена закладывает новую страницу.

Как же случилось, что профессор Космо сочиняет передовицы для беспринципной и лживой «Стампа», беспринципной даже на фоне других буржуазных газет? Из номера в номер «Стампа» возвещает о бедствиях, которые постигнут итальянский народ по вине «поджигателей». Как же случилось, что профессор Космо, до самозабвения влюбленный в науку, занялся сомнительной политикой и объединился с продажными писателями?

Чудовищно! Но если вдуматься, метаморфоза с Космо в какой-то мере типична.

Война потрясла Космо. Он выступил против людей, ввергших Италию в пучину бедствий, хотя, сочувствуя рабочим, оставался пацифистом, а не революционером.

Еще в 1917 году, после августовского восстания туринского пролетариата, профессору Космо оставались близки идеалы рабочего класса. «Буржуазия утратила всякое чувство гуманности, поэтому она должна исчезнуть со страниц истории», — в ту пору говорил Космо. Затем через мир прошел рубеж Октябрьской революции. Итальянская интеллигенция раскололась в своем отношении к Советской России. Космо колебался, но в этом вопросе не было середины.

За стенкой Джакомо-маленький диктовал:

«Мы откровенно говорим ему, что все уважение и вся привязанность, которые к нему испытывали его ученики-социалисты, теперь исчезли и сменились большим сожалением и глубоким презрением».

В кабинет вошел Монтаньяна.

— Антонио, что случилось? У тебя такое лицо...

— Ничего, Марио. Есть новости?

— Одна новость. На этот раз — хорошая. В Турин приезжает Анри Барбюс... Черт возьми, думал ли я в тюрьме, слушая куски его книги, что увижу самого Барбюса, может быть, даже пожму руку, написавшую о войне так, как никто еще не писал!

2

Барбюс приехал. На 5 декабря было назначено его выступление в туринском Народном доме. Газеты поместили биографию писателя. В августе 1914 года Барбюс, к тому времени уже автор нескольких книг, ушел добровольцем на фронт. Пережитое на войне нашло свое отражение в романе «Огонь». Роман — гневный протест против войны и насилия — принес Барбюсу мировую известность.

В 1919 году Барбюс организовал группу «Кларте» — «Ясность» — международное объединение европейской интеллигенции. 19 мая «Кларте» опубликовала свой манифест.

Отделения «Кларте» создавались во многих странах,

...На сцену туринского Народного дома вышел очень высокий и очень худой человек. Из-за роста голова с широким выпуклым лбом казалась небольшой. Темно-русые волосы двумя продольными волнами падали на лоб. Он обвел взглядом переполненный зал, худой нервной рукой провел по волосам, смущенно, словно извиняясь, попросил аудиторию разрешения курить. Аудитория согласно загудела: Барбюс понравился. Он закурил, уронив спичку на пол. Чтобы поднять спичку, ему пришлось согнуть свое большое туловище, но даже в этой

неудобной позе он сохранил свойственную ему неприужденную естественность. Служитель принес пепельницу. Барбюс положил поднятую с пола обгоревшую спичку в пепельницу и начал свою речь. Он сказал, что группа «Кларте» хочет создать организацию, охватывающую все страны, цель которой — поднять громкий, сильный голос правды. Наши великие принципы — равенство людей и наций, право на образование и на труд для всех, интернационализм, то есть замена национальной солидарности солидарностью общечеловеческой.

Источником всемирного зла является капитализм. Но нам никогда не придет на ум принимать в расчет классы, ибо мы стремимся избавить человечество от таких искусственных барьеров.

Чтобы поднять на должную высоту идеал разума и спасения, надо идти от соглашения в одном пункте к соглашению в другом, начинать двигаться надо не с конца, а с самого начала.

«Что же считать концом и что началом?» — подумал Грамши.

Мы говорим людям: все в вашей власти, испокон веков все творилось вашими руками.

Мир будет таким, каким вы его сделаете сами!

Барбюсу долго хлопали. Он поклонился, прижал худые руки к сердцу и ушел за кулисы, а за столиком в фойе проводилась запись в группу «Кларте». Записывались многие, в том числе и рабочие.

На другой день Грамши передали, что Барбюс хотел бы с ним встретиться. Грамши охотно согласился.

Они сидят друг против друга, такие внешне непохожие. И Грамши понял, что вчера он, по существу, не видел Барбюса, потому что из зрительного зала невозможно следить за выражением глаз человека на сцене. А глаза у Барбюса — все. И если действительно глаза — зеркало души, то душа этого высокого и худого французского

писателя открыта для чужого страдания и боли. Симпатия к личности собеседника заставила Грампи как-то особенно осторожно подыскивать слова в начале беседы. Барбюс это понял и, улыбнувшись в коричневые усы, сказал:

— Позвольте предварительную сентенцию. Только ограниченные литераторы берут на себя смелость утверждать: если два человека говорят друг с другом, обязательно что-то должно произойти. Перемена отношений, поворот сюжета, ну и тому подобное. Приходится с этим мириться в плохих романах, где, по выражению Золя, «персонажи являются простейшими механизмами чувств и страстей», но в жизни подобная примитивная утилитарность невыносима. Полагаю, это наша общая точка зрения. И еще одно замечание: надеюсь, вы ко мне хорошо относитесь и будете говорить все, что думаете?

— Я к вам очень хорошо отношусь и буду говорить то, что думаю. Ваша речь, ваша программа произвела на нас всех сильнейшее впечатление. Большие мысли были облечены в точные и сильные слова. Но можно ли изменить существующий строй только с помощью мысли и слов?

— Простите, я перебью вас... Вы видели, как охотно записывались вчера в нашу группу люди разных общественных слоев. Всех этих людей социалистическая партия не смогла бы привлечь в свои ряды. Лобовая атака иногда нерасчетливо приводит к бесцельным жертвам, это я вам говорю по собственному опыту, как старый солдат. Битвы в области идей выигрываются при помощи больших движений. Но извините, продолжайте, пожалуйста.

— Постараюсь быть последовательным. «Начинать двигаться надо не с конца, а с самого начала», — сказали вы. Что же считать концом и что началом?

— Вы желаете, чтобы я ответил? — спросил Барбюс. — Извольте. Все наше современное общество от одного

полюса до другого основано на единственном принципе: притеснения всех несколькими. Начало начал — уничтожение этой нелепости. Как видите, между нашими принципами и теми, которые вытекают из программы коммунизма, имеется большое сходство.

— И большие различия, мэтр Барбюс. Всякое общество живет и развивается, поскольку существует производство, поскольку производится больше, чем потребляется, даже если распределение благ носит несправедливый характер. При этом общество живет и развивается, как бы оно ни было преступно. Но оно погибнет, если не будет производить, даже если бы оно при этом было воплощением царства справедливости.

— Это не противоречит программе «Кларте». Мы утверждаем: все средства производства должны быть социализированы; крупные землевладения, заводы и машины должны принадлежать обществу, распоряжаться всем должны рабочие, обладающие соответствующей технической компетенцией.

— Вот мы и приняли в расчет классы,— улыбнулся Грамши.— Примите же в расчет еще одну непреложную истину. «Мир будет таким, каким вы захотите его иметь!» — сказали вы вчера с глубокой верой в добрые силы, заложенные в человеке, с глубокой верой в торжество добра над злом. Но торжество не придет само. Его нужно долго и напряженно готовить. И этим занимаемся мы — коммунисты!

— «Мы — коммунисты», — повторил Барбюс.— Но ведь вы — член социалистической партии? Не так ли?

— Буквально на днях официально создана коммунистическая фракция Итальянской социалистической партии. Это произошло на конференции в Имоле. Впрочем, мы и раньше были коммунистами.

— Я прервал вас, извините,— сказал Барбюс.— Продолжайте, пожалуйста.

Он положил в пепельницу потухшую папиросу, закурил новую, глубоко затянулся и ждал. Грамши пожал плечами:

— Возможно, я не скажу ничего нового для вас, но в буржуазной прессе о коммунистах печатают столько небылиц, что возникает желание громко, так, чтобы все слышали, крикнуть: А знаете ли вы, кто такие коммунисты России, коммунисты Италии? Это люди, которые стараются разобраться в обстановке разрушений и нищеты, стараются среди этого хаоса разорения отыскать в реальной действительности такие устойчивые настроения и жизнеспособные силы, на которые можно было бы опереться при создании новых институтов, нового общественного здания, нового государства. Это рабочие, которые верят в свой класс, которые хотят сделать его творцом нового права, новых порядков. Это исследователи общественной жизни, различающие в этой картине контуры будущего человеческого общества, рождение которого предсказал Маркс. Вот кто такие коммунисты; они смелые и настойчивые люди, эти коммунисты; они не бьют себя в грудь, не оплакивают страдания и нищету, изображаемые на экране кинематографа, как это делают мелкие буржуа, которые боятся голода, холода и того, что у них отнимут их законную супругу.

— Все это, бесспорно, вызывает чувство глубокого уважения. Но вы не назвали путь к торжеству добра.

— Пока путь один. Итальянские коммунисты, как и коммунисты всех стран, считают, что коммунистическая революция является необходимым моментом в общем ходе развития мировой истории; они хотят вооружиться, чтобы быть сильными, создавать организации, чтобы быть стойкими, вести воспитательную работу, чтобы укреплять веру, воодушевлять, — чтобы вселить отвагу!..

Барбюс стремительно наклонился к собеседнику. Темно-русая прядь упала на его большой лоб.

— Мы подошли к главному. Значит, насилие?

— Насилие не является главным в диктатуре пролетариата. Отнюдь нет. Но революция должна суметь защитить себя. Иначе — кровь. Потоки крови. Рабочие Парижа помнят, как это было!

— Страшный век — век крови, — глухо сказал Барбюс. — Мы в сумерках мира и не знаем, проснемся ли завтра. Нам поможет лишь одно: мы знаем, из чего сделана ночь... Рабочие Парижа помнят, как это было!.. И последних защитников Коммуны у каменной стены на Пер-Лашез... Мечтаю о великой чести, когда придет мой час... Оставим это. Вы сказали: «Пока путь один». Пока. Я не ослушался?

— Весной прошлого года пролетариат Венгрии взял в свои руки власть без вооруженного восстания и кровопролития. Вы, конечно, знаете, как ликовал Ленин. Венгерская Советская республика существовала всего сто тридцать три дня, но она существовала. Пока путь один; кто знает, какие пути принесет рабочему классу будущее!.. Искренне признателен за беседу, мэтр Барбюс. Позвольте представить вам одного из тех, о которых я говорил так многословно, молодого туринского коммуниста и вашего читателя. Его зовут Марио Монтаньяна. «Огонь», который вы писали в окопах, он прочитал в тюрьме.

— Вы действительно читали мою книгу в тюрьме? — спросил заинтересованный Барбюс.

— Если быть точным, не читал, а слушал.

И Монтаньяна рассказал, как в начале 1918 года в туринскую «Карчере нуово» был доставлен главный редактор «Аванти!» — Джачинто Менотти Серрати. Ему разрешили писать, Серрати принялся за перевод книги Барбюса на итальянский язык. Как раз в ту пору заключенного Монтаньяна взяли в бухгалтерию писарем. По должности разрешалось передвигаться по тюрьме. К но-



вому писарю быстро привыкли, Монтаньяна стал иногда похаживать один и разговаривать с товарищами через «дневные глазки», открывающиеся снаружи. Каждый день он подходил к камере Серрати, открывал глазок, Серрати, приблизив губы к глазку, прочитывал несколько страниц своего перевода. Монтаньяна стоял в коридоре и слушал. На другой день, улучив момент, снова оказывался под дверью камеры Серрати. Так Монтаньяна прослушал почти всю книгу. Рукопись перевода удалось переправить на волю, но, к великому сожалению, она погибла год спустя, когда фашисты в первый раз подожгли помещение «Аванти!». Книга Барбюса вышла в Италии в другом переводе, менее удачном, как кажется Монтаньяна.

История эта очень взволновала писателя. Он глубоко затянулся докуренной до конца папиросой, поморщился — табак весь сгорел, тлела бумага, — закурил новую папиросу и спросил, не знает ли Грамши итальянского юношу, совсем мальчика, который в прошлом году прислал ему во Францию тетрадку стихов. Стихи поразили Барбюса подлинным вдохновением. Фамилия поэта Де-Марки. Грамши, улыбаясь, ответил, что прекрасно знает Де-Марки. Нельзя ли его разыскать? — спросил Барбюс. Разумеется, можно... Он в соседней комнате. Позвали смущенного общим вниманием Джино.

Прощаясь, Барбюс сжал руку Грамши, сказал, что встреча произвела на него сильное впечатление, он обдумает услышанное. Если Грамши не возражает, то, возможно, ему удастся написать о новых туринских друзьях.

Писатель выполнил свое намерение, но в форме, которую в декабре 1920 года нельзя было предположить. Полтора десятилетия спустя на весь мир прозвучал призыв Барбюса: «Спасем жизнь Грамши!»

Глава третья ОТ ЛИВОРНО ДО РИМА

1

Из-за плотно затворенных дверей зала в фойе ливорнского театра Гольдони прорывался неравномерный, то затихающий, то усиливающийся, гул. Грамши помедлил возвращаться в зал, пытаясь по гулу определить «температуру» аудитории. «Температура» явно приближалась к верхней отметке шкалы, как, впрочем, и во все предшествующие шесть дней работы XVII съезда Итальянской социалистической партии.

Седьмой день делегаты обсуждают положение в стране, пути борьбы за социализм, принятие или непринятие «21 условия» приема в Коминтерн, выдвинутых его II конгрессом. Седьмой день сражаются ораторы трех основных фракций: коммунистов, максималистов-центристов, реформистов. Седьмой день бурлит зал, аккомпанируя ораторам аплодисментами, свистом, ироническими возгласами. А иронии итальянцам не занимать: когда один из ораторов одобрительно отозвался о Народной партии («Пополари») — политической партии итальянских католиков, — по всему театру пронеслось насмешливое «пи-пи, пи-пи, пи-пи».

Временами «температура» достигала высшей отметки, и тогда стихийно возникал мощный разноголосый хор, песней продолжая дискуссию: коммунисты пели «Интернационал», максималисты — «Бандьера Росса», реформисты — «Рабочий гимн», сочиненный Турати. Пение разряжало атмосферу, работа съезда продолжалась.

Нервная обстановка в театре Гольдони утомила Грамши, изредка он покидал зал, чтобы поразмыслить. Грамши не любил шумные съездовские дискуссии, питал

органическое отвращение к политическим сплетням (многие делегаты в пылу полемики не брезговали ими), но, главное, создавалось тягостное впечатление, что лидеры социалистической партии живут вне времени и пространства, словно не замечая захлестнувшей страну мутной волны насилия. Чуть не каждый день приходили известия о нападениях на Палаты труда и социалистические муниципалитеты и поджогах редакций рабочих газет в Риме, Милане, Пола, Триесте, об убийствах активистов рабочего класса. Все знали, что это дело рук фашистов. Но что такое фашизм? Только ли сборище деклассированных бандитов или определенное социальное явление, к которому нужно отнестись со всей серьезностью? В «Аванти!» Грамши писал, что фашизм — это усиление буржуазной реакции и легализация насилия в масштабах всей страны (существует исторический закон: обычай предшествует праву). Джачинто Серрати, главный редактор «Аванти!», статьи печатал, как один из наиболее влиятельных деятелей Итальянской социалистической партии, особой тревоги не проявлял. А надо тревожиться, надо! За последние месяцы итальянский фашизм, представляющий до этого мелкие группы, разбросанные по полуострову, стал создавать боевые отряды, открыто враждебные рабочему движению. Фактически на общественную арену Италии выступила вооруженная контрреволюция. В силу многих причин это произошло именно в Италии, возможно, только ранее, чем в других европейских странах. Явление, которое на первый взгляд казалось случайным, было далеко не случайным. Почему же свою глубокую тревогу Грамши не смог передать не только лидерам социалистической партии, но и товарищам, лидеру коммунистической фракции Амадео Бордиге? Не совершает ли он ошибку, во имя единства не выступая открыто против линии Бордиги? И какую огромную ответственность взяли на себя члены коммунистической

фракции, принявшие резолюцию отделиться от реформистов. Серрати, за которым пойдет большинство, колеблется. Но иного выхода нет!..

Гул за дверью прекратился, съезд слушал оратора. Грамши приоткрыл тяжелые створки и вошел. На трибуне стоял Бордига.

В непривычной тишине отчетливо слышалось каждое слово:

— Делегаты, голосовавшие за резолюцию коммунистической фракции, должны покинуть зал. Они приглашаются в 11 часов в театр Сан Марко, чтобы принять решение об образовании коммунистической партии — секции III Интернационала.

Коммунисты вышли из зала с пением «Интернационала» и отправились на повый учредительный съезд. Колонну делегатов сопровождала королевская гвардия и карабинеры, группы рабочих, спустившихся с галереи театра Гольдони. При входе в театр Сан Марко у делегатов-коммунистов проверяли мандаты, на них ставили штампы с серпом и молотом.

В партере театра не было стульев и скамеек. На головы собравшихся через большие дыры в крыше лился дождь; делегаты раскрыли зонтики, что, по выражению одного из участников заседания, «выглядело странно, учитывая место и характер события». Не в лучшем состоянии был пол, весь в провалах и ямах, в которых накапливалась вода, наполняя воздух ледяной сыростью. Весь вид театра, от окон с выбитыми стеклами и лож, лишенных барьеров, до разорванного грязного занавеса, свисавшего по сторонам сцены, напоминал о том, что во время войны это помещение служило складом военных материалов. На сцену поставили стол, покрытый знаменем социалистической партии Ливорно. Лишь знамя придавало помещению некоторую праздничность. Так открылся I съезд Коммунистической партии Италии.

Доклады и выступления были очень краткими. Съезд избрал Центральный Комитет, Грамши вошел в него. Коммунистическая партия Италии начала свой боевой путь.

Грамши торопился домой. Нетерпение объяснял одним словом:

— Газета!

2

Ранним февральским утром Грамши подошел к воротам дома по улице XX сентября и постучал в запертую калитку. Простуженный голос спросил:

— Кто?

— Грамши.

— Сейчас открою, Антонио. Минуту... Понимаешь, замерзли руки.

— Не трудись, обойду кругом.

Он и не собирался воспользоваться калиткой — ход с улицы считался запасным на случай возможного нападения, — только проверил, на месте ли охрана. Главный вход в помещение редакции — с Архиепископской улицы. По узкой лестнице поднялся на второй этаж. Было непривычно пусто и тихо, рабочий день в редакции начнется позднее, ведь сотрудники разошлись под утро, после выпуска свежего номера. Каждую ночь он с волнением ждет появления газетного листа, терпко пахнущего типографской краской, и каждую ночь не перестает удивляться чуду: мысли, лишь сегодня облеченные в слова, завтра станут достоянием тысяч людей. С 1 января 1921 года «Ордине нуово» стала выходить ежедневно.

Где же, как не на страницах газеты туринских рабочих, поразмыслить о съезде в Ливорно!

Грамши вернулся в Турин со сложным ощущением победы и поражения. Раскол отвечал необходимости

создания партии, способной возглавить рабочий класс в трудной обстановке. Но сам раскол, по его убеждению, прошел неудовлетворительно: революционное крыло социалистической партии не сумело увести с собой большинство. Как всегда у Грамши, отвлеченное понятие, в данном случае «большинство», оставшееся в рядах социалистов, персонифицировалось в живых людей, многих из них он знал лично, и было очень жаль терять хороших товарищей.

Куда поведет партию Бордига? Как руководитель Амадео обладает многими превосходными качествами и... многими недостатками. Впрочем, у кого нет недостатков! Главное, сумеет ли Бордига подготовить партию к жестоким боям? Что эти бои неизбежны, Грамши не сомневался.

Где же, как не на страницах «Ордине нуово», оценить противника, предупредить общество о «грозном призраке» государственного переворота, который готовятся осуществить фашисты — генеральный штаб латифундистов и банкиров!

«Поражает дальновидность этой оценки и содержащегося в ней предупреждения...— полвека спустя напишет итальянский историк-коммунист Сприано.— Этот анализ проводился не в спокойной обстановке, за письменным столом, а в условиях, когда в Италии разыгрывались события гражданской войны...»

В своем крохотном кабинете на втором этаже Грамши не думал о том, что о нем напишут через 50 лет. Он работал.

В комнату заглянула Пиа Карена. Укоризненно покачив кудрявой головой, вытряхнула в корзинку окурки из пепельницы, приоткрыла форточку.

— Это вчера товарищи, — виновато пробормотал Грамши, продолжая писать.

— Там Пьеро Гобетти. Принес статью. Ждет.

— Ждет! Пьеро! — громко позвал Грамши.

Вошел юноша, золотоволосый, с открытым, ясным лицом и остановился у двери, смущенно глядя на Грамши.

— Пиа сказала, что ты совсем не ложился.

— Ох уж эта Пиа! Ложился и спал крепким сном целых четыре часа. На будущее договоримся: человек, ведающий в «Ордине нуово» театральной и литературной критикой, может в любое время дня или ночи входить в кабинет главного редактора. А теперь главный редактор жаждет прочитать твою статью.

Гобетти молча положил на стол рукопись. Грамши сразу погрузился в чтение.

Несмотря на свою молодость, Пьеро Гобетти уже был выдающимся публицистом и издателем. Грамши высоко ценил его за поразительную одаренность, в не меньшей мере — за духовную честность и отсутствие всякого тщеславия. Левого либерала Гобетти Грамши пригласил сотрудничать в коммунистической газете, считая, что статьи Пьеро украсят «Ордине нуово», а «Ордине нуово» свяжет молодого литератора с внешним миром.

— Хорошо, — сказал Грамши, дочитав. — На небольшой площади газетной статьи ты сумел доказать важную мысль: искусство выражает определенный нравственный мир, но не меняет его по своему произволу. Если безобразный человек хочет увидеть в зеркале свое лицо красивым, ему не помогут поиски другого зеркала... Хорошая статья, Пьеро.

Он взял карандаш и написал: «В набор».

Гобетти поднялся.

— Сегодня еду во Флоренцию.

Грамши нахмурился.

— Во Флоренции власти потеряли голову, войска обстреливают из артиллерии рабочие кварталы. Там сейчас Тольятти... У Пальмиро есть опыт.

— Не беспокойся за меня, Антонио, — усмехнулся Гобетти. — Гадалки предрекли мне долгую жизнь.

— Провожу тебя,— сказал Грамши.

Они прошли через комнату, где Пиа Карена разбирала утрешнюю почту. Письма рабочих-читателей она складывала в отдельную папку,— Грамши их читал сам,— остальное сортировала по отделам. Гобетти спустился по лестнице.

— Не лезь на рожон, Пьеро, прошу тебя,— сказал ему вслед Грамши.

Пиа Карена вскинула глаза, но промолчала. Она развернула объемистую бандероль, бумажную обертку бросила в корзинку. Грамши, который направлялся к себе, нагнулся, извлек из корзинки обертку, разгладил ее.

— И не жалко тебе, дорогая Пиа, такие превосходные марки?

— Марки?.. Италии вполне хватает одного филателиста,— фыркнула Карена, намекая на ироническую кличку короля Виктора Эммануила.

— Да ты посмотри.

Марки были разного достоинства: от 5 чентезимо до 1 лиры, но на всех была надпись «Фиуме» и портрет поэта Габриэле Д'Аннунцио.

— Я не заметила. Впрочем, зачем тебе Д'Аннунцио?

— Всегда приятно взглянуть на красивого мужчину.

— Красивый? Фи... Кончики усов подкручены, борода козлиная, нет одного глаза и уже лысеет.

— Глаз он потерял при посадке аэроплана, а вот лысеет — это, конечно, нехорошо,— засмеялся Грамши.— Подбери мне, милая Пиа, последние статьи Д'Аннунцио, выступления, приказы — словом, все, что встречалось в печати.

— Час от часу не легче,— пробормотала Пиа Карена.— Когда прикажете, синьор редактор?

— Синьор редактор человек терпеливый. Но не позднее чем через три дня.

К исходу третьего дня пунктуальная Карена положила перед Грамши ворох вырезок.

— Гм, наш герой весьма плодовит, — заметил Грамши, проглядывая вырезки. — Спасибо, Пиа.

— Может быть, в благодарность скажешь, зачем это тебе понадобилось?

— В благодарность скажу: хочу повидаться с Д'Анпунцио.

— Ох!.. Ты с ума сошел. Между прочим, я тебе подобрала еще кое-что.

— Что именно? Покажи.

— Нет, я прочитаю вслух. «Габриэле Д'Аннунцио — отставная марионетка англо-французского масонства...» «Буржуазия... способна выдвинуть из своей среды только посредственных людей — мастеров высокопарной риторики вроде Д'Аннунцио». Это 1919 год. Осень прошлого года: «Авантюра Д'Аннунцио, если рассматривать ее с точки зрения проверки дееспособности буржуазного государства, имеет поистине грозный смысл». И так далее. Кто это писал? Антонио Грамши.

— А ведь «команданте» действительно есть за что меня повесить, дорогая Пиа, — улыбнулся Грамши. — Оставь и это.

— Он смеется! Неужели ты всерьез решил?..

— Всерьез. Есть достаточные основания. Попрошу тебя, Пиа, пока об этом ни слова.

В результате войны перестала существовать лоскутная Австро-Венгерская империя. 10 сентября страны Антанты подписали с Австрией Сен-Жерменский договор, по которому порт Фиуме — старинный хорватский город Риека — вопреки притязаниям Италии остался в юрисдикции союзников. Через два дня после подписания Сен-Жермен-

ского договора известный поэт и драматург Габриэле Д'Аннунцио во главе сформированных им легионов захватывает Фиуме и становится «команданте». «Мои ардиты!» («Мои смельчаки!») — этим высокопарным обращением начинаются многословные приказы «команданте» (название, впрочем, имеет предысторию: во время войны ардитами назывались бойцы штурмовых отрядов итальянской армии).

Авантюра Д'Аннунцио — любопытнейший эпизод, характеризующий послевоенную Италию с ее подорванными основами парламентаризма и конституционного государства: без согласования с правительством частное лицо вмешивается в территориальный спор между Италией и Югославией, вводит в город сформированные им вооруженные силы, устанавливает самоуправление и даже выпускает почтовые марки («Почта Фиуме» — в наше время украшение коллекций филателистов!).

Для чего же весной 1921 года Грамши решил встретиться с Д'Аннунцио? Акция, на первый взгляд неожиданная, была связана с поисками возможностей противостоять наступлению фашизма.

Грамши надеялся — и в этом состоял его тактический план — в той или иной форме использовать напряженность, существовавшую тогда в отношениях между Д'Аннунцио и Муссолини, возможно, дать толчок созданию вооруженной коалиции против фашистов.

На первых порах фашисты были тесно связаны с Д'Аннунцио, к захвату Фиуме Муссолини отнесся одобрительно, назвав его методом «прямого действия», и даже писал в своей газете, что «революция, начатая в Фиуме, может закончиться в Риме». В газете Муссолини не договаривал: Рим он оставлял для себя! Не договаривал, разумеется, и самое существенное: Муссолини боялся конкуренции Д'Аннунцио, боялся его кричащей популярности.

Все это учитывал Грамши. Очевидно, встреча была оговорена заранее. Но она не состоялась. Почему? Не будем гадать. Во всяком случае, план Грамши достаточно примечателен.

В первой половине 1921 года бесчинства фашистских банд достигли невиданных размеров. По приблизительным подсчетам, только за эти шесть месяцев было разграблено и сожжено 59 партийных домов, 119 Палат труда, 114 секций социалистической и коммунистической партий. Мрачная и угрожающая статистика, отдаленная от нас полувеком. Не забудем этого в наши 70-е годы, когда в Италии участились провокации неофашистов: взрывы бомб, нападения на секции компартии, трусливые выстрелы из-за угла. Провокации сегодня — выражение злобы и ненависти людей вчерашнего дня. И все же — не забудем!

Правительство не пресекало фашистские акции, наоборот, полиция старательно сажала коммунистов в тюрьмы. В Турине были арестованы многие молодые рабочие, в том числе Примо Джибелли.

3

Бернольфо зашел в типографию газеты «Ордине нуово», где работал Джакомо-маленький. После съезда, когда «Ордине нуово» стала органом Коммунистической партии Италии, охрану редакции и типографии усилили, хотя сотрудник газеты Марио Монтаньяна, по старой профессии механик, шутил, что типография сама за себя постоит и в случае чего отобьется гайками. Он имел в виду то, что от древней ротационной машины время от времени отлетала какая-нибудь гайка или болт. По счастливой случайности, пока еще никого не зацепило, гайку или болт ставили на место, и старушка продолжала работать. К утру тираж газеты неизменно был готов к отправке.

В серьезных делах Бернольфо шуток не признавал, на реплики Монтаньяна хмурился и добавлял что-нибудь хитроумное к системе запоров и ограждений.

На этот раз ему нужен был только Джакомо.

— Получай ответственное задание, малыш. Примо схватили в третий раз. На этот раз крепко. Есть сведения, что его переводят в крепость Экзиль. Надо проследить за отправкой. Как это сделать? Очень просто. Арестантов, скованных цепью, привезут в тюремной машине к вокзалу Порта Нуова и посадят там в утренний поезд, который идет в долину реки Сузы. Когда? Может быть, завтра, может быть, послезавтра. Придется подежурить, малыш. Только не вздумай увязаться за ним. Увидел Примо и все. Понял?

С какой охотой Джакомо-маленький взялся за это поручение! Примо для него был идеалом отваги и того лихого озорства, которое импонирует подросткам. В сентябре Джакомо с восторгом наблюдал, как Джибелли вместе с неизменным Чиваллери на бешеной скорости в гоночной машине прорывался сквозь заслоны и доставлял оружие рабочим-красногвардейцам. Сердце подростка замирало от волнения: он дал зарок — быть похожим на Примо!

Все произошло так, как предполагал Бернольфо. Только не на второй, а на четвертый день. К вокзалу Порта Нуова подошла тюремная машина. Из нее выгрузили группу арестантов в наручниках, прикованных к общей цепи, и повели их к поезду, мимо испуганно сторонящихся пассажиров. Среди арестантов, окруженных стражниками, Джакомо увидел Примо и помахал ему рукой, но Примо не заметил. Тогда Джакомо обогнал группу, сделал вид, что не успел перебежать на другую сторону, и заметался в проходе.

— Проваливай отсюда, живо! — заорал стражник, замахиваясь на Джакомо.

— Слушаюсь, сирьор, проваливаю,— весело отозвался Джакомо. Теперь Примо его заметил и улыбнулся широкой добродушно-лукавой улыбкой.

Первая половина задания была выполнена. Хорошо бы прошмыгнуть в один из вагонов. Но Джакомо вздохнул, проводил Примо глазами и отправился докладывать Бернольфо.

Влезая в вагон, а для людей, скованных цепью, это операция непростая, Примо продолжал улыбаться.

— Весело тебе! — пробурчал один из арестантов, мрачный детина с многодневной черной щетиной на лице, по облику — уголовник.

— Угадал, приятель.

На какой-то станции, название ее Примо не разобрал, заключенных вывели. Дальше пошли пешком.

Дорога заняла около часа. Крепость Экзиль — угрюмое здание, окруженное высокими каменными стенами,— стояла на высокой горе. Заключенных ввели во двор. Вблизи крепостное здание оказалось еще более угрюмым. Вместо окон во двор смотрели узкие амбразуры, прорезая стены удивительной толщины.

— Хуже нету тюрьмы,— пробурчал мрачный уголовник.— Кормежка — только-только не подохнуть.

— Зато вид какой,— весело отозвался Примо.

Вид с горы открывался чудесный.

— Плевал я на твой вид! — зарычал уголовник.— И чего ты все веселишься, не пойму.

— Я от рождения веселый.

— Тут ты быстро соскучишься, весельчак,— зловеще пообещал уголовник.

— Соскучусь — найду местечко, где будет повеселее,— невозмутимо отозвался Примо.

Через несколько недель с помощью друзей Примо бежал из крепости.

Снова Бернольфо вызвал Джакомо из типографии и сообщил, что Грамши поручает ему еще одно важное задание. Прямо намереваются срочно переправить за границу.

— Домой ему заходить нельзя, тут же схватят. Одним словом, делай то, что скажет Прямо.

— Отлично, — обрадовался Прямо, когда Джакомо сказал, что прибыл в его распоряжение. — Знаешь проспект Монкальери?

— Знаю.

— Номер 246. Запомнил? Это наша квартира. Спросишь мою маму. Ее зовут Роза. Запомнил?

— Запомнил.

— Зайдешь, смотри внимательно, чтобы не было «хвоста», передашь привет и попросишь, только не урони...

— Не уроню, — заверил Джакомо, взволнованный оказанным ему доверием.

— Она может не верить, так я напишу записку.

Проспект Монкальери, номер 246. На улице ни души...

— Синьора Роза Джибелли? Вам записка от сына.

— От Прямо? Где он? Что с ним? Ох, пропал мой сын, пропал. Вся полиция Турина ищет его.

— Прямо в безопасности. Он здоров и шлет вам привет. Прочитайте записку, синьора.

— Да-да, записка... Знаешь, что пишет мой сын: без нее он не может обойтись... Сейчас припесу.

Она вышла и через минуту вернулась, держа в руках... мандолину.

Вручая мандолину Прямо, Джакомо-маленький еще робко надеялся, что он нажмет какую-нибудь хитрую пружинку, дека инструмента раскроется и оттуда появится бомба. Ничего подобного, конечно, не произошло. Прямо ласково погладил мандолину по лакированной поверхности, взял несколько аккордов и негромко запел высоким приятным тенором.

К оружию! К оружию! Разверзлись могилы,
Проснулись бывшие загробные силы!
Воскресли все тени страдальцев отчизны —
И нет укоризны

их праздным мечтам.

— Знаешь, что это? — спросил Примо.

Какой итальянский мальчишка не слыхал мотива гарибальдийского гимна. Но слов Джакомо не знал.

— Меня научил дедушка Джованни. Он был гарибальдийцем, много раз раненным в боях. Когда я родился — мы жили тогда в Милане, в рабочем предместье Ортика, — дедушка был уже очень старым и больным, его мучали старые раны. Отец и мать уходили и оставляли меня на попечении дедушки Джованни. Он качал колыбель и пел мне гарибальдийский гимн, детских песенок он не знал.

В феврале 1921 года Грамши встретился с группой молодых туринцев, нелегально покидающих Италию, чтобы учиться в Советской России. Грамши почувствовал, как к сердцу приливает теплая волна. Он любил Примо, Эрнани, Джино и других туринских рабочих, ринувшихся в революцию со всем пылом молодости, любил за душевную чистоту, за их горячие сердца, за ясность идеалов, любил даже за тот свойственный молодости элемент игры, который они вносили в самые серьезные и опасные дела.

— Что же, друзья, пришла пора прощаться. Нам будет очень не хватать вас, очень не хватать. Ничего не поделаешь. Об одном только прошу: учитесь, учитесь, учитесь!!!

4

Утром 10 июля 1921 года Ленин, как обычно, просматривал свежий номер «Правды». Его внимание привлекли три сообщения из-за границы: забастовка берлин-

ских муниципальных рабочих, забастовка текстильных рабочих в Лилле (Франция) и антифашистский митинг в Риме. На другой день, 11 июля, выступая с речью на совещании членов немецкой, польской, чехословацкой, венгерской и итальянской делегаций — участников III конгресса Коминтерна, Ленин специально остановился на этих сообщениях.

Что же произошло в столице Италии? Обычным июльским днем в шум большого города неожиданно ворвались хриплые фабричные гудки. По этому сигналу на городских улицах остановились трамваи. Ворота заводов распахнулись, и рабочие массы хлынули к месту, где был назначен митинг. Пролетариат Рима объявил всеобщую забастовку в знак протеста против фашистских насилий.

Митинг намеревались провести в Народном доме. Собралось около 50 тысяч рабочих. Митинг перенесли в Ботанический сад.

Извещенные о демонстрации фашисты стягивали к Ботаническому саду свои отряды. Назревало кровавое столкновение. И вдруг — это было «вдруг» почти для всей многотысячной массы, заполнившей прилегающие к Ботаническому саду улицы, — показались отряды марширующих людей. Приветственные возгласы: «Виват, народные смельчаки!» перешли в сплошной ликующий гул.

По выражению Паоло Сприано, «народных смельчаков» можно уподобить метеору в раскаленном небе гражданской войны этих лет. Они неожиданно появились, в какой-то момент дали как бы новый свет, к которому устремились надежды масс, и почти так же быстро — за исключением небольшого местного ядра — исчезли.

Сравнение «народных смельчаков» с раскаленным метеором создает образную картину неожиданности, яркости и скоротечности этого явления. Но происхождение метеоров — вземное, космическое. «Народные смельчаки» — явление вполне земное. В конце июня 1921 года

в римской секции бывших участников войны — ардитов произошел раскол. Часть присутствующих на собрании секции выразила свою солидарность с фашистами. Большинство, возглавляемое председателем комитета секции лейтенантом Арго Секондари, решительно осудило фашистский террор. Тут же на собрании был создан батальон «ардити дель popolo» («народных смельчаков»), руководство новой организации обнародовало манифест с призывом к трудящимся вступать в их ряды. Через несколько дней последовало боевое крещение отрядов «народных смельчаков» на антифашистском митинге.

«Расскажи, как это было?» — с этой просьбой Грамши обращался к товарищам, приехавшим из Рима. Рассказы очевидцев дополнили картину, нарисованную в газете «Аванти!».

«Народные смельчаки» неожиданно вышли из переулка на площадь у Арко ди Тито и продемонстрировали заинтересованной и восхищенной толпе военные упражнения, повороты, перестроения. Затем последовала новая команда, и отряды промаршировали через площадь Колизея к Ботаническому саду. С улицы Полверьера навстречу им двинулся конный отряд королевской гвардии (так назывался недавно созданный правительством специальный полицейский корпус). Ряды «народных смельчаков» сомкнулись, лейтенант Секондари невозмутимо продолжал отсчитывать шаг. Королевские гвардейцы придержали лошадей и уступили дорогу. «Аванти!» утверждала, и с полным основанием, что «народные смельчаки» сорвали планы фашистов, не рискнувших напасть на рабочих. Митинг прошел с большим успехом.

В действиях «народных смельчаков» присутствовал несомненный налет театральности; Грамши ощутил его в рассказах, в газетном репортаже. И все-таки новое движение, родившееся на военной основе, представляло большой интерес. Хорошо бы съездить в Рим, лично увидеть

этого Секондари. Обстоятельства, связанные с недавно завершившейся длительной, упорной и все-таки потерпевшей поражение стачкой рабочих заводов «Фиат», требовали присутствия Грамши в Турине. Взять интервью у Секондари он поручает корреспонденту «Ордине нуово».

Кафе, прилепившееся к величественным руинам Колизея, — популярное в Риме место свиданий и деловых встреч. Молодой человек нырнул под тент, защищавший клиентов кафе от палящего солнца, и в изнеможении плюхнулся в жалобно заскрипевшее плетеное кресло. Народу в кафе было мало; хотя до традиционных августовских каникул было еще далеко, каждый римлянин стремился в эту жару выбраться за город. Корреспондент (молодой человек недавно начал работать в газете и любил, чтобы его называли официально) забеспокоился: придет ли Секондари в кафе в такую жару? Но, уставший от двухдневной гонки по раскаленному Риму за неуловимым лейтенантом, твердо решил: будь что будет, а он не тронется с места. К тому же коллега, старый газетный волк, давший ему этот адрес, уверил, что Секондари регулярно посещает кафе у Колизея. «Интервью вам все равно не получить, — пожал плечами коллега, — он никому не дал интервью, уж какие газетчики, не вам чета, пытались. А увидеть, что ж, увидите. Сидите в кафе и ждите».

Корреспондент заказал кофе. Помешивая ложечкой черную ароматную жидкость, попытался представить возможную сцену. Входит Секондари (он его узнает по фотографиям в газетах), садится за один из столиков, подзывает официанта. Наступает решающий момент. Корреспондент встает, подходит к столику Секондари, представляется. То есть называет «Ордине нуово». «Скажи сразу, у нас рабочая газета, — напутствовал корреспон-

дента Грамши.— Мне кажется, это должно его заинтересовать. И сдерживай свой темперамент, прошу тебя». Потом Грамши продиктовал вопросы для интервью, посоветовал прочитать их два-три раза и выкинуть бумажку... Где же она?.. Ах вот, в боковом кармане. Взглянем-ка еще раз...

— Разрешите сесть за ваш столик?

— Пожалуйста,— ответил не поднимая головы и с некоторой неприязнью: «ведь видит, человек работает, мало ли пустых столиков!»

— Как обычно,— коротко бросил пришедший подоспевшему официанту.

Похоже, корреспондент уже слышал этот отрывистый резковатый голос. Прихлебывая кофе, взглянул на соседа. За столиком сидел Секондари.

Оторопело вскочил. Из чашки, которую продолжал держать в руке, кофе выплеснулось на столик, на лежащую на нем бумажку с вопросами. Секондари выхватил бумажку из темно-коричневой лужицы, встряхнул ее, невозмутимо сказал:

— Пожалуй, не промокла.

Пряча в карман злосчастную бумажку, корреспондент размышлял: заметил ли Секондари на листке свою фамилию, снабженную различными комментариями, или не заметил?

— Извините за вторжение,— спокойно продолжал Секондари,— но я привык к этому столику. Впрочем, если помешал...

— Нет, нет... Наоборот... Бумажка — пустяк, совершенно ненужная бумажка... Очень рад! — лепетал еще не пришедший в себя корреспондент.

— Выбор этого столика — свидетельство вашего вкуса,— любезно сказал Секондари.— Именно отсюда Коллизей особенно хорошо виден при дневном свете. Неправда ли?

Корреспондент торопливо закивал головой, хотя только сейчас впервые взглянул на коричнево-желтые стены, с этой точки действительно красиво вырисовывающиеся на фоне голубого неба.

— И все же Колизей нужно смотреть ночью:

Громада мертвая, веков минувших памяти!
Молчанье, запустение и ночь!..

Боже мой, какие строки!

Корреспондент лихорадочно подыскивал ответную реплику. Но Секондари не ждал ответа. Задумчиво глядя на Колизей, он читал своим резковатым голосом:

О символ Рима древнего! Гробница
Высоких дум, веками пышной мощи
Оставленная времени во власть!

«Странная смесь театральной декламации и подлинного чувства,— подумал корреспондент.— А стихи эти я, кажется, слышал».

— Известно ли вам имя поэта? — спросил Секондари.

— Разумеется, известно.

— Да? Кто же он?

— Габриэле Д'Анпунцио,— храбро выпалил корреспондент.

Твердые черты Секондари тронула улыбка.

— Нет, молодой человек. Автор стихотворения Эдгар По. Можете записать это на бумажку, думаю, она уже высохла... Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы... о поэзии.

Предупреждение Грамши было забыто!

— Кто дал вам право издеваться надо мной! — воскликнул корреспондент, вскакивая.— Если бы только надо мной! Над моей газетой! Над рабочими Турина!

— Садитесь, молодой человек. Садитесь, я сказал!.. Кто вы такой и какую газету представляете?

— Я представляю «Ордине нуово». Если бы вы знали, какие люди делают эту газету! Какие люди ее читают! — воодушевляясь, говорил корреспондент. — Как любят газету в Турине!

— Достаточно! — прервал его мополог Секондари. — Отдельные номера «Ордине нуово» мне попадались. Верю, что вашу газету любят в Турине. Другие газеты также просили сведений о нашей организации. Однако я всегда воздерживался от исполнения их просьбы, не потому что в целях нашей организации имеется что-либо тайное, но единственно из боязни быть непонятым. Я готов дать сведения газете, которую, как я знаю, читают главным образом рабочие. Откройте блокнот, синьор корреспондент. Готовы?

...11 июля «Ордине нуово» уже располагала подробным материалом о «народных смельчаках». 12 июля газета напечатала беседу своего корреспондента с Секондари.

Эту беседу Грамши с большим интересом прочитал в рукописи, потом вторично — в газете. Расплывчатость позиции Секондари очевидна. Он сохранил веру в Д'Аннунцио, принципиально отрицал принадлежность «народных смельчаков» к какой-либо политической партии. Но само название «народные смельчаки» устанавливало рубеж между новой организацией и ардитами (смельчаками) Д'Аннунцио. А главное, в каждой фразе интервью сквозила неприкрытая ненависть к фашизму, который Секондари назвал «политическим разбоем», подчеркивалось сочувствие к трудящимся, к «работникам физического и умственного труда».

Поместив в «Ордине нуово» интервью с Секондари, Грамши несколько дней спустя опубликовал статью, в которой поставил прямой вопрос: являются ли коммунисты

противниками движения «народных смельчаков»? — и дал такой же прямой ответ: ничего подобного. Они стремятся к вооружению пролетариата... К сожалению, это осталось личной точкой зрения Грамши. Исполком КПИ по настоянию Бордиги в специальном коммюнике декларировал свое недоверие к «народным смельчакам», угрожая «самыми суровыми мерами» тем членам партии, которые захотели бы вступить в их ряды.

За событиями в Италии внимательно следит Ленин. На III конгрессе Коминтерна, отвечая Серрати и его единомышленникам, Ленин сказал: «Революция в Италии будет протекать иначе, чем в России. Она начнется иным образом. Каким именно? Ни вы, ни мы не знаем этого».

Грамши поразила простота, с какой была выражена важная мысль. Иным образом. Но каким? Позднее в «Тюремных тетрадах» Грамши попытается дать ответ на этот вопрос.

После конгресса Ленин напишет в Рим находящемуся там В. Воровскому: надо помочь итальянским коммунистам, они «неопытны, глупят, «левят»». Но добровольная изоляция во имя стерильной чистоты своих рядов, на которой настоял Бордига, уже лишила коммунистов многих тысяч союзников.

Атмосфера либерального общества менялась на глазах. Войдя в эту атмосферу, раскаленный «метеор» исчез навсегда.

Год 1924. Пятый конгресс Коминтерна — первый конгресс без Ленина. Заседание 19-ое. На трибуне руководитель компартии Германии Эрнст Тельман. В его сознании еще гремят залпы карателей, крики раненых, мощные такты «Интернационала», который перед смертью пели бойцы красного Гамбурга — последнего оплота восстания немецкого пролетариата. Восстание, изолированное от широких масс, было обречено. Тель-

ман, ушедший последним, выстрадал свою речь. И слушают его с напряженным вниманием. «По поводу тактики единого фронта,— сказал Тельман,— я напомним об одном случае, который имел большое значение в Италии. Во время народного движения в 1921 году итальянская партия отказалась от использования этого народного движения, в то время как Ленин требовал использовать его в борьбе против фашизма. Уже тогда Ленин смотрел на дело правильно, а Бордига неправильно».

...На политическом горизонте Германии уже возникла зловещая фигура Адольфа Шикльгрубера — Гитлера.

Глава четвертая

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

1

В апреле 1922 года в Генуе должна была собраться всеобщая мирная конференция. Ожидался приезд делегации Советской России. Задолго до начала конференция привлекла к себе внимание всей мировой прессы.

Намеченный на конец марта II съезд коммунистов Италии не имел, разумеется, всемирного резонанса, но для молодой партии был жизненно необходим: предстояло принять ряд важных тактических решений. Тезисы решений готовил Бордига.

Последние дни перед поездкой из Турина в Рим на съезд Грамши работал с особым напряжением. Маленькая комнатка в редакции «Ордине нуово», служившая Грамши кабинетом, целые дни была набита посетителями, обычная гора книг, рукописей и разноязычных

газет на столе стала еще выше. Грамши готовил материалы для «Ордине нуово», отвечал на многочисленные вопросы сотрудников редакции и посетителей.

В ночь перед выездом Грамши, как всегда, дождался первого отпечатанного номера газеты, внимательно просмотрел его.

— Все? — спросил он дежурного по номеру Марио Монтаньяна.

— С этим все... Продолжают поступать отклики на новогоднее обращение Коминтерна. Отложить до твоего возвращения?

— Нет. Сделайте подборку писем, поблагодарите всех, приславших отклики на призыв к единству, опубликованный газетой в канун нового года, вынесите в «шапку»... Дай текст призыва... Спасибо... Вот этот абзац: «Коммунистический Интернационал и все коммунистические партии хотят терпеливо *идти вперед* в братском союзе со всеми остальными пролетариями даже тогда, когда они борются в условиях капиталистической демократии». Договорились? До свидания, Марио.

— Я провожу тебя... Для спокойствия души.

— Ну если для души. Пошли.

Грамши любил прогулки с друзьями, любил оживленные ночные беседы, но на этот раз почти не разговаривал. Молчал и Монтаньяна, хотя на языке у него вертелись десятки вопросов.

У своего подъезда Грамши остановился.

— Спасибо, Марио, за почетный эскорт. Скажи, если не секрет, о чем ты думал, точнее — о чем молчал всю дорогу?

— О призыве Коминтерна и предстоящем съезде.

— Легко догадаться: и я... молчал о том же. «Идти вперед», но как и куда? В условиях Италии мы с Бордигой понимаем это движение по-разному.

— Мне кажется, Антонио... не пора ли на съезде

противопоставить нашу точку зрения точке зрения Бордиги?

— Пора? Не знаю. Авторитет Бордиги высок, я не вижу ему замены. Беда в том, что убедить в чем-нибудь Амадео Бордигу почти невозможно.

Грамши прибыл в Рим за день до открытия съезда. Сразу же направился на улицу Скрофа, где в нескольких комнатах недавно обосновалась редакция ежедневной газеты «Коммунист» — центрального органа партии. Главный редактор «Коммуниста» Пальмиро Тольятти работал над передовой статьей.

— Сейчас кончаю, — сказал Тольятти. — Пока, Антонио, просмотри хронику парламентских заседаний. — Он подвинул к Грамши кипу листков. — Вот еще свежие материалы о конференции в Генуе. Обозреватели гадают: состоится или не состоится, а если состоится, то придет Ленин или не придет?

Отложив парламентскую хронику в сторону, только мельком взглянув на нее, Грамши с интересом погрузился в материалы о конференции. Обозреватели, комментируя созыв конференции, сходились в одном: Генуэзская конференция — центральное событие мировой политики.

Европа безуспешно пыталась восстановить разрушенную войной экономику. Государственные деятели некоторых капиталистических стран, в первую очередь Ллойд Джордж, пришли к мысли о желательности экономических контактов с Россией. Позиция Ллойд Джорджа была теснейшим образом связана с внутрианглийскими делами. В вину Ллойд Джорджу ставились трудные времена, переживаемые Британской империей, обострение экономического кризиса, растущая безработица. Предстояли парламентские выборы. Ллойд Джордж понимал: до выборов необходимо добиться реальных успехов в области внешней политики.

Противником конференции с участием Советской России оставалась Франция. В лице пришедшего к власти Пуанкаре правые элементы получили опытного лидера, который, по выражению одной из газет, сумел «их бестолковые требования переварить в политическую доктрину».

Германия — побежденная страна — искала выхода из чудовищной инфляции и послевоенного экономического кризиса, усугубляемого грузом репараций в пользу стран-победительниц.

Так раскладывались карты в политической игре, ставкой в которой была судьба Европы.

Грамши с интересом просматривал свежие сообщения мировой прессы. Тольятти прав, авторы этих сообщений скорее гадали, чем знали что-либо определенное. «Нью-Йорк таймс» выражала сомнение в приезде Ленина в Геную, «где его жизни может угрожать опасность». «Нью-Йорк геральд» критиковала государственного секретаря Юза за его отказ участвовать в конференции в Генуе. «Нойе винер тагеблатт» утверждала, что невозможно исключить Советскую Россию из общего баланса мирового потребления, и настаивала на заключении с Советским правительством торгового договора. Мнение французских газет было разноречивым.

— Все,— сказал Тольятти. Он откинулся на спинку стула, сильно, до хруста в суставах потянулся, затем аккуратно сложил написанные листки.

— Посмотришь?

Грамши кивнул. Откладывая в сторону газетные вырезки, он сказал:

— Никто из обозревателей не отважился на философское обобщение, а оно напрашивается. Впервые в истории человечества на международном кворуме будет поставлен вопрос о двух формах собственности: частно-капиталистической и социалистической.

— Это зависит от того, как пойдет конференция,— заметил Тольятти.

— Конечно. Но даже в тех скудных материалах, которые до нас доходят, можно уловить принципиальную позицию Ленина в этом вопросе, а Ленин умеет отстаивать свою позицию.

Грамши быстро прочитал исписанные листки и вернул их Тольятти.

— По-моему, хорошо. Без громких слов «Коммунист» предупреждает о самом главном, самом страшном: опасности фашистского наступления. По-моему, хорошо, Пальми,— повторил он. Тольятти засмеялся. Грамши с педоманием посмотрел на друга.

— Знаешь, когда я впервые услышал эту редкую в твоих устах фразу? Десять лет назад в аудитории Туринского университета на семинаре профессора Джованни Паккьони по римскому праву. Я отстаивал подлинность закона XII таблиц. Ты нагнулся ко мне и тихо сказал: «По-моему, хорошо, Пальми».

Сейчас засмеялся Грамши.

— У профессора Паккьони оказался превосходный слух, он хотел тут же выдворить студента-филолога из аудитории. Потом сменил гнев на милость, однажды даже пригласил на свои лекции.

— У меня добрая память об этом эпизоде,— помолчав, произнес Тольятти.— Именно после него началась наша нескончаемая дискуссия на вечную тему человеческой истории... Прости за лирическое отступление, ты ждешь дополнительной информации о съезде. Обстановка складывается сложная. Формируется, и довольно отчетливо, правая оппозиция, не исключая возможности раскола.

— Раскол допустить нельзя,— твердо сказал Грамши.— Ты когда освободишься?

— Часа через два.

— Хорошо. Я пока поброжу по Риму.

Он шел, погруженный в свои мысли, и не сразу слышал, как его окликнули:

— Здравствуйте, дорогой Антонио.

Мужчина выше среднего роста. Широкополая светлая шляпа чуть набекрень. Упрямый подбородок с ямкой, крупный, хорошо очерченный рот, умные карие глаза. Кто-то явно знакомый.

— Неужели не узнаете? — обиженно спросил мужчина.

Язык литературный, но... Чуткое ухо филолога уловило почти незаметный акцент. И сразу вспомнил... Сотрудник торговой делегации РСФСР в Италии, Александр Николаевич Эрлих, инженер-строитель по профессии, живет и работает в Италии много лет. Женат на итальянке. Очень милая женщина. Как же ее зовут? Инесс? Да, Инесс.

— Здравствуйте, товарищ Эрлих. Рад случайной встрече. Как здоровье Инесс?

— Спасибо, хорошо. Но наша встреча не случайная. Услышал, что вы в Риме. Уделите мне четверть часа, хорошо? Где бы устроиться? Может быть, в кафе?

Они сели за свободный столик.

— Что будете есть? — спросил Эрлих. — Здесь хорошо готовят рагу из кролика. Хотите?

— Мне только стакан молока и две булочки.

— Мне, пожалуйста, рагу и кофе.

Официант отошел.

— Буду краток, — сказал Эрлих. — Вчера товарищ Воронский вызвал меня и поручил выехать в Геную для организации хозяйственной службы и внутренней охраны советской делегации... Я пытался объяснить, что не очень гожусь для такого дела, но Вацлав Вацлавович был непреклонен. «Кому же как не Вам, знающему итальянский язык, Италию, ее людей, нравы и обычаи, поручить эту работу». И добавил: «Помните, Александр Николаевич,

до поры до времени советский дипломат — очень опасная профессия».

Год спустя Воровский падет на дипломатическом посту в Лозанне от пули убийцы-белогвардейца.

Старый большевик-подпольщик лучше других признавал меру опасности. Он делал все, чтобы сохранить жизнь своих товарищей, и очень мало, чтобы сохранить свою собственную жизнь. И когда позднее Грамши и Эрлих встретятся в Москве, они с грустью вспомнят бесстрашного дипломата-большевика Вацлава Вацлавовича Воровского.

— Так определилась моя судьба на ближайшее время, — продолжал Эрлих. — Завтра выезжаю в Геную. Конечно, итальянскому правительству в данной ситуации скандал ни к чему. Но мало ли кто воспользуется случаем, чтобы свести счеты с Советской Россией, а заодно и сорвать конференцию.

— Почему именно Генуе, Генуе — великолепной, но тесной и неудобной выпала такая честь? — спросил Грамши.

Эрлих улыбнулся:

— В дипломатических кругах ходит такой анекдот. Когда в Каннах намечалось место для очередной конференции, итальянский делегат предложил с места по-французски «Генуя». Ллойд Джордж по-английски ответил: «Согласен», полагая, что речь идет о Женеве. Названия этих городов, как вы знаете, по-французски звучат почти одинаково, а Ллойд Джордж не очень хорошо знал французский и не захотел признаться в своей ошибке. Так и осталась Генуя, — рассказывал это Эрлих с мрачной серьезностью, но карие глаза его за стеклышками пенсне смеялись и подрагивала ямка на упрямом подбородке.

Официант принес заказ.

— Может быть, все-таки выпьете кофе? — спросил Эрлих.

Грамши отрицательно покачал головой.

— В первый раз вижу итальянца, отказывающегося от кофе.

Официант расставил посуду и отошел.

— Вам поручено действительно серьезное дело, — сказал Грамши. — Чего же вы от меня ждете?

— Совета, а если возможно, и помощи.

— Помощи? Но какой?.. Вот что. У делегации Советской России, песомненно, предусмотрен обслуживающий персонал?

— Да, и немалый. Мне предоставлено право найма. Кроме обычной obsługi предусмотрены курьеры для внутренней связи.

— Превосходно. На должность курьеров мы подберем рабочих из нескольких крупнейших предприятий. Допустим, из туринского «Фиата», миланского «Бреда», генуэзской «Ансальдо». Это будут надежные люди. Что же касается обслуживающего персонала гостиницы... Где вас поселят, уже известно?

— В одном из пригородов. Точно мне сообщит в Генуе верховный комиссар по организации конференции, с посещения которого я и начну свою деятельность.

— Очевидно, вам будет предоставлена гостиница со всем персоналом. Заменить полностью штат неудобно, да и нет в том необходимости. Но проверить, с кем имеем дело, следует. Вам поможет один товарищ.

Грамши вырвал из блокнота листок и написал несколько слов.

— Вы его легко разыщете по этому адресу и передадите записку. Захватите с собой списки служащих. Он коренной генуэзец и знает, кто чем дышит. Если он порекомендует кого-нибудь заменить, безоговорочно заменяйте под любым предлогом. Я постараюсь проследить за вашим делом.

— Уф, гора с плеч!

— Гора по-прежнему на ваших плечах, именно на ваших. Не забывайте об этом.

2

20 марта открылся второй съезд Коммунистической партии Италии. Предметом обсуждения стали так называемые «Римские тезисы», подготовленные Бордигой. В тезисах оспаривалась необходимость завоевания большинства пролетариата, как первоочередной задачи, отрицалась опасность фашистского переворота. Политические шоры, позволяющие Бордиге видеть только то, что подтверждает его взгляды, в данном случае привели его к серьезной ошибке. Грамши, Тольятти, Скоччимо не могли согласиться с такой оценкой фашизма.

Но на съезде действительно возникала реальная опасность раскола. Нельзя нарушать политическое равновесие Исполнительного комитета партии полемикой с Бордигой. Лишь в оценке фашизма Грамши не уступил, с большим трудом добился новой редакции тезисов о тактике, потребовав изменить фразу: «Победа фашистской или военной диктатуры невозможна». Бордига нехотя согласился на другую формулировку, но не изменил свою оценку создавшейся ситуации.

24 марта съезд закончил работу. 25 марта на заседании ЦК было принято решение послать Грамши в Москву представителем КПИ в Коминтерне. Террачини, предложивший кандидатуру Грамши, и работник Коминтерна болгарский коммунист Коларов, горячо ее поддержавший, хотели видеть в Коминтерне человека высокого престижа, единомышленники же Бордиги были рады временно удалить Грамши из Италии, подальше от острых ситуаций в стране и ожесточенных политических споров. Не нужно было обладать проницательностью Грамши, чтобы видеть

эти скрытые пружины. С тревогой думал он о необходимости покинуть Италию в напряженный и ответственный момент. Но Москва притягивала.

Перед отъездом в Москву Грамши отправился в Геную.

3

Если действительно у городов, как у людей, есть свой характер и этот характер возможно обозначить одним словом, то Геную можно назвать «неукротимая». Какие только взлеты и падения не пережил город за время своей тысячелетней истории, насыщенной войнами, острой социальной и политической борьбой! После объединения Италии Генуя становится «морскими воротами» промышленного северо-запада Италии, крупнейшим индустриальным и культурным центром. И вот этому городу выпала честь и нелегкая обязанность принять делегации 29 государств — участников мирной конференции. Делегации прибыли в Геную в сопровождении многочисленных секретарей, экспертов, переводчиков. За официальными лицами устремились журналисты, представляющие газеты чуть ли не всех стран мира. За журналистами двинулись бизнесмены, хлынули толпы туристов.

Грамши приехал в Геную солнечным апрельским днем. Город был переполнен. Казалось, людская масса не умещается в древних зданиях и выплескивается наружу, растекаясь по нешироким крутым улицам.

Сквозь шумную многоязычную толпу с трудом пробивались экипажи. На шляпах кучеров развевались пестрые ленты, повторяющие цвета национальных флагов государств — участников конференции. По фасадам зданий, прикрывая грязные потеки, облупившуюся штукатурку и следы торопливого ремонта, висели красные, зеленые, белые полотнища — цвета итальянского флага. Накрашенная и папудренная старая Генуя, казалось, помолодела.

Стоило, однако, Грамши свернуть в один из переулков по направлению к церкви Святой Бригиты, неподалеку от которой его должны были ждать, как парадная Генуя уступила место обычной каждодневности. Переулок — узкая полоска серого асфальта впису и голубого неба наверху между двумя рядами шестизэтажных домов — был весь перечерчен на разных уровнях, от этажа, к этажу, веревками. На веревках висели простыни, наволочки, пеленки, предметы мужского и дамского туалета. Белье полоскалось и хлопало на ветру, неизменно продувавшем такие переулки-ущелья.

В поезде Грамши ехал с группой рабочих верфй Ансальдо. Они, смеясь, рассказывали о недавнем маленьком инциденте. Муниципалитет издал постановление, запрещающее жителям Генуи на время работы конференции и пребывания в городе гостей развешивать белье на улицах. Делегация женщин явилась в муниципалитет для переговоров. Важный чиновник долго и внушительно объяснял им, какая честь выпала на долю Генуи и что они, женщины, должны оказаться достойными этой чести. Голос чиновника журчал, как ручеек, и вдруг журчанье перешло в визг, раздался вопль: «Помогите... спасите!..»

Помятого, испаряпанного чиновника с трудом вырвали из рук разъяренных женщин, а постановление отменили, то есть, может быть, и не отменили, но белье сушится по-прежнему.

Рассказ позабавил Грамши. В напряженной атмосфере подготовки конференции, атмосфере сложной политической игры, от исхода которой во многом зависела судьба всей послевоенной Европы, наивный демарш генуэзских женщин напомнил о том, что на свете, кроме всего прочего, существует простой здравый смысл.

— Товарищ Грамши!

Ломающийся, звонкий голос. Грамши обернулся. Из

переулка — щели между домами — выбежал подросток лет пятнадцати-шестнадцати.

— Товарищ Грамши! — слово «товарищ» мальчуган не проглатывал, как это часто делают взрослые, а выговаривал отчетливо, с радостно-горделивой интонацией.

Грамши всегда остро «чувствовал» собеседника, друзья в шутку говорили, что Антонио изобрел специальный «душевный камертон». Он остановился и ответил: «Здравствуй, товарищ! Наверное, тебе поручили меня встретить».

— Да-да. Мне сказали: «Гуальтиэро, ты встретишь товарища Грамши и приведешь его сюда», — эту фразу мальчуган произнес хриплым басом, видимо, подражая давшему это указание.

Грамши рассмеялся:

— А ты, Гуальтиэро, артист. Очень похоже.

Через несколько минут Грамши уже сидел в небольшой, скромно обставленной комнате. А его собеседник, коренастый мужчина с густыми черными усами, хриплым басом (Гуальтиэро действительно передразнил его очень похоже), рассказывал, что делегацию Советской России поместили недалеко от Генуи — в местечке Санта-Маргерита, в пятиэтажной гостинице «Палаццо империале». Делегация сняла целиком четыре этажа, посторонние гости остались только на пятом этаже — семьи с детьми. Штат гостиницы проверен. Охраной советской делегации ведают полковник карабинеров и комиссар полиции. Пусть себе ставят караулы, они нам не мешают. У нас свои караулы, от нас никто не скроется, генуэзцы видят даже сквозь землю.

— Даже сквозь землю? Как вам это удается?

Генуэзский товарищ покосился на Грамши:

— Шутишь, Антонио. Вот что я тебе скажу: вы там, в Риме и в Турине, недооцениваете Геную. Мы — старые друзья Советской России. Кто в девятнадцатом году заявил, что не допустит отправки морем оружия и снаряже-

ния для интервентов? Мы, генуэзцы. Кто сорвал царские флаги с двух русских кораблей, прибывших в порт, и заменил их красными знаменами с серпом и молотом? Мы, генуэзцы. Кто отказался грузить корабль, который собирались отправить в Черное море белогвардейцы? Мы, генуэзцы. Помнишь заявление нашей делегации, оно было напечатано в газетах: «Команды торгового флота скорей готовы поголовно сесть в тюрьму или дать себя потопить в портах вместе со своими кораблями, чем допустить, чтоб их работа могла содействовать поражению русского народа». Могу еще рассказать, как мы отправляли в Россию корабль солидарности. Вся Генуя пришла в порт проводить «Амилкаре Чиприани». На корабле было продовольствие, одежда, медикаменты — наш подарок революционному народу России. Корабль был здорово перегружен, я сам слышал, как капитан кричал, что с такой осадкой он сядет на первую же мель. Ему объяснили, как нужен этот груз русским рабочим и крестьянам. Капитан замолчал. «Амилкаре Чиприани» дал прощальный гудок, ему ответили находившиеся в гавани корабли и заводы Генуи. Десятки гудков, может быть, сотни. Это было прекрасно. Луиджи, младший брат, прислал письмо: корабль благополучно пришел в порт, русские устроили торжественную встречу. Луиджи работает в Берлине в Международной рабочей помощи. Так говорится: младший брат, мы — близнецы, только Луиджи появился на свет на пятнадцать минут позже. Хорошее дело — рабочая помощь. Думаю, посланные вещигодились русским.

— Пригодились, могу тебя заверить. Но Советская Россия — огромная страна и разорена войной. Ей много нужно.

— Если бы все делали, как генуэзцы! Или я не верно говорю?

— Верно, — улыбнулся Грамши, — мы высоко ценим вашу работу. Только нельзя горячиться. Особенно в

политике. Громкими словами, дорогой Джулио, еще никто не убил ни одной птицы. Давай спокойно обсудим, что сделано и что еще можно сделать.

4

Открытие конференции было назначено на 10 апреля. Корреспонденты большинства европейских и американских газет прибыли заранее.

— Чтобы припнухаться, — сказал Грамши французский коммунист, директор «Юманите» Марсель Кашен.

Грамши был очень рад встрече с Кашеном. Французский коммунист, уже три десятилетия тесно связанный с рабочим движением, для поколения Грамши был почти легендой. В том самом году, когда Грамши родился, Кашен — студент предпоследнего курса Бордосского университета — уже принял участие в первомайской демонстрации города Фурми. Неожиданно налетевшая полиция зверски расстреляла мирную демонстрацию. Рядом с Кашеном падали люди. Этот эпизод произвел на молодого студента огромное впечатление, Кашен решил посвятить себя борьбе за социализм и никогда не сошел с этого пути.

Кашен и Грамши стояли на каменном молу, защищавшем берег от морских волн, и наблюдали за непрерывной и стремительной жизнью генуэзского порта. У многочисленных причалов теснились корабли под разными флагами, подъемные механизмы как гигантские щупальца погружались в пароходные трюмы и вновь появлялись, легко неся огромные ящики, тюки, бревна.

Кашен с наслаждением вдыхал морской воздух:

— С детства люблю море. Не бывали в Бретани? Обязательно побывайте, какое там море!

Было что-то общее в жизненном пути французского и итальянского коммунистов, несмотря на разницу в возрасте. Оба провели детство в маленьких городках, в об-

становке строгого и сурового быта. До конца дней своих с нежностью вспоминал Кашен Бретань, Грамши до боли любил нищую, по бесконечно родную Сардинию. Оба превосходно учились в начальной школе и лицее, затем по конкурсу получили право на стипендию в университете. Обоим профессора предрекали блестящую научную карьеру: Кашену в области философии и литературы, Грамши в области лингвистики. Оба решительно и безоговорочно связали свою судьбу с рабочим классом.

Сейчас пятидесятитрехлетний Кашен стоял рядом с Грамши. Коренастый, с растрепанными рыжими усами, в черепаховых очках, сползающих на кончик носа, когда Кашен увлекался спором, а увлекался он почти всегда, он ласково поглядывал на собеседника и звучным красивым голосом рассказывал своему итальянскому товарищу о борьбе молодых коммунистов Франции против старых руководителей социалистической партии, против «бородачей», как их тогда называли.

К разговаривающим подошел молодой человек — корреспондент одной из французских газет, поздоровался с Кашеном и сказал, что надо идти занимать места, потому что гостевых билетов выдано много, мест не хватит.

— Идем!.. Спасибо, старик, — поблагодарил Кашен молодого журналиста. Позднее Грамши не раз слышал из уст Кашена это ласковое, добродушное «старик», адресованное людям любого возраста.

Кашен последний раз окинул взглядом порт, путаницу железнодорожных путей и с явным сожалением повернул в сторону города.

...Они пересекли площадь, расцвеченную флагами стран — участниц конференции, и направились к внушительному зданию в стиле старой венецианской готики, с овальными окнами и колоннами, образующими в первом этаже портики. Это и был дворец Сан-Джорджо — место работы конференции.

— Открытие конференции назначено на три часа,— сказал молодой французский журналист, ожидавший их у входа.

Они вошли в просторный зал, украшенный скульптурами знатных генуэзцев. В глубине была построена деревянная галерея для прессы и гостей. Галерея была уже почти заполнена журналистами, фотоаппаратами, кинооператорами — представителями сравнительно новой, но быстро развивающейся профессии. Не без труда нашли свободные места.

Грамши внимательно оглядел зал. Ниже галереи огромной буквой «П» стояли длинные столы, покрытые зеленым сукном. Донечки с названием страны указывали места делегатам. Вершина «П» находилась напротив галереи. Этот стол предназначался для президиума членов стран Антанты. Два длинных боковых стола — для членов делегаций.

— Обратите внимание,— сказал молодой журналист.— Они изменили порядок размещения делегаций. Раньше рассаживались в соответствии с французским алфавитом. Наши делегаты категорически отказались сидеть позади немцев. Пришлось рассаживать делегации по итальянскому алфавиту *. Беспрецедентное новшество.

Кашен усмехнулся.

Зал быстро заполнялся. Грамши спросил у журналиста:

— Где же места советской делегации?

— Вон там, слева.

Места всех делегаций пока пустовали. Кашен взглянул на часы:

— Без десяти три. Не пора ли?

Из коридора донесся глухой шум голосов. В дверях показалась итальянская делегация во главе с премьер-ми-

* Германия по-французски — *Allemagne*, по-итальянски — *Germania*.

нистром Луиджи Факта и министром иностранных дел Карло Шанцером.

— Хозяев больше всего,— сообщил молодой французский журналист.

— Учтивый господин,— пробурчал Кашен, кивком показывая на Факта.

Грамши рассмеялся.

— Это его главная черта. Впрочем, обходительные манеры свойственны всем пьемонтским политическим деятелям. А Луиджи Факта из Пинероло, есть такой город в Пьемонте, кстати, воспетый самим Луиджи Факта, он был мэром этого города и написал его историю.

— Пока — сплошные достоинства.

— Безусловно. Затем — типичная карьера преуспевающего администратора, не имеющего, к сожалению, оригинальных мыслей, но непревзойденного мастера по части обещаний. Обстоятельства складываются так, что затяжной правительственный кризис оставляет Италию перед самой конференцией без правительства. Согласитесь, что Италия не могла явиться на конференцию, не имея правительства.

— Соглашаюсь.

— И вот Факта формирует кабинет министров, а мы имеем удовольствие наблюдать его в роли любезного и гостеприимного хозяина конференции.

Итальянская делегация рассаживалась. Улыбаясь направо и налево, прошел на свое место Луиджи Факта, небольшого роста господин с седыми волосами и длинными белыми усами, выделяющимися на его розовом лице. Итальянцы занимали свои места, в дверях уже показалась следующая делегация.

— Французы во главе с министром юстиции Луи Барту,— сообщил журналист.

— Глава, положим, остался дома. Это тоже политика,— отозвался Кашен.

Французский премьер Пуанкаре, только что сменивший на этом посту Бриана, был противником конференции и предпочел руководить своей делегацией из Парижа.

Вошли и заняли свои места делегаты Германии, возглавляемые рейхсканцлером Иозефом Виртом. Он находился в трудном и щекотливом положении, и это отражалось на его внешнем облике, походке, манерах. Нужно было напомнить собравшимся, что возглавляемая им делегация представляет великую державу, и вместе с тем не забывать, что Германия — побежденная страна.

— Он похож на трубача из провинциального немецкого оркестра, — сказал по-английски кто-то сидящий сзади. Грамши обернулся. Говорил молодой человек с крупной головой на широких плечах и смеющимися глазами.

— Корреспондент американской «Торонто стар». Рапел на войне. Его фамилия Хемингуэй, — шепнул всезнающий молодой журналист.

Без пяти три в зал вошла английская делегация во главе с премьер-министром Ллойд Джорджем.

Почти все места заполнились. Не было только советской делегации.

— Самые пустые кресла, какие я только видел в своей жизни, — негромко произнес корреспондент «Торонто стар».

Ровно в три часа в дверях показалась советская делегация.

Правительственные делегаты под перекрестными взглядами — доброжелательными, враждебными, удивленными — направились к столу президиума. Возглавлял маленькую группу Чичерин. Внешне он казался спокойным, чуть сутулился, держался естественно, даже буднично. За ним шел Красин, высокий, стройный, со смуглым красивым лицом. Изредка он касался рукой бородки клинышком, жест выдавал волнение. Следующим был Литвинов, с характерной лукавой улыбкой на круглом лице.

...Правительственные делегаты заняли свои места. Остальные члены делегации и эксперты разместились за длинным столом в его левом углу. Грамши с интересом наблюдал за реакцией избранной аудитории, заполнившей старинный генуэзский «зал сделок». Многие, если не большинство, впервые видели людей из страны, о которой вот уже более четырех лет трубят все газеты, то сообщая о ее гибели, то откладывая пресловутую гибель на неопределенный срок. Какое впечатление вынесет отсюда ну хотя бы эта старая дама в мехах, стоимости которых нормальному человеку хватило бы на 10 лет безбедной жизни? На лице старой дамы написано разочарование, она обманута в своих ожиданиях: вместо «страшных большевиков» — скромные интеллигентные мужчины. В газетах она прочла, что глава русской делегации в 1917 году был узником Брикстонской тюрьмы, затем выслан за пределы страны как представляющий опасность для Британской империи. Неужели этот человек с обликом кабинетного ученого представлял опасность для Британской империи?.. Или другой, полнеющий, с круглым добродушным лицом. Неужели он, как сообщали те же газеты, совершил однажды безумно смелый побег из какого-то русского тюремного замка, не менее страшного, чем замок Иф, откуда, как известно, бежал граф Монте-Кристо, в Лондоне этого русского тоже арестовали. Бог мой, как пристально смотрит на них Ллойд Джордж!..

Действительно, английский премьер не отводил взгляда от советской делегации.

— Ллойд Джордж изучает своих противников, — шепнул молодой журналист.

Когда все уселись, Ллойд Джордж вдруг поднялся и, слегка подавшись вперед, начал в лорнет рассматривать Чичерина. Немая сцена затянулась. В зале раздался легкий шум...

— Парламентские трюки, — сердито проворчал Кашен.

Через несколько лет в Москве Эрлих воспроизвел Грамши не лишенный остроумия короткий диалог. За спиной советских делегатов сидели привилегированные гости, среди них — генуэзский архиепископ. Соседка духовного лица, шокированная бесцеремонностью Ллойд Джорджа, произнесла: «Как нетактично». Архиепископ вежливо улыбнулся: «Мэтр Ллойд Джордж любопытен к редким вещам и людям, баронесса».

Не откажем английскому премьеру в элементарном любопытстве: недавний узник Брикстонской тюрьмы, к аресту которого кабинет Ллойд Джорджа имел самое прямое отношение, оказался за столом конференции его политическим противником. Такое не часто бывает. Притом противником сильным; на всех членов русской правительственной делегации у Ллойд Джорджа имелись досье, он знал, с кем придется иметь дело.

Да, Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику на Генуэзской конференции в отсутствие В. И. Ленина, который подчинился решению ЦК РКП(б) и не поехал в Геную, представляли люди исключительной одаренности, прошедшие по жизни трудным путем революционной борьбы, специалисты в разных отраслях знаний, каждый из них к тому же свободно владел несколькими иностранными языками.

Размещение делегатов закончилось. Поднялся Луиджи Факта и произнес вступительную речь. Ллойд Джордж предложил избрать Луиджи Факта председателем конференции. Все согласились. Факта занял председательское место и прочитал декларацию итальянского правительства. Декларация изобиловала общими местами. Слушали ее невнимательно.

Сменивший Факта Ллойд Джордж сумел овладеть аудиторией. Он не читал речь, а говорил, изредка заглядывая в листки бумаги, адресуя свои доказательства то

одной, то другой части аудитории, разворачиваясь при этом всем массивным туловищем. Эту манеру он приобрел еще во времена далекой молодости, адвокатствуя в Уэльсе, только разворачиваться тогда было куда легче. Свою речь Ллойд Джордж перемежал шутками, на которые дружно реагировала английская делегация и эксперты.

Грампши слушал Ллойд Джорджа с интересом скорее психологическим, чем деловым. Английский лидер — единственный из присутствовавших стоявший у власти в годы войны и пока сохранивший эту власть — обладал необыкновенной способностью убежденно утверждать сегодня обратное тому, что он говорил вчера. Беспринципность он возвел в принцип, но свои дипломатические пируэты проделывал с завидным мастерством. Наблюдать за ним, как за работой любого умелого мастера, было любопытно и, пожалуй, поучительно.

Элегантная речь Барту казалась лишенной всякого содержания. Общие фразы: «Мир утомлен праздными словами...», «Мы явились сюда, чтобы действовать...»

Нелегкая миссия выпала па долю делегата Германии Вирта. В течение 20 минут он монотонно жалуется на тяжесть репараций.

Председательствующий предоставляет слово главе российской делегации. Чичерин говорил по-французски. «В паузах не слышно было ни звука, кроме позвякивания орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переминался с ноги на ногу» — так писал в своей корреспонденции об открытии Генуэзской конференции Эрнст Хемингуэй.

10 апреля 1922 года с трибуны Генуэзской конференции представителем Советской России был провозглашен один из важнейших принципов современности — принцип мирного сосуществования двух систем.

Конференция вошла в рабочее русло, однако армия журналистов не уменьшалась. Ежедневно вспыхивали разные слухи, журналисты кидались на очередную приманку, чаще слухи тут же гасли, иногда сбывались, и тогда счастливые бежали на телеграф, чтобы на следующее утро новость попала на страницы европейских и американских газет. Пересекая площадь Аннунциата, Грамши столкнулся с группой журналистов. Общительный французский журналист, с которым его познакомил Кашен, призывно помахал рукой.

— Пойдемте с нами.

— Куда?

— В «Каза делла Стампа», знаете, клуб журналистов. Обменяемся сплетнями, вдруг что-нибудь наклонется.

— Спасибо, у меня еще много дел до отъезда. Завтра я покидаю Геную.

— Ваша знаменитость будет.

— Какая знаменитость?

— Муссолини. Знаменитость регулярно посещает «Каза делла Стампа» и втолковывает иностранным журналистам, что он — мессия, посланный богом для спасения общества от вырождения. Мессия обожает рекламу и не скрывает этого. Пойдемте. Уговорил?

— Уговорил.

Обмениваясь репликами, журналисты весело шагали по узкому переулку. Позади раздались автомобильные гудки.

— Мой бог, чего он гудит, этот нахал! — воскликнул француз.

— Этот нахал, как ты выражаешься, Ричард Уошберн Чайлд, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов в Италии, — обернувшись, заметил один из журналистов, кажется, бельгиец. И миролюбиво добавил: — Уступим ему дорогу. Все-таки Чайлд — писатель.

— Если дипломатическая деятельность Чайлда на уровне его рассказов, не завидую президенту Гардингу, — проворчал француз, но вместе с другими прижался к облезлой стене старого дома.

Черная машина с флажком Соединенных Штатов, урча на малых оборотах, проплыла мимо. Через опущенное боковое стекло автомобиля приветливо помахал журналистам моложавый джентльмен в смокинге. Шофер прибавил скорость, машина, выпустив смрадное облако дыма, рванулась вперед и скрылась из виду.

Француз закашлялся.

— Пошли скорей!

— Они слетелись в Геную именно за этим, — заметил бельгиец.

— За дымом?

— Дым — это бензин, бензин — это нефть. За нефтью.

Уже в виду «Каза делла Стампа» молчавший всю дорогу журналист-ирландец, представлявший какую-то английскую газету, произнес, коверкая французские слова:

— Это не есть глупый ход мистер Гардинг.

— Какой ход?

— Чайлд. Он есть противник красных и довольный Муссолини. Так довольный, что просил банк Морган дать Муссолини двести миллионов доллар.

— У вас точные сведения? — деловито спросил бельгиец, на ходу делая заметки в блокноте.

— Ты у Муссолини спроси, — посоветовал француз.

— Почему бы и нет.

При входе в клуб предъявляли корреспондентские карточки. Грамши показал удостоверение «Ордине нуово», его беспрепятственно пропустили. В «Каза делла Стампа» было многолюдно и шумно, воздух казался густым от табачного дыма. Почти все посетители знали друг друга: международные конференции стали неслучайной привад-

лежностью послевоенной Европы. Генуэзская была седьмой или восьмой, ни одна не обходилась без журналистов.

— Еще успеem выпить по коктейлю,— сказал француз.

— Нет, не успеem.

Открылась боковая дверь, и в комнату вошел дюжий детина в черной рубашке, направленной в бриджи, и сверкающих черным гляncем сапогах. Он цепко оглядел зал, легко поднял массивное кресло и поставил его к задней стене. Вошел второй в черной рубашке и придвинул к креслу небольшой столик. Появился Муссолини, тоже в черной рубашке, быстро прошел к приготовленному креслу, коротким полупоклоном приветствовал собравшихся и уселся. Оба молодца стали по обеим сторонам кресла, на некотором отдалении.

— Шествие из «Аиды» Верди,— довольно громко сказал кто-то.

— Только у свиты вместо опахал тридцать восьмой калибр,— пробормотал француз.

Задние карманы брюк у чернорубашечников заметно оттопыривались.

Муссолини было лет сорок. Он принадлежал к другому поколению, чем Грамши, уже редактировал «Аванти!», когда молодой студент Туринского университета делал первые шаги в социалистическом движении. За деятельностью Муссолини Грамши следил внимательно. И в «Каза делла Стампа» рассматривая его с большим интересом.

Когда Муссолини торопился к креслу, было заметно, что он ниже среднего роста, однако старается казаться высоким (с учетом этого был разработан и ритуал его появления перед зрителями: он шел отдельно от своих рослых стражей, они заняли свои позиции, когда шеф уже уселся в кресло). У Муссолини было довольно ordinарное лицо с тяжелой нижней челюстью, он ее старательно выпячивал, очевидно, полагая, что это придавало ему выра-

жение силы. Впрочем, действительно придавало; когда он забывал про челюсть, лицо казалось слабым.

Около двух лет Грамши вел в туринской редакции «Аванти!» раздел театральной критики, видел многих гастролеров — блистательных артистов и обыкновенных лицедеев, людей, стремящихся к славе, и уже встречающих ее закат. Муссолини походил на плохого трагика, играющего роль, чуждую его подлинному амплу. Он говорил на итальянском языке, переводил на французский нивель откуда взявшийся маленький (словно до того он прятался под креслом) подвижный человечек. Временами Муссолини движением руки приказывал переводчику замолчать и переходил на плохой французский, но, видимо, чужой язык ограничивал полет его красноречия, и он снова возвращался к итальянскому.

Выступая перед иностранными журналистами, дуче, а этот титул он получил осенью прошлого года на съезде фашистов, после которого движение стало называться Национальной фашистской партией, еще не осмелился открыто сказать: «Мы хотим управлять Италией» (это он провозгласит спустя четыре месяца), но смысл его речи был достаточно ясен.

Покидая зал, французский журналист сказал Грамши:

— Товарищ Капен просил послушать и попытаться понять, насколько это серьезно. Я ему отвечаю: и да, и нет. Мешанина из Ницше и Макиавелли — это несерьезно. Он мнит себя Наполеоном — это несерьезно. Но человек без принципов, обуянный жаждой власти, — это серьезно. На месте вашего Факта я бы посадил его за решетку.

— Жаль, что вы не на месте нашего Факта, — усмехнулся Грамши. — Убежден, что вы справились бы лучше. Поистине, трудно было на роль главы правительства найти менее авторитетную и более бесцветную фигуру.

— Не знаю, комплимент ли это в мой адрес? — отозвался собеседник. — Будем считать, что комплимент.

Со дня на день ожидался отъезд в Советскую Россию. Грамши тепло попрощался с товарищами по редакции «Ордине нуово», сфотографировался в большой группе на память. В 1919—1920 годах Грамши уже редактировал «Ордине нуово», но тогда это было двухнедельное издание. Ежедневная газета диктовала другой стиль работы, требовала оперативного отклика на события сегодняшнего дня, ненасытно поглощала весь материал, добываемый немногочисленными сотрудниками редакции.

С января 1921 по 23 мая 1922 года Грамши опубликовал в «Ордине нуово» 228 статей. Цифры поражают: 14—15 статей в месяц, это очень много даже для профессионального журналиста, отдающего все время газетной работе. Для Грамши в этот период «Ордине нуово» было делом главным, но далеко не единственным.

14—15 статей в месяц при высокой требовательности Грамши! Он ненавидел пустые слова, шаблонные, стертые фразы. Газетная заметка — отклик на события текущего момента, с точки зрения Грамши, должна иметь второй план — историческую перспективу. Поэтому сегодня собранные вместе они воспроизводят точную картину целого исторического периода, доносят до нас авторские раздумья, яростную страстность убеждения.

В один из последних дней, выкроив свободную минуту, Грамши навестил семью Джибелли. Дома была одна Роза. Роза обрадовалась гостю и, как Грамши ни отказывался, заставила его сесть за стол и отведать горячей пиццы и стаканчик вина «за здоровье мальчика». Грамши вспомнил, какие немыслимые выражи закладывал «мальчик» на автомашине, развозя оружие по отрядам красногвардейцев в сентябре 1920 года, вспомнил дерзкий побег «мальчика» из крепости-тюрьмы Экзиль и, улыбаясь одними глазами, потому что материнская здравница — вещь

серьезная, съел кусочек очень вкусной пиццы и выпил немного молодого терпкого вина за здоровье и удачу Примо.

— Мы получили два письма,— рассказывала Роза.— Он учится на летчика. Это очень опасно. Лучше бы Примо ездил на автомобиле. Но разве он послушает! Если Примо вбил себе в голову... Он всегда был такой, вы ведь знаете?

— Где же он учится летать?

— В специальном училище. В каком-то маленьком городе. Примо не пишет, как он называется. Секрет. Но родной маме можно было бы сказать. Городок старый, очень старый, на горе, а внизу река. Красивая. И весь город красивый, пишет Примо. Вы все знаете, Антонио, как называется этот город? Я бы нашла его на карте. Ведь там учится летать мой мальчик!

Роза смотрела на Грамши с наивной верой. И он ответил:

— Попробую узнать. Если узнаю, напишу вам. А пока передайте Примо мой привет. Просто: привет от Антонио. Пусть хорошо учится и хорошо летает. Скажите, что мы все верим в него.

26 мая 1922 года Грамши вместе с Бордигой и еще одним товарищем выехал в Москву.

В 1922 году путь этот считался длинным и трудным. Курьерский поезд отходил с римского вокзала Термини вечером. Ночью на пограничной станции Бренnero (бывшая австро-венгерская «Бреннер», передача станции Италии прибавила ей одну букву) — первый таможенный досмотр. Нейтральная зона. Первая австрийская станция. Инсбрук. Перевалы. Туннели. Германия: Мюнхен, Нюрнберг, Галле, Берлин, куда прибыли к исходу третьих суток. Надо было решить, как двигаться дальше. Один путь

через Данцигский коридор и Польшу. Но можно и морем из Штеттина до Пилау, затем до Кенигсберга и поездом до Риги. Латвийскую визу получить легче, чем польскую, но поезд из Риги на Москву ходил только два раза в неделю, торчать несколько дней в Риге не хотелось. Выбрали первый вариант. Грамши в обсуждение вопросов маршрута не входил, оба спутника — опытные путешественники. Чувствовал себя Грамши очень неважно, Бордига трогательно за ним ухаживал. Амадео оказался прекрасным спутником, вежливым и предупредительным. На специальной кофеварке, которую Бордига брал с собой в поездку, он готовил кофе какого-то особенного вкуса и аромата. Кофе пили с большим удовольствием, аплодировали «автору», Бордига шутливо раскланивался. В бытовой обстановке у Амадео проявился недюжинный юмор и интеллектуальная гибкость; Грамши подумал, как полезны были бы эти качества в его политической деятельности: в кардинальных вопросах тактики Бордига был жестко прямолинеен. Это особенно проявилось на недавнем съезде. «Не ошибаюсь ли я в анализе фашизма, как сложного и глубоко реакционного социально-психологического явления, способного, если ему не противостоять, утвердиться в итальянском обществе? — вновь и вновь спрашивал себя Грамши. — Ведь даже некоторые руководители Коминтерна утверждают, что в Италии через несколько месяцев обстановка изменится к выгоде рабочего класса». И вновь и вновь отвечал себе: «Нет, не ошибаюсь!»

По дороге из Рима в Москву партийные дела не обсуждались. Мешали посторонние уши.

В Берлине задержались. «Если выкрою время, повидаюсь с Космо», — решил Грамши. Профессор Космо жил в Берлине: он был советником итальянского посольства в Германии. Случай свел их в чужой стране. О свидании с бывшим учителем Грамши думал не раз. Нет, он не сожалел о резкости своих статей против газеты «Стампа».

Обстоятельства требовали открытого боя, и он дал этот бой. Но слишком много хорошего связывало его с Космо...

В Берлине были кое-какие дела. Нужно побывать в Межрабпоме. Грамши разыскал «близнеца» Луиджи, передал ему привет из Генуи. У берлинца не оказалось усов, во всем другом он был точной копией брата. Хриплым басом Луиджи рассказал, что пароход с продуктами прибыл в Одессу, оттуда его направили в Новороссийск, и по железной дороге груз доставили в голодающее Поволжье. В Царицыне часть продуктов раздали пайками рабочим, другая часть пошла детям, для которых создали столовую, тысячи на две человек. Всем умело заправлял Франческо Мизиано — один из виднейших деятелей рабочего движения, ему помогали представитель кооперативов Италии и еще несколько товарищей.

До отъезда осталось несколько часов.

Грамши вошел в пышный вестибюль и сообщил величественному швейцару, что желает видеть советника Космо. Швейцар неодобрительно оглядел неказистого посетителя в дешевом помятом костюме, нехотя ответил: «Долужу». Затем так же нехотя позвонил по телефону и сказал в трубку, что его превосходительство синьора советника желает видеть некий Грамши. Видимо, ответили что-то невразумительное, он с удивлением посмотрел на телефонную трубку и медленно повесил ее на рычаг. А по роскошной мраморной лестнице уже сбегал его превосходительство господин советник. Обливаясь слезами, в то время как Грамши буквально утопал в его великолепной бороде, профессор Космо говорил:

— Ты понимаешь почему! Ты понимаешь почему!

Волнение Космо было таким искренним и сильным, что Грамши растерялся. Пожалуй, только в эту минуту он по-настоящему понял, какую боль причинил своему

учителю два года тому назад, как дорога для Космо дружба с его учениками, с ним, Антонио Грамши, который, несмотря на глубокую привязанность к своему учителю, думал и жил по-своему.

Умберто Космо провел гостя к себе. Грамши поднялся по великолепной лестнице в не менее великолепный кабинет; итальянское правительство не скупилось на свое представительство в Германии. Времени было мало, а Космо хотел сказать Грамши все то, что не сумел сказать два года назад. Но два года жизни для общества в целом и для человека в отдельности — срок не малый, многое изменилось. Космо вскоре сам это понял и начал расспрашивать Грамши о планах на будущее, потом во что бы то ни стало решил его проводить. Поблизости от посольства паходился большой книжный магазин. Пройти мимо было просто невозможно. Они вошли, но Грамши дал себе слово не поддаваться искушению. Ведь предстояло еще пересечь четыре или пять границ, а на каждой границе приходилось выгружать свой багаж для таможенного осмотра, наблюдать, как таможенники вежливо, но непреклонно переворачивают вверх дном содержимое твоих чемоданов, листают твои книги, тщательно прощупывая переплеты. Но попался томик Данте, хорошее лейпцигское издание 1921 года. Устоять было невозможно.

Они шли по Берлину, оживленно разговаривая, как когда-то по Турину. Больше говорил Космо. Слушая его, иногда вставляя ответные реплики, Грамши смотрел на угрюмые дома, на стены с осыпавшейся штукатуркой, на облупившиеся окна и двери. Да, война оставила заметные рубцы на лице города. Но на главных улицах следы войны были скрыты под слоем косметики: сверкали огни реклам, призывно светились витрины, у дверей ресторанов впушительные швейцары с поклоном открывали двери элегантным клиентам и их дамам. Это тоже был послевоенный Берлин.

Космо обязательно хотел накормить Грамши в каком-то особенном ресторане: иностранная валюта ценилась в Берлине на вес золота, за несколько лир можно было заказать все что угодно. Грамши отказывался, профессор Космо настаивал: «Зайдите, Антонио, хотя бы из интеллектуального любопытства». Грамши усмехнулся; это выражение он любил употреблять в студенческие годы, память Космо цепко хранила детали прошлого. Отказываться дальше было неудобно.

Швейцар в расшитой галунами ливрее, по виду родной брат посольского стража, но куда более приветливый, с поклоном распахнул перед ними дверь, одновременно отодвинув плечом бедно одетого мужчину со скрипкой в потрепанном футляре, который пытался проникнуть внутрь.

— Бедняга, — вздохнул Космо. — Кому он нужен в Германии со своей скрипкой? В сегодняшней Германии! Безработица, нищета, инфляция. Доллар стоит около тысячи марок. Правительство распускает слухи, что марка больше падать не будет, что намечается подъем. Но это только слухи. Не сомневаюсь, падение марки будет продолжаться, никто не знает, на какой цифре оно остановится!

В гардеробе у них с поклоном приняли шляпы, официант, излучая гостеприимство, засуетился около столика. Грамши терпеть не мог угодливость и подхалимство, в каких бы формах они ни проявлялись, назойливая обстановка берлинского ресторана его раздражала. Но для «интеллектуального любопытства» в переполненном зале ресторана действительно оказалась богатая пища. Это был своеобразный срез части немецкого общества после Версаля, той его части, для которой народные беды оборачивались фантастическими прибылями. За столиками ели и пили, шутили и веселились, но веселились, как показалось Грамши, торопливо, судорожно, словно боясь не

успеть получить сполна свою долю. Космо заказывал подряд чуть ли не все меню. Грамши тронул профессора за локоть:

— Вы ведь помните, я никудышный едок. Пожалуйста, на меня не рассчитывайте.

Космо нехотя отменил одно-два блюда. Когда официант отошел, он с укором произнес:

— Я помню, помню все.

— И нашу первую встречу?

— Разумеется. В университете, после лекции. Вы подошли, называли себя и спросили...

— Нет. Встреча произошла раньше, на самой лекции. Во всяком случае, для меня. Позвольте доказать, что и я ничего не забыл. Это была первая лекция, вступительная по вашему курсу. Мы знали только, что этот курс на предшествовавших семестрах читал недавно умерший литератор и поэт Артуро Граф, что его заменил профессор Умберто Космо. Вы поднялись на кафедру и окинули аудиторию внимательным взглядом. Смотрели долго, слишком долго, на нас, безусых юнцов, вчерашних лицеистов. Кое-кто начал хихикать. Затем вы провели рукой по бороде, вот так, словно расчесывая ее гребешком. Смешки усилились, и тут вы начали лекцию. Говорили негромко, размеренно, но была какая-то странность... Мы не сразу разобрали, какая именно. Слова искрились и переливались, как цветные стеклянные шарики, заполняя своей причудливой игрой скучную аудиторию. Все замерли. Это были стихи! Прекрасные стихи. Вы читали первый сонет книги Данте «Новая жизнь» «Чей дух пленен».

Грамши наклонился к собеседнику и вполголоса прочитал:

Чей дух пленен, чье сердце полно светом,
Всем тем, пред кем сонет предстанет мой,
Кто мне раскроет смысл его глухой,
Во имя Госпожи Любви,— привет им!

Космо (продолжая):

Уж треть часов, когда дано планетам
Сиять сильнее, путь свершили свой,
Когда Любовь предстала предо мной
Такой, что страшно вспомнить мне об этом:

Грамши (продолжая):

В веселье шла Любовь; и на ладони
Мое держала сердце; а в руках
Несла мадонну, спящую смиренно;

Подошел официант, с удивлением прислушиваясь к
незнакомой музыкальной речи. Начали оглядываться за
ближайшими столиками. Но Космо дочитал последнюю
строфу:

И, пробудив, дала вкусить мадонне
От сердца,— и вкушала та смятенно,
Потом Любовь исчезла, вся в слезах.

...Сердечно попрощавшись с профессором, Грамши
поехал на вокзал, где его уже ждали товарищи.

...Наконец Грамши увидел страну, о которой он столько
думал.

В Москве у вокзала ожидала машина, довольно дрях-
лая на вид, которая доставила гостей к гостинице «Люкс».
Как объяснил Бордига, это была одна из лучших доре-
волюционных гостиниц, сохранившая еще некоторый
прежний лоск. В «Люксе» жили представители коммуни-
стических партий; Грамши показали его комнату, которая
стала его обиталищем на многие месяцы.

У одного из товарищей, живших уже давно в Москве,
Грамши спросил о здоровье Ленина. Товарищ сказал, что
около месяца тому назад Ленину в больнице удалили одну
из тех двух пуль, которыми он был ранен эсеркой Кап-
лан в августе 1918 года. Операция прошла благополучно.
Ленин пролежал в больнице всего два дня и вернулся

домой. Но общее состояние здоровья Владимира Ильича потребовало отдыха, и он уехал в Горки. Через несколько дней, уже на отдыхе, он почувствовал себя худо, но сейчас, как говорят, дело идет на поправку.

Открылся Второй расширенный Пленум Исполкома Коминтерна: 60 делегатов от 27 секций Интернационала. Один из вопросов повестки был посвящен Коммунистической партии Италии, ее проблемам. Пленум ввел Грамши — представителя братской компартии — в состав Президиума ИККИ.

Необозримое поле для работы. Но физические силы, подорванные напряжением последних двух лет в Италии, окончательно иссякли. Он свалился. Товарищи настаивали на лечении в больнице или санатории. Отказался: надеялся отлежаться дома. Через два-три дня понял: не отлежаться. Злился на самого себя (на кого же еще можно злиться в таких случаях!), нервничал, от этого легче не становилось. Вдруг явился Примо Джибелли. В ладной военной форме, с сияющей улыбкой, переполненный энергией и ожиданием будущего. Ему передали весточку от Грамши, поспешил приехать. Сегодня же назад, в Зарайск: он — курсант школы военных летчиков. В письмах родителям город не называл, военная тайна, но члену Президиума ИККИ ведь можно знать, где находится его школа?

— Можно, — заверил Грамши, — боюсь только, что эту военную тайну знают все зарайские девушки.

— Знают, — согласился Примо.

О школе он говорил с восторгом. В 1918 году из Гатчины в Зарайск перевели Первую советскую школу военных летчиков, учиться в ней — большая честь. А ребята там какие! Например, испанец Рамон Нерия или русский Боря Туржанский...

На прощание Примо подарил фотографию. Улыбающиеся молодые люди в суконных шлемах со звездой, в длинных до пят шинелях с красными застёжками на груди: Примо Джибелли, Рамон Нерия, Борис Туржанский...

Если вы будете гостем Зарайска, а это легко осуществить, выехав из Москвы до станции Луховицы, или автомашиной, свернув в Коломне направо, или водным путем: по Оке и вверх по реке Осетру, то на центральной улице города — Ленинской увидите монумент в память Героев Советского Союза итальянца Примо Анджеловича Джибелли и его русского друга комбрига Бориса Александровича Туржанского, участников революционной борьбы испанского народа.

Из современного путеводителя.

ЧАСТЬ III

«СВЕТИ, КАК ПЛАМЯ!»

Глава первая

ЮЛИЯ

1

Из окна палаты Грамши увидел Аброджи, своего помощника по представительству Коммунистической партии Италии в Коминтерне. Аброджи तो-ропился, почти бежал, но начался послеобеденный «мерт-вый час» и одноногий санитар Антоныч, конечно, уже запер входную дверь. Распоряжения «главного» отставной кавалерист выполнял свято. Говорили, что они старые знакомые. Будто бы в боях где-то на юге России лихой боец спас красного доктора от белогвардейского клинка, затем, когда бойца тяжело ранили и считался он безна-дежным, доктор спас ему жизнь. Ногу все же пришлось отнять. И безногий кавалерист тот — Антоныч, а доктор — строгий «главный» подмосковного санатория «Серебряный бор», куда разбитая санитарная машина привозила исто-щенных и больных, а через месяц-другой те же люди вы-ходили из ворот санатория на собственных ногах. Корми-ли в санатории скудно, лекарств, даже самых обиходных, не хватало, а больные поправлялись. Этот медицинский

феномен в кулуарах санатория объясняли по-разному. Кто опытностью и вниманием медицинского персонала, кто — целебным воздухом, настоенным на хвое и приречном разнотравье, кто — санаторным режимом, одним из элементов которого и был пресловутый «мертвый час».

Ничего не поделаешь, нужно выручать Аброджи. Грамши накинул на плечи байковый санаторный халат и спустился в вестибюль, непривычно пустой, полутемный даже в солнечный полдень ранней осени. Свет проникал в помещение через небольшие полукруглые окна и застекленную входную дверь. По эту сторону двери стоял Антоныч в белом халате и неизменной буденовке, которую он снимал только в присутствии главного врача. По ту сторону — Аброджи.

— Завтра приходи, — Антоныч зловеще шептал, боясь не совладать со своим трубным голосом. — Завтра... Как это по-вашему будет?

— Домани? — сообразил за стеклом Аброджи. — Домани, домани...

— Догадливый, — одобрил Антоныч. — Вот и приходи завтра хоть до Мани, хоть до Маши.

— Маши!.. Маши! — обрадованно закивал за стеклом Аброджи.

Грамши чуть не расхохотался. Он любил забавные *Qui rgo quó* *. «Маши» — одна из его партийных кличек, разумеется, Антонычу это неизвестно. Пора вмешаться.

С суровым санитаром у Грамши сложились добрые отношения. Как-то в часы ночного дежурства Антоныч разрешил страдающему бессонницей Грамши покурить в коридоре. И сам не заметил, как слово за слово рассказал больному итальянцу всю свою жизнь.

«Ты что? Он же по-русски ни в зуб ногой!» — удивился другой санитар, утром сменивший отставного кавале-

* Этот вместо того, один вместо другого. (лат.).

риста. «Понимает,— убежденно ответил Антоныч.— Слов, может, и не знает, а душой все понимает».

Эту историю передала случайно слышавшая разговор «товарищ Евгения», так Грамши называл лечившуюся в санатории Евгению Аполлоновну.

— А вы действительно не понимаете по-русски? — спросила вдруг Евгения.

— Понимаю, и уже выведал все ваши секреты! — рас- смеялся Грамши.

— Нет, правда?

— Увы, товарищ Евгения!

— Значит, у вас особое умение слушать. Больше, чем умение,— талант. И довольно редкий. Люди предпочитают говорить, а не слушать...

...Антоныч сердито повернулся на шум шагов. Но, узнав Грамши, только укоризненно покачал головой и отпер дверь.

— Я тебя с утра ждал,— недовольно сказал Грамши помощнику.— Самое неподходящее время.

— Не сердись, Антонио. Раньше никак не мог. Привез письма и газеты из Италии. Новостей много. Невеселые новости.

— Сейчас говорить не будем. В следующий раз приезжай в приемные часы. Список медикаментов отослал?

— Отослал.

— Напиши еще раз. Мне было бы приятно вручить посылку до своей выписки. Впрочем, это не столь важно.

Получив от Аброджи довольно объемистый пакет, Грамши спрятал его под халат и потуже завязал пояс. Антоныч нарочно смотрел в сторону, но в санатории существовала и другая «цензура». Кроме малярии, болезни достаточно неприятной, но поддающейся лечению, у Грамши нашли еще сильнее нервное истощение. «У вас, дорогой мой, функциональное нарушение первой системы, обусловленное перенапряжением основных нервных

процессов, — сообщил Грамши профессор-консультант по нервным болезням. — Не берегли, уважаемый, нервную систему, не берегли. Как так можно! Ведь еще молодой человек!» — вдруг рассердился профессор. Грамши согласился, что не берег, и обещал в будущем беречь нервную систему. «В той мере, в какой позволят обстоятельства», — дипломатично добавил он. Профессор ничего не сказал, укоризненно покачал головой, а персоналу санатория оставил предписание оберегать больного от «раздражителей».

Однако после «мертвого часа» и до ужина больные были свободны. На берегу Москвы-реки Грамши нашел большой плоский валун. Подтащил к нему второй пониже, получился стол и стул. С тех пор, как Грамши почувствовал себя лучше, он часто уединялся в свой «кабинет». Прекрасные минуты тишины и раздумий у большой реки. Издавна он питал к текучей воде особое чувство. Водатруженик, вода, несущая жизнь выжженным солнцем полям. Так было в Сардинии, — на земле его детства и юности.

Сегодня едва дождался минуты, когда сможет сесть за работу в своем «кабинете». Привезенные Аброджи материалы жгли как раскаленное железо.

Тишина. Спокойно течет река. А на берегах другой реки гремят выстрелы. Та, другая река спускается со склонов Западных Альп и, прежде чем разрезать надвое Ломбардскую низменность, утоляет жажду Турина — города заводов и рабочего класса. За два года фашизм превратился в вооруженную организованную силу.

Тишина. И кажется, что в этой тишине кричат строки газетных сообщений. Бои между фашистами и вооружившимися рабочими в Равенне. Кровавые столкновения в Генуе. В Бари. В Анконе. В Милане. В стране новый правительственный кризис. Причина кризиса, вернее, повод для него (любопытно, весьма любопытно!): фашисты

учинили погром в квартирах депутатов Мильоли — члена Народной партии и Гариботти — социалиста. Народная партия поставила на обсуждение парламента вопрос о неспособности правительства обеспечить в стране гражданские права и безопасность. К резолюции присоединились социалисты, коммунисты и... фашисты. Дважды внимательно прочитал сообщение. Что это — отступление, вызванное инстинктивным ощущением опасности, или заранее рассчитанный демагогический ход?.. Представим ситуацию с точки зрения Муссолини. Захват единоличной власти — логическое завершение двухлетней эволюции фашизма. По-видимому, Муссолини маневрирует, решая вопрос, каким путем лучше прийти к власти, то есть участвовать в правительстве или нет... Как дальше разовьются события? Ясно одно: итальянскому пролетариату предстоит труднейшие бои. Ленин предупреждал об этом еще более года назад... Но какая нелепость — приехать в Москву и свалиться...

Тишина. Спокойно течет река. Куст орешника с чуть побуревшей листвой. Огороды, женщины копают картошку. Когда шел к реке, поздоровался по-русски, женщины ответили улыбаясь, вероятно, он смешно выговаривал слова приветствия.

Говорят, в Подмоскovie в этом году хороший урожай. Судя по настроению женщин, это так... Кажется, голод побежден по всей Советской России. Но сколько понадобится усилий, чтобы справиться с его экономическими, и, может быть, еще труднее преодолимыми последствиями: болезнями, детской дистрофией, страхом человека, перенесшего голод, перед завтрашним днем.

Осеннее солнце словно невзначай коснулось листвы плакучих ив, склонившихся над самой водой, позолотило светло-коричневые стволы могучих сосен. Почему этот бор близ Москвы «серебряный»? Скорее — золотой. Надо спросить товарища Евгению.

— Где вы родились, Женья? — спросил он однажды. — В Москве?

— Нет, далеко-далеко от Москвы. В Томске.

— Томск? Это в Сибири? Покажите по карте, пожалуйста.

— Если хотите. В красном уголке есть карта.

По дороге Евгения Аполлоновна спросила:

— Вы уже сидели в тюрьме, Антонио?

— Уже сидел, — усмехнулся Грамши. — В Турине. Три года тому назад. Только совсем недолго.

— Страшно в тюрьме? В детстве я спрашивала папу: он в семидесятих годах сидел в Петербурге. Папа пожимал плечами и отвечал: не страшно, а сыро и грязно.

— Я тоже пожму плечами и отвечу: жарко, нестерпимо жарко и грязно. Ночью нельзя спать из-за жары. И мириады насекомых.

— Жара еще хуже, чем сырость.

— Как мудро утверждали средневековые схоласты: *de gustibus non est disputandum* *. Оставим это.

Евгения Аполлоновна пристально взглянула на Грамши.

— Последнее время вы возбуждены, Антонио. Я знаю, в Италии все так сложно. Что, Муссолини очень плохой человек?.. Не улыбайтесь. Вопрос звучит наивно, да?

— Для политика, пожалуй, наивно. Что вам сказать? Он опытный оратор, ловкий журналист, вообще человек, отнюдь не лишенный способностей. Но все меркнет перед честолюбием и беспринципностью. В сочетании с энергией эти качества делают его человеком, опасным для общества. Но хватит о Муссолини, тем более мы пришли... Какое звонкое название у вашего города: Томск!

В красном уголке висела старая географическая карта Российской империи с многоцветными пятнами губерний.

* О вкусах не спорят (лат.).

Евгения Аполлоновна провела по карте пальцем. Палец пересек европейскую территорию России, часть Сибири и уперся в черный кружочек.

— Вот.

Проследив за долгим путем пальца, Грамши с уважением перевел взгляд на Евгению Аполлоновну.

— Вы молодец, Женя.

— Чем же я молодец? — засмеялась Евгения Аполлоновна. — Родилась и все. В большой семье. Да и какая я сибирячка. Болею без конца.

— Вы поправитесь, скоро поправитесь. У вас уже совсем здоровые глаза. Будь я врачом, прежде всего смотрел бы пациенту в глаза. Пульс и прочее — потом. Ваши братья и сестры тоже родились в Сибири?

— Нет, только я. Надя родилась в Царском Селе под Петербургом, Тапя — в Самаре на Волге, потом я — в Томске, Ася — в Царском Селе, а Юля и Витя — в Женеве.

— Юля и Витя — мальчики?

Евгения Аполлоновна засмеялась.

— Витя — да. А Юля вовсе даже не мальчик, а, представьте себе, очень милая девушка. Я вас познакомлю. Может быть, даже завтра.

...Он шел по дорожке санаторного парка. В удивительно многоцветном уборе стояли клены. Надо спросить у Жени, почему осенью у подмосковных кленов листья бывают стольких цветов и оттенков. Зеленого, желтого, красного и какого-то очень солнечного золотисто-оранжевого?

Навстречу шли, оживленно беседуя, две девушки. Еще издали в одной из девушек он узнал Женю и хотел свернуть, чтобы не мешать их беседе, но Женя его заметила и, ускорив шаг, приветливо помахала рукой.

— Подождите, Антонио... Познакомьтесь. Моя сестра Юлия... Товарищ из Италии Антонио Грамши.

— Говорит ли ваша сестра по-итальянски? — спросил Грамши.



— Спросите у нее сами,— засмеялась Женья.— Не беспокойтесь, поймет. Между прочим, Юля окончила в Риме музыкальный лицей.

Грамши вопросительно посмотрел на младшую Шухт. Юлия Аполлоновна молча кивнула.

— Мы пойдем ко мне в комнату,— сказала Евгения Аполлоновна.— Милости просим, Антонио. Будем рады.

Грамши сказал, что зайдет чуть позднее, и... не зашел, хотя ему очень хотелось зайти.

Он прогуливался по аллее, пока снова из-за деревьев не показались две девичьи фигуры. Взявшись за руки, сестры шли к выходу. «Наверное в детстве старшая Женья не раз водила гулять маленькую Юлю,— подумал Грамши,— в ее отношении к сестре есть что-то материнское».

— Что не зашли? — укоризненно спросила Евгения Аполлоновна.— А сейчас Юля торопится.

Юлия Аполлоновна действительно очень спешила, она протянула Грамши руку, сказала, что ей было приятно познакомиться, и пошла. Евгения Аполлоновна проводила сестру до ворот и вернулась. Назад она шла медленной, неуверенной походкой.

— Устали, Женья?

— Не хотят ноги ходить — сил моих нет! — по-русски вырвалось у Евгении Аполлоновны.

Не дословно, но Грамши понял:

— Больно?

— Больно. Бодрилась при Юльке.

— И отлично.

— Что отлично? Что не могу ходить, как нормальные люди?

— Не злитесь, Женья. Вы отлично знаете, что я хотел сказать. Вы сумели преодолеть слабость, вам было больно, но никто этого не заметил. Вы волевой человек, Женья, и скоро забудете обо всех своих болезнях. А сейчас, если разрешите, я возьму вас под руку... Какое удивительное

лицо у вашей сестры,— сказал Грамши задумчиво, когда они уже подходили к санаторию.

— Что-то византийское, правда?

— Может быть. Удивительное лицо. Особенно взгляд.

— Нам пора в корпус,— помолчав, сказала Евгения Аполлоновна. И добавила без связи с предыдущим: — В следующий раз Юля принесет мне одну книгу.

И опять Юлия Аполлоновна торопилась: семья Шухт, оказывается, жила в Иваново-Вознесенске, нужно было успеть на поезд. На этот раз гостью провожали за ворота санатория вдвоем. Когда вернулись, Евгения Аполлоновна показала Грамши книгу, о которой шла речь в прошлый раз.

— Взгляните, Антонио. Это повесть д'Амичиса «Школьные товарищи», переведенная с итальянского Анной Ильиничной Ульяновой, старшей сестрой Ленина. Вот надпись: «Наде, Тане, Жене и Асе Шухт от переводчицы».

— Почему же здесь нет имени Юлии?

Евгения Аполлоновна засмеялась.

— Юля еще была неграмотной. Ей только исполнился год. Мы жили тогда в Швейцарии. Мария Александровна и Анна Ильинична приехали нас навестить. Кажется, тогда-то Анна Ильинична и подарила эту книгу.

— Все это очень интересно, Женья. Я давно хотел попросить рассказать о ваших родных.

Евгения Аполлоновна отрицательно покачала головой.

— У нас хорошая семья, а я плохой рассказчик. Все испорчу.

— Это не просто любопытство. То, что вы мне уже сказали... Понимаете, Женья, ваша семья, ее история — целая эпоха в жизни русского общества.

— Очень торжественно, но, пожалуй, вы правы. Дед — боевой кавалерийский генерал русской армии. Отец делает первые шаги по пути деда, вдруг бросает все, службу, карьеру, и уходит в революцию.

— Подождите, Женья, не торопитесь. Итак, дедушка — боевой генерал...

— Не скрою, дед с детства занимал мое воображение. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов он командовал кавалерийской бригадой, скончался 15 мая 1878 года в чине генерал-майора и похоронен в Константинополе. Но дедом я вас мучить не буду. В остальном пеняйте на себя.

2

В начале 1890-х годов в Самаре поселился вернувшийся из ссылки Аполлон Александрович Шухт. У него была жена и три дочери: Надя, Таня и Женья. Старшей было пять лет, младшей, «сибирячке», как ее шутливо звали в семье, пошел второй год.

Заслуженный ореол революционера и личное обаяние привлекли к нему симпатии передовой самарской молодежи — членов кружка А. П. Скляренко.

Свежий человек заинтересовал близкого к кружку двадцатилетнего Владимира Ильича Ульянова. Они встретились и понравились друг другу. Тем более что заочно уже знали друг о друге от своих матерей, познакомившихся трагической весной 1887 года в Петербургском доме предварительного заключения: Мария Александровна Ульянова навещала сына и дочь, Отиллия Егоровна Шухт — сына.

Аполлон Александрович с женой Юлией Григорьевной не раз заходили к Ульяновым, иногда Мария Александровна навещала симпатичных ей людей.

В Самаре Шухтам жилось нелегко. Мать Аполлона Александровича звала сына с семьей в Царское Село, где у нее был собственный дом. Для переезда требовалось разрешение властей — в Самаре Аполлон Александрович

продолжал оставаться под надзором полиции. И вот Юлия Григорьевна решила отправиться в Петербург хлопотать за мужа. Как быть с детьми? Самое разумное взять с собой, в Царском Селе оставить на попечении бабушки и приняться за хлопоты. Страшила только дорога.

Как-то Юлия Григорьевна зашла к Ульяновым. Поделилась своими опасениями.

— Да, трудновато вам будет с тремя крошками,— вздохнула Мария Александровна.

В комнату вошел Владимир Ильич, поздоровался, попросил чаю.

— Ты слышал, Володя, Юлия Григорьевна собирается в Петербург,— сказала Мария Александровна, наливая чай.

— Слышал, мамочка. Когда, позвольте спросить? — обратился он к Юлии Григорьевне.

— Недели через две.

Владимир Ильич покачал головой.

— Поздновато. Хотел предложить вам свое общество. Я ведь тоже в Петербург собираюсь. Сдавать экзамены при университете. Полагал выехать на днях, но мог бы задержаться максимум на неделю. Сумеете собраться, охотно буду вашим спутником.

— Нет, нет, зачем портить поездку вашему сыну,— говорила смущенная Юлия Григорьевна, обращаясь одновременно к Марии Александровне и к Владимиру Ильичу.

— Зря вы апеллируете к маме,— усмехнулся Владимир Ильич.— Навязываюсь вам в спутники, как говорили древние, *motu proprio* — по собственному побуждению.

Прощаясь, Юлия Григорьевна сказала:

— Возможно, Мария Александровна, вы пожелаете посетить столицу. Ведь там у вас дети: Оленька и вот Володя. Помните, что наш дом всегда рад вам.

Через неделю, провожаемые родными и друзьями, Владимир Ильич и Юлия Григорьевна с тремя детьми тронулись в Петербург.

Доехали благополучно, но позднее, рассказывая о поездке уже выросшим дочерям, Юлия Григорьевна неизменно повторяла: «Вы были песносны, девочки, просто песносны. Бедный Володя Ульянов».

Когда Юлия Григорьевна с таким радушием приглашала Марию Александровну в столицу, ни она, ни Ульяновы не могли и думать, что через самое короткое время по тревожной телеграмме сына Мария Александровна помчится в Петербург к смертельно больной Олюшке. Как могла, больше сердцем, чем словами, поддерживала Юлия Григорьевна потрясенную новой утратой мать.

Похоронив Ольгу, Владимир Ильич с матерью возвращаются домой. Аполлон Александрович еще в Самаре, но хлопоты жены достигают цели: ему разрешается поселиться «по месту рождения», то есть в Царском Селе. Надзор полиции, однако, не снят, наоборот, стал строже, докучнее. В Царском Селе жилось тревожно. Аполлон Александрович решает с семьей эмигрировать за границу.

Начались хлопоты, потребовались документы о крещении детей. Пришлось срочно крестить Асю, родившуюся в мае 1893 года, крестным отцом стал приехавший в Петербург Владимир Ильич, человек наиболее близкий Шухтам в это трудное для них время.

Покинув Россию, Шухты обосновались в Швейцарии. В мае 1895 года они вновь встретились с Владимиром Ильичем, на этот раз в Женеве. «Видел крестницу и ее фамилию», — сообщает матери Владимир Ильич. «Фамилия» старалась сделать все возможное, чтобы в чужом городе деревянный дом по улице Маланью хоть на короткое время стал для Владимира Ильича родным домом.

Девочки выросли, получили высшее музыкальное образование, стали самостоятельными. Они вернулись на

родину. После февраля 1917 года вернулся и Аполлон Александрович с женой.

Революция открыла новую страницу в истории семьи. В 1917 году Юлия Шухт вступила в партию большевиков.

Дня за два до нового, 1918 года Юлию попросили зайти в Московский комитет партии.

— Сколько же вам годков? — удивленно спросил пожилой человек в наброшенной на плечи солдатской шинели, к которому ее направили.

— Двадцать два.

— Хм, а не меньше? — проговорил товарищ, подозрительно разглядывая стоящую перед ним тоненькую черноволосую девушку. Юлия смутилась: ее словно уличали во лжи. Запылали уши, краска захватила щеки, подбородок. Вслед за смущением пришла злость. Глубоко посаженные глаза сверкнули:

— Могу уйти.

— Ну, ну, — успокоительно сказал товарищ в шинели. — Обижаться тут нечего. Мы, понимаешь, подбираем участников новогоднего массового концерта. Массового, — со вкусом повторил он. И тут Юлия увидела, что ее собеседник вовсе не пожилой, что он не старше ее.

— Значит, на скрипке играешь? Училась в Италии? Скрипка есть? — выпалил он сразу очередь вопросов.

Юлия утвердительно кивнула головой.

— Что будешь играть?.. «Легенду» композитора Ве-
нявского? Поляк, что ли?.. Живой? Давно умер. Ладно. Запишем. Так вот, Юлия, мы на тебя надеемся. Не испугаешься? Тысяч восемь народу будет, а то и десять.

Удивилась:

— Где же в Москве такой зал?

— Бывшее Алексеевское военное училище. В Лефор-
тове, знаешь? В манеже эстраду организовали, оформи-

ли. С мебельной фабрики красную материю обещали. На счет этого не беспокойся. Значит, к семи вечера, смотри, не опаздывай.

Трамваем добралась до Лефортova. Уже издали увидела ярко освещенные окна. Предъявила пропуск и вошла в манеж.

Прижимая к груди футляр со скрипкой, Юлия с трудом протиснулась к эстраде, высматривая, к кому бы обратиться. Вот этот пожилой, скуластый, с седеющей щеточкой усов показался знакомым. Увидела, как к нему наклонился с эстрады один из организаторов митинга-концерта...

— Здравствуйте, Александр Серафимович.

Александр Серафимович... Конечно, это же писатель Серафимович. Юлия видела его однажды на литературном утреннике, потом встречала на улице, на Пресне (оказалось, они живут почти рядом). Может быть, и Серафимович заметил свою соседку, вот он бросил взгляд в ее сторону. И Юлия торопливо отвернулась, чтобы предательская краска снова не залила уши, щеки, шею, но продолжала искоса наблюдать за писателем. А тот всматривался пристально и цепко, затем вынул из внутреннего кармана записную книжку и стал делать в ней пометки.

«Известия», 1918. 6(19) января № 4(252). «А. Серафимович. Впечатления».

«...К краю эстрады скромно подходит девушка в белом с черным, со скрипкой, с милым девичьим, спрашивающим у жизни лицом: «Что ты есть? И что ты таишь?»

Она прижимает скрипку и медленно, легко и странно изгибая руку в сквозном рукаве, подымает смычок, а я опускаю глаза:

«Эх, напрасно она «Легенду»... Надо считаться с пу-

бликой — не поймут: начнется сморкание, кашель... Напрасно...»

Я стоял хмуро, опутив глаза, и в ту же секунду от эстрады к человеческому морю медленно, звеняще потянулась певучая, не обрывающаяся нить, похожая и непохожая на человеческий голос, то едва уловимая, готовая погаснуть, то густо свертывавшаяся грудной жалобой низкого контральто, потянулась и погасила все звуки, царствуя.

И я поднял глаза...

Видали ль вы остеклевшее море?

И в нем забытые повисли облака, и отразились горы, и берег, и дальний полет белой чайки.

Слыхали ль вы, как перестают дышать восемь тысяч человек?

Так вот о чем поет эта черноволосая девушка, вот о чем поет она из-под длинного нескончаемого смычка.

О чем?

И о том, что есть счастье и печаль, и есть прошлое, и подернуто волокнистой синевой неведомое будущее...

Девушка принесла свое чудесное искусство, свое творчество; его бережно приняли и теперь благодарили.

А я радостно смотрел на возбужденные лица».

Грамши выписался из санатория. Перед отъездом попрощался с Антонычем и передал главному врачу присланную из Италии посылку. В ней были йод, касторка, карболка, хинин — простые, но столь необходимые лекарства.

— У меня к вам просьба, Женя, — сказал он, прощаясь. — Не могли бы вы подарить мне на память вырезку из газеты «Известия» с очерком этого писателя.

— Серафимовича? Если хотите... Пожалуйста.

— Спасибо. Как он сказал? Девушка с милым, спрашивающим у жизни лицом. Поразительно точно...

Приближался IV конгресс Коммунистического Интернационала. Работы было невероятно много. Приходилось наверстывать упущенное в дни болезни.

Прибывали первые делегаты. Некоторые из них по уже установившейся традиции выезжали в промышленные центры страны. Об этом давно мечтал Грамши. Не хватало времени. Времени всегда не хватает. Решил ехать. Выбрал Иваново-Вознесенск. Не без задней мысли: в Иваново-Вознесенске с родителями и сестрой Анной жила Юлия Шухт.

Последняя встреча с Юлией в санатории была короткой и какой-то холодноватой. По чьей вине? Юлия торопилась по своим делам, а Грамши считал минуты, когда закончится сонная санаторная жизнь. Тревожили вести, приходящие с родины.

На прощание он сказал:

— Я никогда не был в Иваново-Вознесенске. Ведь это город рабочий, город промышленный. Его называют «русским Манчестером», правда? Впрочем, в английском Манчестере я тоже не был.

— К нам ближе,— смеясь сказала Юлия.— Приезжайте.

— Приеду.

Он помнил о своем обещании, но дни следовали за днями в безмерном напряжении. 2 октября после болезни вернулся в Москву и приступил к работе В. И. Ленин. Грамши предупредили, что в конце месяца Владимир Ильич постарается встретиться с представителем итальянской партии в Коминтерне. Если ехать в Иваново-Вознесенск, то ехать немедленно.

— Хорошая мысль,— поддержал товарищ, которому Грамши сообщил о своем решении,— подберем сопровождающего и поезжайте.

— Зачем отрывать людей от работы? Я уже произношу кое-какие обиходные слова по-русски.

— Вас понимают? — любезно осведомился товарищ.

— Редко, — признался Грамши. — И все же я превосходно доеду один.

— Как хотите. Я распоряжусь, чтобы вас посадили в поезд. И прошу не отказываться. Это не такая простая операция, как вам кажется.

Операция действительно была не простая. Тем более, что именно в этот день, 15 октября, вступило в силу новое расписание пассажирских поездов. На вокзале творилось нечто невообразимое. Боец дорожной охраны провел Грамши в вагон до начала посадки. Полой шинели смахнул с пижмы полки шелуху от семечек, для чего-то попробовал рукой прочность сидения и сказал, сопровождая слова соответствующими жестами:

— Ось туточки и ложись, товарищ. Ночь дли-инная.

— Спасибо, товарищ, — с удовольствием выговорил Грамши по-русски и сел.

— Эх, не понял, — огорчился боец. — Ложись, говорю, сразу ложись, место займи.

Не выпуская из рук винтовки, он лег на противоположную полку, вытянул длинные ноги в обмотках, закрыл глаза и даже захрапел для пущей выразительности. Выпрямился и, довольный собой, спросил:

— Ясно?

Грамши улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Упрямый, — вздохнул боец. — Погожу уходить. Посадка у нас знаменитая. Сомнут тебя, товарищ, по причине неосознанности масс и твоего малого росточка. А мне перед мировым пролетариатом ответ держать.

Посадка действительно была «знаменитая». Попрощавшись с Грамши, с пассажирами, которым он наказал оберегать «представителя мирового пролетариата», боец прыгнул, когда поезд уже тронулся.

Возникшая атмосфера интереса и благожелательности располагала к свободным дорожным разговорам, которые так любил и ценил Грамши в частых поездках по Италии. Но увы, язык!.. Знакомых слов было до обидного мало: они возникали и исчезали, никак не удавалось за них ухватиться.

Вагон постепенно затихал. Грамши принялся за захваченную с собой сегодняшнюю почту.

Сложенное треугольником письмо от Примо Джибелли. Окончил школу. Летает. Счастлив. Военный летчик — лучшая профессия в мире! Он еще посчитается с фашистами за все!

На обороте приписка: привет Эрнани Чиваллери, Джино Де-Марки и всем туринцам. Передам, дорогой Джибелли, обязательно передам...

Два других письма из Италии тревожно сообщали, что фашизм активизируется, лозунгом «общих национальных интересов» пытается объединить вокруг себя различные силы, в том числе церковь и монархию.

Огарок, светившийся в закопченном фонаре неверным колеблющимся светом, мигнул и погас. Темнота надвинулась плотной массой, казалось, ее можно пощупать. Темнота не мешала думать.

Хватит ли у фашизма сил, чтобы осуществить свои замыслы? И сумеет ли противостоять фашизму рабочий класс Италии? Буквально на днях произошел раскол в Итальянской социалистической партии. Очевидно, ИСП пришлет делегацию на IV конгресс Коминтерна. Предстоят нелегкие переговоры. Какую позицию займет Амадео Бордига? Недавно один из деятелей международного коммунистического движения спросил Грамши, не думает ли он, что назрела пора стать во главе партии. Так же прямо Грамши ответил, что не считает себя подходящей кандидатурой. Чтобы заменить Бордигу, в итальянских условиях нужен не один, а несколько человек: по работо-

способности Бордига стоит троих. И добавил, что сделает все от него зависящее для исправления нынешней линии партии. Товарищ был явно недоволен ответом. Как, впрочем, не был доволен и сам Грамши.

К Амадео Бордиге он испытывал уважение и личную симпатию. Несомненно, Амадео был мужественным и энергичным человеком, прекрасным оратором, может быть несколько многословным, и, конечно, хорошим товарищем. Но так же несомненно то, что именно Бордиге партия обязана официальной точкой зрения: установление фашистской или военной диктатуры в Италии невозможно. Сегодня даже заголовки газет кричат «возможно!». Это не случайный политический просчет. В делах Бордиги не всегда присутствует диалектика. Логике, часто применяемой формально, он пытается подчинить явления жизни. Но жизнь не подчиняется, и тогда на глаза Амадео как бы опускаются шторы: он видит только то, что хочет видеть... Грамши понимал, что в его отношениях с Бордигой самое сложное еще впереди, и думал об этом не без грусти.

Всю ночь в темном вагоне, прислушиваясь к неровному перестуку колес, Грамши не спал.

4

По новому расписанию поезд должен был прибыть к месту назначения в 7.40 утра. Пассажиры гадали: на сколько опоздает? К общему удивлению, поезд не только не опоздал, а даже пришел в Иваново-Вознесенск на час раньше срока.

Было еще совсем темно. Один из попутчиков Грамши, которому он еще в вагоне показал бумажку с адресом, вывел его на привокзальную площадь, махнул рукой в темноту. Грамши пошел в указанном направлении.

Он любил улицы городов ночью. Сколько воспоминаний было связано с прогулками по Турину после окончания работы в редакции. Обычно это бывало в два часа ночи, после того, как из типографии приносили пахнущие краской первые отпечатанные номера «Ордине нуово». Прогулки-беседы с друзьями продолжались до четырех-пяти утра, когда открывались двери первых молочных, где можно было выпить чашку кофе... Неплохо было бы и сейчас выпить кофе. Может быть, здесь есть какая-нибудь ранняя траттория, или — как это по-русски — чайна-я? Посидеть там час-полтора, чтобы не являться в незнакомый дом на рассвете, да еще в воскресный день... Вот какая-то вывеска... Нет, нарисован сапог, явно не то, что ему нужно.

Он, не торопясь, шел по улице, подумывал, не вернуться ли на вокзал, где можно дожидаться начала дня. Вдруг издалека донесся все нарастающий шум. Через минуту мимо Грамши со звоном, грохоча и подпрыгивая на выбоинах булыжной мостовой, промчалась пожарная линейка, сплошь облепленная пожарными в касках. За первой линейкой промчалась вторая, проскакали парные упряжки с большими деревянными бочками.

Пожарный обоз скрылся за поворотом. Грамши прибавил шаг.

Горел большой дом, самый большой на улице, как он узнал позднее, — здание Дворца труда, где помещался губпрофсовет. В отсвете пламени мелькали только что прибывшие пожарные. У самого горящего здания они установили выдвижную лестницу. С натужным визгом тросов и блоков — эти механические звуки прорывались сквозь гул голосов и треск пламени — она ползла все выше и выше, напоминая издали детскую игрушку. По ступенькам ещедвигающейся лестницы карабкались фигурки пожарных. В пламя с шумом устремились тугие струи воды.

Цепочка людей протянулась к подъезду горящего здания. Из рук в руки передавали папки, книги, музыкальные инструменты — нехитрое имущество губпрофсовета. Цепочка двигалась, очевидно внутри, где бушевало, люди менялись. Не раздумывая, Грамши принял из рук последнего в цепочке связку книг и передал ее человеку, который уже стоял за ним.

Цепочка двигалась. Грамши оказался внутри здания, на лестнице, на втором этаже. От дыма спирало дыхание, кружилась голова. Он принимал, передавал, принимал, передавал... Казалось, этому не будет конца. Но вдруг протянутые к соседу руки вернулись пустыми, а сосед, рослый парень без шапки в расстегнутой красноармейской шинели, надетой прямо на нижнее белье, — очевидно, парень вскочил прямо с постели, — говорил Грамши: — Шабаш! Команда была, понимаешь.

Что такое «шабаш» Грамши, конечно, не понял, но было ясно, что работа окончена. Пошатываясь, он побрел вниз по лестнице.

На улице уже было светло. У входа в здание стоял человек в кожаной куртке и каждому выходящему пожимал руку.

— Спасибо, товарищ!

Грамши ощутил крепкое пожатие, и у него непроизвольно ответно вырвалось:

— Грации, компаньо.

— «Компаньо?» Постой, постой, а ты кто будешь?

Человек в кожанке внимательно взгляделся в протянутое ему удостоверение члена президиума Исполкома Коммунистического Интернационала, удивленно посмотрел на Грамши, еще раз на удостоверение, и лицо его расплылось в улыбке.

— Вот так гость. Сейчас мы вас, товарищ из Коминтерна, определим в гостиницу. Умоетесь, отдохнете.

Грамши кое-как объяснил, что гостиница потом, а

сейчас он торопится вот по этому адресу. И протянул спасительную бумажку.

— Шухт. Знаю. Хороший старик. Дочки у него активистки, Юлия и Анна.

Смысл сказанного Грамши понял. «Шухт... Юлия...» «Активистки», вероятно, что-то близкое итальянскому «аттивиста́». А человек в кожаной куртке уже подозвал к себе парня, к удивлению Грамши, того самого, что стоял рядом с ним в цепочке.

— Знаешь, где Шухт живет? С бородой, на Маркса похожий, что у нас лекцию читал. Знаешь. Вот отведешь товарища.

— Так я не одетый, — смутился парень.

— Ничего. Девочек на улицах еще нет. Рано. Шинель только застегни.

В доме Шухтов уже встали. Гостя встретили с любопытством и искренним радушием. Сели завтракать. Кипел самовар, чуть пахло дымком. Грамши извинился за то, что причинил хлопоты. Вот самовар, например. Аполлон Александрович улыбнулся и объяснил, что за границей они действительно от самовара отвыкли, но дома снова привыкли. Вкусно, удобно, дешево.

— Прямо гимп самовару, — засмеялась Юлия Григорьевна. — Но вы бы посмотрели, что творится, когда самовар не хочет разгораться.

— Что особенного творится, — возразил Аполлон Александрович. — Чертыхнусь раз или два, потом ишу старые сапоги, которые Юля обязательно куда-нибудь засунет.

— Почему сапоги? — удивился Грамши.

— Вы не знаете, как сапогом раздувают самовар? — даже обрадовался Аполлон Александрович. — Я вам покажу, как это делается.

— Не сейчас, надеюсь? — кротко спросила Юлия Григорьевна. Аполлон Александрович неохотно согласился отложить демонстрацию на вечер.

— Древнее это искусство я постиг еще в раннем детстве,— шутливо пояснил Аполлон Александрович,— на кухне, от денщиков родителя моего Александра Ивановича. Не разрешалось обер-офицерскому дитяти на кухню, но, сами знаете, запретный плод сладок.

Разговор шел на итальянском языке, слова «обер-офицерскому дитяти» Аполлон Александрович произнес по-русски.

— Подзабывать стал итальянский, нет уж той легкости,— пожаловался он. И стал расспрашивать собеседника о Риме. Грамши отвечал, время от времени тревожно поглядывая на дверь в комнату, куда, выпив стакан чая, ушла Юлия. Грамши казалось, что Юлия недовольна его приездом, он с трудом заставлял себя поддерживать разговор.

Дверь открылась, вошла Юлия в теплом пальто и накинутом на голову темном шерстяном платке.

— Ты куда, дочка? — остановился на полуслове Аполлон Александрович.— Гость у нас. И день воскресный. Я вот рассказывал Антонио о нашей последней семейной прогулке по Риму. Символическая прогулка, помнишь?

Юлия ответила, что очень хорошо помнит эту прогулку, а сейчас просит ее извинить: нужно срочно ехать в уезд, решение было принято вчера, отменять поздно. Но следующие два дня постарается высвободить и будет целиком в распоряжении товарища Антонио. Разговаривая, она повязала голову и плечи платком, как делают русские крестьянки, а Грамши смотрел на нее с удивлением, потому что Юлия вдруг стала похожа на женщину его родной Сардинии, где принято в любую погоду покрывать голову темным платком.

Уже в дверях Юлия задержалась и попросила Грамши не сердиться на нее, к вечеру она обязательно вернется, пока папа покажет ему город.

— Вот, видали? — вздохнул Аполлон Александрович.

вич. — Дорога — душу вытрясешь. Если еще на укомовской бричке, там хоть рессоры, а то на телеге... Инструктор уездного комитета партии, ничего не попишешь... Так что делать будем? Отдохнуть желаете? Диван у нас фирменный, располагает. Или же по городу пройдемся? Конечно, Иваново-Вознесенск не Рим, отнюдь не Рим, но в каждом городе имеются свои достопримечательности. Как решаете — диван или город?

— Город.

— Айда! — по-русски произнес Аполлон Александрович, выходя из-за стола.

— Айда! — улыбаясь, повторил Грамши.

Они шли мимо деревянных домиков с палисадниками по хлюпающим дощатым тротуарам.

— Вон там на пригорке остановимся, для обозрения. В 1871 году из села Иванова и Вознесенского посада образовался город Иваново-Вознесенск. Был он так называемым безуездным городом Шуйского уезда Владимирской губернии. Рос город стихийно, вокруг текстильных фабрик грудились слободки... Вот отсюда видно слободки: Яма... Панфиловка... Рыжиха... ну и прочие. Грязь, антисанитария, чего тут говорить... И несмотря на этот ужас, крестьяне прилежащих уездов тянулись к фабрикам, как железные опилки к магниту. Надежда заработать на корову, на лошаденку рушится очень скоро, назад пути нет. И невдомек Ивану или Петру, что он участник исторического процесса превращения крестьянина-земледельца в постоянного фабричного рабочего. Проблематика эта весьма интересовала Владимира Ильича Ленина, ей он посвятил один из разделов своей книги «Развитие капитализма в России»... Не считите за нескромность, но вашему покорному слуге выпала честь беседовать с Владимиром Ильичем на данную тему. В Самаре, в Царском Селе и, представьте, даже в Женеве... Вы лично встречались с Лениным?

— Нет. Очень надеюсь на встречу перед конгрессом.

— Желаю, чтобы ваша надежда сбылась... О чем мы говорили?.. Да, стал наш мужичок пролетарием, женился, пошли дети. Так вот, по данным земской статистики начала 900-х годов, более половины детей, рождающихся в семьях рабочих ткацких фабрик, умирают, не дожив до пяти лет! Что тут удивительного? Девчонка десяти — двенадцати лет от роду приходит на фабрику. По малолетству у нее укороченный рабочий день — девять часов. Девять!.. Потом эта льгота кончается, работает на фабрике от темна до темна, света божьего в буквальном смысле не видит. К двадцати годам — какая она женщина? Какие у нее могут родиться дети?.. Нечто подобное я высказывал на днях одной знакомой даме, муж ее инженер, вполне порядочный человек. Так она мне: «Это вы, Аполлон Александрович, большевистскую агитацию повторяете». «Многоуважаемая, — говорю, — во-первых, я сам большевик, во-вторых, все, что я сообщил, напечатано в трудах дореволюционных земских статистиков. Вы, говорю, мадам, еще молоды, а по Шапошникову уже давно перешагнули средний возраст в четырех промышленных уездах Московской губернии, равный двадцати шести годам и семи месяцам». Так дама моя, знаете что?..

— Догадываюсь. Обиделась.

— Обиделась и ушла, сказав на прощание что-то для меня нелестное. Что именно — я предпочел не расслышать.

Аполлон Александрович покосился на собеседника, встретил его взгляд, и оба рассмеялись.

Они вышли на площадь.

— Экскурсия наша заканчивается, — сказал Аполлон Александрович. — Здесь, на городской площади, в августе 1915 года собрались рабочие, требуя освобождения из тюрьмы арестованных товарищей. После митинга пошли к тюрьме. Организованно, без всяких эксцессов. Перед

тюрьмой стояли шеренги солдат. Солдаты не решались стрелять, рабочие вступили с ними в переговоры. И вдруг грянул залп. Это в засаде — вон там — демонстрантов ждали полицейские и стражники, подлость какая!.. Около ста человек подобрали убитыми, ранеными. Среди раненых, между прочим, был и тот товарищ, с которым вы познакомились на пожаре... Очень энергичный товарищ, — усмехнулся Аполлон Александрович. — А председатель губпрофсовета товарищ Деготь еще энергичнее. Вы у нас покоя не ждите.

— Я знаю товарища Дегтя, мы с ним встречались в Италии.

— Да?.. Кстати, вот он самолично. Легко на помине... Не знаю, удастся ли нам еще спокойно поговорить? К вам большая просьба, можно? Где-то в Риме затерялась наша Таня, Татьяна Аполлоновна. Если не затруднит...

— Разыщу, обещаю.

— Заранее благодарю... Не вас ли высматривает Владимир Александрович? Вас. Ну все, приготовьтесь не есть, не спать...

Владимир Александрович долго тряс руку гостя.

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ Грамши. Приветствую вас на иваново-вознесенской пролетарской земле!

Не отпуская руку Грамши, Деготь взглянул на часы и охнул:

— Опаздываем! Пора, пора!

Аполлон Александрович подмигнул Грамши.

5

Предсказание сбылось, хотя и не полностью! все же Грамши немного ел, немного спал, охотно отзывался на все приглашения и только сожалел, что в сутках всего 24 часа.

Газета «Рабочий край», № 236. «16 октября. Открытие культконференции в помещении клуба коммунистов. Речь итальянского представителя. Слово для приветствия представляется прибывшему в Иваново представителю Коминтерна, члену Коммунистической партии Италии, встреченному конференцией аплодисментами. В своей приветственной речи, произнесенной на итальянском языке и переведенной Ю. А. Шухт, т. Грамши выразил те чувства, которые охватили его ум при виде настоящей конференции, где собрались рабочие для разрешения вопросов просвещения и строительства своей пролетарской культуры. В Италии этого рабочие сделать не смогли бы, так как там свирепствует реакция и ее «мастера» — фашисты огнем и железом подавляют всякие попытки рабочих организаций. Виновниками такого положения рабочего класса в Италии в значительной степени являются его вожди...

Сейчас итальянский пролетариат понял свои ошибки... Рабочее движение Италии идет к переустройству общественной жизни на таких началах, когда итальянский рабочий сможет так же свободно собираться, как и настоящая рабочая конференция».

«Рабочий край», № 237. «В понедельник 16 октября, после открытия губернского съезда совторгслужащих в помещении театра фабрики Иваново-Вознесенской Большой Мануфактуры, состоялось торжественное заседание делегатов съезда с представителями месткомов в ознаменование 5-й годовщины образования союза.

С приветствием к делегатам от имени Красного Профинтерна выступил представитель Коммунистической партии Италии тов. Грамши, который нарисовал картину тяжелой борьбы рабочего класса Италии с фашистами. Он отметил как знаменательный факт, что Итальянская социалистическая партия... вновь вступает под знамя Коминтерна.

По окончании съезда силами драматической секции союза для делегатов на сцене фабричного театра было поставлено «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского».

«Рабочий край», № 240. «18 октября в Кохму прибыл член 4-го конгресса Коминтерна, представитель Италии тов. Грамши, который был встречен секретарем райкома и секретарем ячейки РКП при льняной мануфактуре.

Тов. Грамши посетил в первую очередь фабрику Большой Кохомской Мануфактуры. Он посетил как прядильную, так и ткацкую фабрики во время работ, заглянул также в рабочие казармы и детские ясли, где ему при помощи переводчика... были даны разъяснения по производству.

После осмотра Большой Мануфактуры направились на льняную мануфактуру. Директор, рабочий-коммунист, тов. Кожанов пригласил Грамши к себе на квартиру, чтобы он мог немного закусить и отдохнуть.

Затем пошли осматривать фабрику в присутствии секретаря райкома и секретаря ячейки РКП. После трехчасового обхода фабрики тов. Грамши уехал в Иваново-Вознесенск.

Пишущий эти строки приносит большую благодарность посетившему наш рабочий уголок тов. Грамши. Да здравствует 4-й конгресс Коминтерна...»

Уезжали из Кохмы на пароконной линейке (машина сломалась, хозяева уговаривали остаться до утра, но Грамши уже торопился в Москву). Хотя выехали за-светло, скоро легли густые осенние сумерки. А через некоторое время не было видно ни зги.

Уполномоченный губпрофсовета устроился впереди. Сперва переговаривался с ездовым, потом привалился к его спине и заснул. Грамши и Юлия сидели сзади рядом, свесив с линейки ноги. На ухабах линейку встря-

хивало, Грамши тревожно поглядывал на соседку. Юлия сидела уверенно, сказывался опыт укомовских командировок.

Линейка съехала на проселок. Стало слышно пофыркивание невидимых в темноте лошадей, храп уполномоченного, скрип плохо смазанного колеса. Настойчиво-нудный звук отвлекал, мешал думать.

— О чем вы думаете, Антонио? — вдруг спросила Юлия.

Грамши вздрогнул. Неужто догадалась? Все эти дни он думал о ней. Ожидал ласкового (или это только ему казалось!) приветствия «с добрым утром» и усталого пожелания спокойной ночи, когда губпрофсоветовская бричка подвозила ее к дому. Думал, когда она переводила с итальянского его быструю речь, и чистый белый лоб, обрамленный двумя волнами темных волос, прорезывала напряженная морщинка.

Но в этот миг он просто прислушивался к колесному скрипу и, не покривив душой, ответил:

— О колесе.

— О колесе? Каком колесе?

— В том-то и сложность — не могу определить о каком. Слышите, скрипит?

— Слышу.

— Какое? По-моему, заднее правое.

Юлия прислушалась:

— А по-моему, левое.

— Что вы, правое...

— Подождите, действительно правое... Нет, левое...

И вообще, скрипит переднее... Правое... Нет, левое... Ой, не могу! — Юлия прыснула. Засмеялся и Грамши. Уполномоченный перестал храпеть, что-то пробормотал. Сдерживая смех, Юлия шепнула:

— Тише, человек спит.

Фраза «человек спит» вызвала новый приступ смеха.

— Феномен с колесами объясняется просто, — сказал Грамши. — Дорога неровная, давление увеличивается то на одно, то на другое колесо. И самовнушение, особенно ночью... Я это заметил в детстве, когда возвращался на стареньком дилижансе из Санту Луссурджу:

— Санту Луссурджу? Где это?

— В Сардинии. В восемнадцати километрах от Гиларцы. А Гиларца — в восемнадцати километрах от Санту Луссурджу, — усмехнулся Грамши.

— Я ничего не знаю о вашем детстве, Антонио, — после паузы сказала Юлия.

— И хотите знать? — быстро спросил Грамши.

— Хочу... Если только воспоминания не причиняют вам боль.

— Не причиняют, хотя чаще я видел жизнь с самой жестокой ее стороны. Даже мать не знала о невзгодах, которые испытал ее Нино... Нет, не знала. Но только благодаря матери, благодаря ее любви и настойчивости, Нино сумел сделать первый шаг в большой мир. А находился этот мир, как я вам уже сказал, в восемнадцати километрах от Гиларцы. Там — в Санту Луссурджу — была гимназия.

— А что было в Гиларце?

— Если по порядку, до Гиларцы был еще Алес, большая семья конторского служащего Франческо Грамши. Еще были книги: в больших и бедных семьях они, как одежда, переходят от старших к младшим. Прекрасные книги: «Робинзон Крузо», «Таинственный остров», романы Эмилио Сальгари, итальянского Жюль Верна, об отважных мореходах и дерзких корсарах, о морских сражениях и далеких сказочных странах... Детская фантазия легко переносила действия этих романов в Сардинию, превращая ее в чудесную страну, где можно совершать путешествия, полные удивительных приключений.

Юлия Аполлоновна сидела неподвижно, чтобы осторожным движением не «спугнуть» рассказчика. Ин-

туитивно она понимала, как трудно раскрываются люди со сложной внутренней жизнью и как быстро вновь прячутся под свою броню.

— Мальчик рос,— медленно продолжал Грамши,— и вскоре понял, что обожженная солнцем каменистая Сардиния прекраснее любой сказки... Как ему нравилась долина реки Тирсо у церкви св. Серафима. Часами, как зачарованный, он сидел на скале, восхищаясь своеобразным озером, которое река образовала напротив самой церкви, и с любопытством глядел на водяных курочек, выплывавших из прибрежных камышей на середину реки, на выскакивавших из реки рыб, охотившихся за комарами... Так что же все-таки было в Гиларце? Была начальная четырехклассная школа, был отдел регистрации налогов, где мальчик два года работал курьером... Вам не надоело?

— Нет, нет, но я немножко замерзла,— призналась Юлия Аполлоновна.

— Вы простудитесь! — взволновался Грамши. — Наденьте мое пальто, под ним теплый пиджак, не беспокойтесь. Ну, пожалуйста,— просил он, быстро расстегивая пальто, нечто вроде бекеши, добытое стараниями Аброджи ввиду наступивших холодов.

— Застегнитесь, сию минуту застегнитесь! Мы сейчас согреемся по российскому способу.

— Водка? — заинтересованно спросил Грамши.

— Есть и другой способ,— рассмеялась Юлия Аполлоновна. Она что-то сказала ездовому. Линейка остановилась. Юлия прыгнула на землю, Грамши за ней. Линейка тронулась, стала удаляться.

— Догоняйте, Антонио, догоняйте,— крикнула Юлия и побежала за линейкой. Грамши бросился вдогонку. Метров через двести — триста ездовой придержал лошадей.

— Вы остановились на отделе налогов,— напомнила Юлия Аполлоновна, когда они отдышались.

— А представителю товарища Дегтя не надо побегать? — спросил Грамши, указывая на уполномоченного.

— Не надо. На нем кожих,— по-русски произнесла Юлия.— Ну, шуба овчинная. Виповата, что прервала ваш рассказ, но, честное слово, я очень замерзла,— жалобно протянула она.— Итак, курьер...

— Оставим курьера бегать по Гиларце и переберемся наконец в Санту Луссурджу. Там была гимназия. Скромная, провинциальная, но все-таки гимназия. Мать сняла для сына угол: за пять лир в месяц мальчик имел кров и пищу. Воскресенье маленький гимназист проводил в Гиларце, в понедельник утром садился в дилижанс, я уже говорил, и возвращался в Санту Луссурджу. Иногда мальчик шел пешком, деньги за проезд можно было потратить на книги.

Воспоминания увлекли Грамши. Казалось, он с любопытством со стороны присматривается к нескладной, смешной и грустной жизни провинциального подростка.

— Была одна забавная история,— продолжал Грамши,— история об очень бедном мальчике, которому сшили отличные панталоны из зонтичной материи. Эту материю и сейчас употребляют сардинские крестьяне. Пламенный цвет штанов привлекал внимание, зеваки следовали за мальчиком и кричали ему: «Маленький зонтик!» Не правда ли, из этого можно сделать маленькую новеллу, полную юмора и горечи?

Юлия Аполлоновна не ответила. Впрочем, Грамши и не ждал ответа.

— После окончания гимназии он приехал в Кальяри и поступил в лицей «Карло Деттори». Подросток из Гиларцы редко появлялся на виа Манно или корсо Витторио Эмануэле, среди товарищей, сыновей богатых родителей. Он предпочитал жить уединенно в маленьком пансионе, расположенном на холме, куда вела темная крутая лестница... Ежедневно приходилось решать две

проблемы — пропитания и чтения. В Кальяри выходили три газеты. Одна из них радикального направления — «Иль Паэзе». Чтобы купить газету, он не обедал. Или откладывал на ужин несколько ломтиков салами и сыра, которые его товарищ Ренатто Фигаро предлагал на школьной перемене. С Ренатто Фигаро и другими лицеистами он основал кружок. Кружок назывался «Мученики свободной мысли».

Юлия Аполлоновна тихо засмеялась.

— Нам название казалось превосходным. «Мученика свободной мысли» заинтересовали идеи социализма. Лицейст погрузился в труды философа и историка Антонио Лабриолы. Лабриола был марксистом, первым выдающимся итальянским марксистом. Увы, у Лабриолы он не нашел ответа на вопрос, как пойдет развитие истории. Смешная любознательность, не правда ли? Тогда лицейст решил читать самого Маркса, сначала просто из интеллектуального любопытства, потом увлеченно. И странно, чтение Маркса усилило его интерес к Италии. Старший брат Дженнаро некоторое время жил в Кальяри, потом перебрался в Турин и посылал в Кальяри «Аванти!», уже читанные номера. Иногда газета приходила измятая, в масляных пятнах. Дженнаро вкладывал в газету записку, извинялся за пятна, объяснял, что второпях завернул в «Аванти!» свой завтрак. Больше это не повторится, клялся Дженнаро. Разумеется, повторялось. «Мученик свободной мысли» не был в обиде... Во время собраний и дискуссий он выступал редко. Но писал много заметок в местную газету. Свою политическую деятельность начал 19 февраля 1911 года, подготовив митинг на площади в память Джордано Бруно. Митинг окончился мирно. Разбили только несколько витрин, — сказал Грамши.

— Куда везти? — спросил ездовой. Пролетка уже дребезжала по мостовой.

Проснулся уполномоченный:

— В губпрофсовет. Товарищ Деготь ждет.

Это не нуждалось в переводе. Грамши вздохнул:

— Скажите ему, Юлия, сперва пусть вас отвезет. Иначе я забастую. Так и переведите.

Убедившись, что линейка громыхаст к дому Шухтов, добавил:

— На прощание я скажу вам... Не пугайтесь, ничего плохого не скажу. Подождем, пока остановимся. А то спутник в овчинной шубе опять захрапит.

— Не захрапит, он уже чувствует близость товарища Дегтя... Вот и мой дом.

Они сошли с линейки. Подошли к подъезду.

— Хотел вам сказать: помните, впервые я увидел вас в Серебряном бору, обещал чуть позднее зайти в комнату и не зашел. Не зашел потому, что вы напугали меня, право же напугали...

— Чем же? Не понимаю.

— Жаль... До свидания, дорогой друг!

Деготь действительно ждал. Попрощались сердечно. Грамши попросил поблагодарить всех, оказавших ему гостеприимство, сказал, что он увидел силу международного братства: посещение фабрик и профсоюзных клубов, встречи и беседы с рабочими очеловечили для него страницу истории.

Книги и журналы дают лишь общее представление о тех или иных явлениях, лишь в общих чертах — в более или менее удачной форме — отражают основные направления развития общественной жизни, но не могут заменить непосредственного, прямого, живого впечатления о том, как живут Пьетро, Паоло, Джованни — то есть реально существующие люди...

«Письма из тюрьмы». Год 1928.

Глава вторая

«СВЕТИ, КАК ПЛАМЯ!»

1

20 октября Грамши вернулся в Москву.

Утром 25 октября позвонили:

— Владимир Ильич просит быть у него ровно в шесть часов вечера.

Он давно ждал этого. Собственно, все месяцы пребывания в Москве и в подмосковном санатории, когда болезнь свалила его с ног, он готовился к встрече с Лениным. Ленин тоже был болен, встреча не могла состояться. Он очень жалел об этом и теперь жалеет, но сегодня готов к этой встрече, пожалуй, больше, чем раньше. Положение в Италии, до этого неясное и смутное с точки зрения некоторых товарищей, сейчас почти определилось. Он вспомнил, как весной Бордига заявил в свойственной ему непререкаемой манере: «Я предвижу, что в своем дальнейшем развитии фашизм будет либерален и демократичен в той же мере, как и любое другое политическое течение буржуазии».

...Без пяти шесть. Вошел в приемную. Поздоровался с дежурным секретарем — маленькой черноволосой женщиной с живыми черными глазами.

— По распоряжению врачей сегодня у Ленина день отдыха, — сказала женщина по-французски, тщательно подбирая слова. — Ах, эти дни отдыха, они так похожи на обычные. Сегодня вечером Владимир Ильич настоял на трех встречах. Постарайтесь не очень долго, товарищ Грамши, хорошо?

Да, конечно. Но как же быть?.. Грамши вынул из кармана листок с намеченными вопросами и начал его торопливо проглядывать.

— Владимир Ильич просит вас.

Он вошел в кабинет. Навстречу поднялся Ленин.

— Здравствуйте, товарищ Грамши,— произнес Ленин по-итальянски.— Заочно мы старые знакомые, не правда ли?

Он хотел сказать о том, как Ленин вошел в его жизнь. Но ответил только:

— Правда.

— Итальянский язык я знаю слабо,— продолжал Ленин.— Мы можем беседовать по-французски? Да? Впрочем, приглашен и переводчик.

Через открытую форточку потянуло холодным осенним ветром. Грамши поежился. Ленин заметил это.

— Простите, товарищ, сейчас прикрою.

— Не нужно, Владимир Ильич. Я привык.

— Все же лучше прикроем. Ведь вы южанин? Уроженец Сардинии, если не ошибаюсь? — спросил Ленин, захлопывая форточку и возвращаясь к письменному столу. Грамши утвердительно кивнул головой.

— Садитесь, пожалуйста,— Ленин пододвинул гостю стул.

— Если не ошибаюсь, вы хорошо знаете специфику итальянского юга. Действительно, аграрная проблема в Италии исторически конкретна и приняла своеобразные, характерные для страны формы. Не разовьете ли вы эту мысль?

Просьба Ленина была для Грамши неожиданностью. Но беды аграрного итальянского юга, где жили миллионы темных, невежественных бедняков, давно жгли его сердце. Еще в детстве, на родном острове, услышал он поговорку: «Ты, друг-мотыжник, беден потому, что сардинец». Потом он собственными глазами увидел, что «друзья-мотыжники» — это нищее большинство всего Юга...

Он говорил и чувствовал — уходит смущение, скованность. Он рассказал о борьбе партии за то, чтобы главным

действующим лицом южного вопроса стал революционный рабочий Турина и Милана. Это уже дало свои плоды: сардинский пастух, старик, сказал ему: «Станешь травой, даже козы съедят тебя». Беднякам надоело быть травой.

Ленин засмеялся. Лукавые морщинки веером побежали от прищуренных глаз:

— Этот старик куда разумнее ваших реформистов. И дальновиднее. «Станешь травой, даже козы съедят тебя», — отлично сказано.

И, сразу потушив улыбку, спросил:

— А что думают рабочий Турина и сардинский пастух о фашистах? И что думаете вы сами?

Грамши поделился с Лениным своей глубокой тревогой. На политическую арену вышла новая сила: грубая, жестокая, беспринципная. Обстановку последних месяцев он знает по рассказам товарищей, по газетам и редким письмам из Италии, но за первыми шагами фашизма наблюдал пристально и во многих районах страны. При отдельных различиях в приемах и в поведении членов местных фашо можно установить единообразие в тактике. Сначала сколачивается группка из приезжих и местных праздношатающихся. Им выплачивают (неизвестно из каких средств) небольшое вознаграждение, приправленное щедрыми посулами на будущее. Театральная церемония освящения фашистского знамени привлекает внимание к новой организации. В фашо вступают другие местные жители: землевладельцы, крупные торговцы, чиновники, обиженные нынешней администрацией. Фашо существует и готово к действию. Полтора-два десятка вооруженных молодчиков прогуливаются по местечку, провоцируя различные инциденты. Инциденты на первых порах мелкие, бескровные, но они создают определенную атмосферу безнаказанной наглости и насилия.

Ленин слушал внимательно, лицо его хмурилось

— Эта атмосфера, — продолжал Грамши, — нужна фашистам для последующих действий. Мэру и муниципальным советникам вручают требование в течение сорока восьми часов подать прошение об отставке. Причем «просят» обязательно присутствовать на заседании, на котором будет решаться этот вопрос. Во всех переговорах, не только в переносном смысле, а буквально, фигурирует дубинка. Дубинка — их доводы и доказательства. Дубинка — их закон. Дубинка опускается на плечи, на головы. Они хорошо умеют бить, особенно хорошо, когда не ждут сопротивления... Люди замкнулись в ожидании, что режиму террора наступит конец. Но конец сам по себе не наступит! Только силой можно ответить на силу. А старый лидер социалистов Филиппо Турати написал рабочим Андрии и Апулии, просившим его совета: «Будьте совершенны, будьте святы, будьте смиренны».

Ленин близко наклонился к Грамши: брови насупились, губы гневно сжались.

Теперь Грамши нужно было упомянуть о Бордиге. Он замялся и сказал, что события могли изменить позицию Бордиги, которую он сам вскоре изложит конгрессу. Ленин покачал головой.

Раздалось тихое жужжание телефона, над столом загорелась маленькая электрическая лампочка. Ленин поморщился, но быстро снял трубку и стал внимательно слушать, изредка вставляя короткие фразы по-русски. Произошло что-то хорошее, это Грамши почувствовал, не поняв ни слова, и порадовался за Ленина. На губах Владимира Ильича заиграла улыбка. Он положил трубку на рычаг и несколько секунд молчал.

— Только что сообщили, — сказал Ленин, — что освобожден Владивосток. Остатки интервентов бежали. Дальний Восток стал советским. Пять лет существует Советская власть, и пять лет рабочие и крестьяне не выпускали из рук винтовки!..

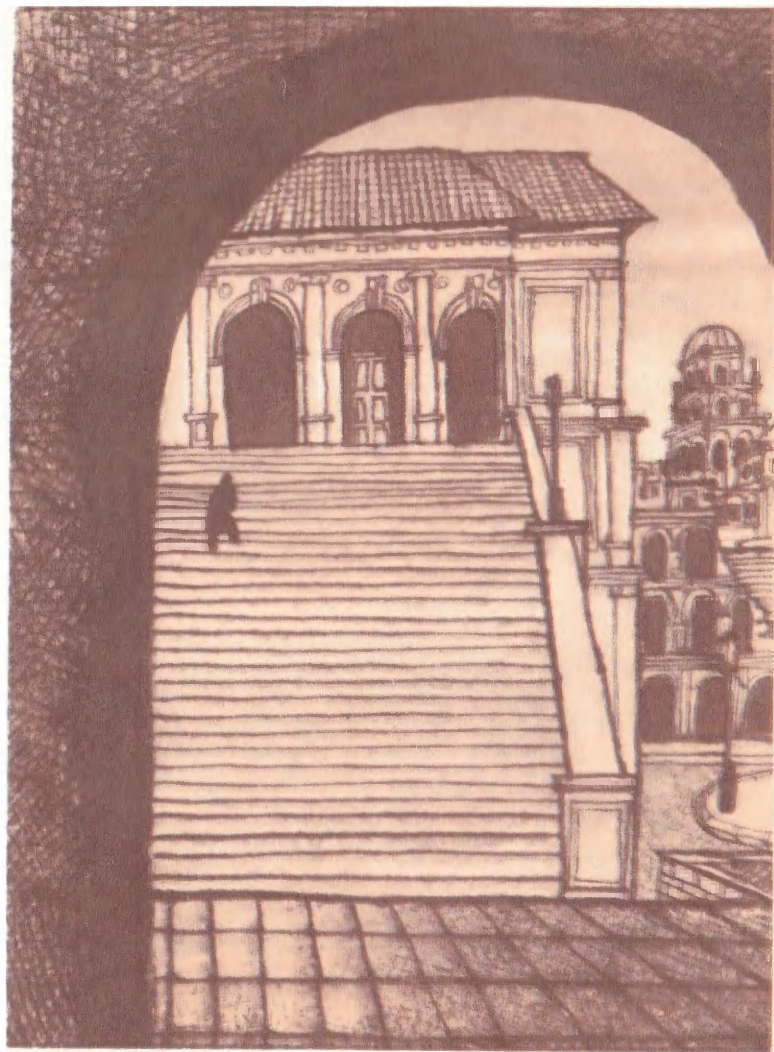
Вошла черноглазая женщина — секретарь и положила перед Владимиром Ильичем какую-то бумагу. Ленин взглянул в нее, кивнул:

— Спасибо, Мария Игнатьевна.

Она вышла. Ленин указал на принесенную бумагу и улыбнулся:

— Торгуем помаленьку. Вот, наторговали больше двадцати миллионов золотых рублей. Мы их немедленно вложим в тяжелую индустрию. Двадцать миллионов. Много это или мало? Знаете, сколько истратила одна лишь Англия на интервенцию против нас? Сто с лишним миллионов фунтов стерлингов, то есть более одного миллиарда золотых рублей. А всего Антанта — что-то около трех миллиардов, по официальным источникам, заметьте. Каково? Нам бы долю этих миллиардов, — Ленин засмеялся и махнул рукой.

— Мы немного отвлеклись. Да, фашизм — враг жестокий, беспринципный, со своей своеобразной тактикой. Все идет к тому, что в Италии встанут друг против друга две главные силы: фашисты и коммунисты. Сейчас важно, архиважно единство рабочего класса, единство всех, кому дорого будущее нации. На днях мне сообщили, что внутри Итальянской социалистической партии произошел раскол. Большинство начало понимать, что бороться нужно вместе. Как вы, товарищ Грамши, смотрите на дальнейшие тактические и организационные перспективы, в частности на объединение коммунистической и социалистической партий Италии? Попрошу вас говорить нелицеприятно и откровенно, не скрывая сомнений и возражений. Предупреждаю, если вы еще раз взглянете на часы, мы с вами поссоримся. Объединение — задача в высшей степени деликатная. Надо обдумать все возможные осложнения... Кажется, мы понимаем друг друга без переводчика. Извинимся перед товарищем за беспокойство и продолжим. Главный разговор у нас еще впереди...



Неделю спустя, в следующую среду, Грамши встречал приехавшую на конгресс Камиллу Равера. Он высоко ценил и уважал эту умную энергичную женщину, не терявшую присутствия духа в самых трудных и опасных ситуациях. Вместе с ней и другими товарищами выпускал еженедельник «Ордине нуово», создавал коммунистическую группу под тем же названием внутри социалистической партии, вместе с ней участвовал в боях туринского пролетариата: всеобщих забастовках девятнадцатого и двадцатого годов, захвате фабрик и заводов.

Заранее позаботился, чтобы Камилле приготовили в «Люксе» удобную комнату, затребовал пишущую машинку.

— У меня тоже есть что сообщить,— сказал Грамши, когда Равера «выгрузила» все новости.— Я был у Ленина.

— Что же ты молчишь!

— Мы к этому еще вернемся и не раз. Коротко: Ленин знает наши дела гораздо лучше, нежели мы предполагаем. Его суждения о наших товарищах и других итальянских политических деятелях опираются на широкую информацию и абсолютно точны. Он сказал, что никогда не отказывался от намерения вновь завоевать Серрати и социалистов, искренне связанных с Коммунистическим Интернационалом. Потом спросил мое мнение о Бордиге. Я ответил, что не разделяю позиции Бордиги, но в прошлом году в Ливорно, при возникновении Коммунистической партии Италии, создании ее организационной сети и формировании революционных прав, Бордига играл важную роль. Это способствовало росту его престижа в партии. Поэтому требуется сочетание дискуссий и убеждения отдельных товарищей, начиная с наиболее квалифицированных, чтобы прийти к созданию новой руководящей группы, нового политического направления... Ленин посмотрел на меня, прищурившись, в его

глазах я прочитал вопрос: «А уверены вы, товарищ Грамши, что обстановка в Италии представит коммунистам время для неторопливых дискуссий и убеждения?» Если бы он спросил, я бы честно ответил: «Не уверен». Вероятно, это тоже было ясно по моим глазам, потому что Ленин чуть усмехнулся и сказал, что попробует непосредственно узнать суждения Бордиги о новой ситуации в Италии, ситуации, которая, повторил Ленин, кажется ему грозной.

Октябрь уже был на исходе, когда из Италии пришло известие: фашисты совершили «поход на Рим», король назначил Муссолини премьер-министром. В зарубежной прессе появились сообщения о событиях, снабженные сенсационными снимками. Со смешанным чувством презрения и гнева рассматривал Грамши фотографии различных эпизодов этого похода: размахивая оружием, мчатся на грузовиках чернорубашечники, а на перекрестке шоссе позирует Муссолини, театральным жестом указывая своим сквадристам на Рим.

«На Рим!..» Сам дуче совершил этот «поход» в комфортабельном спальном вагоне скорого поезда.

«На Рим!.. На Рим!..» Открылась первая страница поворной летописи черного двадцатилетия истории Италии.

В газетах были и другие фотографии. Разгромленные, оскверненные рабочие клубы, редакции левых газет. На одном снимке Грамши узнал типографию «Ордине нуово». Вернее, то, что до этого дня было типографией. Лино-типы, ротационная машина — все искореженное, изуродованное. На другом снимке — горящая, подожженная фашистами, туринская Палата труда; туринцы всегда с гордостью называли это прекрасное здание Дворцом труда.

Грамши буквально не находил себе места, пытаюсь выяснить, что с его товарищами в Турине, в Риме. Редкие слухи были неясны и противоречивы. Один из прибывших на конгресс французских делегатов, не знавший

Грамши в лицо, сообщил ему, что читал об аресте в Турине известного коммунистического журналиста Антонио Грамши. Подробностей французский товарищ не запомнил, но был уверен, что речь шла именно об Антонио Грамши. Он обескураженно рассмеялся, узнав, что сообщил эту новость... Антонио Грамши. Но самому Антонио было не до смеха: первая мысль — речь идет о брате Дженнаро. Дженнаро, впрочем, лишь технический сотрудник редакции, администратор, арестовали его скорее всего по ошибке, приняв за младшего брата. А вот слухи из Рима казались более угрожающими: передавали, что в руки фашистов попал Тольятти, до последней минуты редактировавший газету «Коммунист». За последние месяцы Тольятти на страницах газеты «Коммунист» вел принципиальную и планомерную борьбу с фашистами и сумел крепко «насолить» им. Когда в мае рабочие римского квартала Сан-Лоренцо ответили огнем на вооруженное нападение фашистов, Тольятти посвятил этому и схожему эпизоду народного сопротивления в Пьемонте боевую статью, требуя защиты жизни и интересов рабочих и крестьян оружием, а не парламентскими запросами.

Муссолини не раз истерически кричал, что заткнет глотку коммунистической печати. По части разгрома редакций у него был уже грязный опыт, вряд ли он не воспользуется случаем расправиться с «Коммунистом». Грамши, хорошо зная характер Тольятти, не сомневался: друг не покинет поле боя до конца. Все же теплилась надежда, что хладнокровие Пальмиро поможет ему выпутаться из беды.

2

В Москву продолжали съезжаться делегаты IV конгресса Коммунистического Интернационала. Многоязычный, многоплеменной отряд выросшей за последние годы

могущественной силы. Особенно радостны были встречи со знакомыми. К Грамши, сидящему за столом мандатной комиссии (он вошел в ее состав), подошел широкоплечий мужчина с растрепанными рыжими усами.

— Кашен! — радостно воскликнул Грамши.

— Мой дорогой старик! — И заметив мимолетную тень на лице Грамши, Кашен смущенно спросил:

— Обиделся за «старика»? Знаю, скверная привычка.

— Нет-нет, прекрасное слово: ста-а-арик. Емкое и многозначное. Но не всякому из моего поколения удастся действительно стать стариком. Мне, например, не удастся.

Кашен шутливо погрозил ему пальцем.

7 ноября Грамши вместе с другими делегатами пришел на Красную площадь. Всю неделю шли дожди, но в этот день, словно по заказу, дождь перестал, выглянуло солнце. Многочисленные гости заполнили специально воздвигнутую деревянную трибуну. На фоне старых кремлевских стен выделялась большая — в две сажени — скульптура рабочего у наковальни. Гостям вручали праздничный номер «Правды» на 16 страницах с иллюстрированным приложением на 12 страницах. Статьям и очеркам, призывающим к новым успехам в мирном труде, редакция предпослала набранное крупным шрифтом обращение к читателю: «Мы не старики, черт возьми! Мы только начинаем жить. Прорывом, ударом — вперед!»

Да, в этот день на Красной площади беспредельно властвовала Молодость. Молодой была Красная Армия, представители которой торжественным маршем прошли мимо трибуны, молодой энергией бурлили колонны рабочих, шествовавших через площадь до самого вечера. Железнодорожники везли макет паровоза, из его трубы валил настоящий дым, типографщики — печатную машину, прядильщицы и ткачи — ткацкий станок...

Над колонной демонстрантов проплыла гигантская галоша, изготовленная фабрикой «Красный богатырь».

Четырехметровые карандаши несли рабочие карандашной фабрики. Рабочие завода имени Владимира Ильича выехали на площадь на специальном автомобиле — формовщике торфа.

— Трудяга! — уважительно сказал по-русски кто-то на трибуне и по-французски пояснил стоящему рядом Кашену и другим членам французской делегации: — Он прибыл сюда на площадь прямо с торфяных разработок.

Труд и молодость! Молодость и труд!

9 ноября конгресс продолжил свою работу. Приехали опоздавшие итальянские делегаты. Некоторые из них уже приняли участие в стычках с фашистами. В президиуме конгресса поднялась Клара Цеткин, седая, но по-молодому энергичная:

— Мы приветствуем преследуемый и израненный доблестный итальянский пролетариат, готовящийся перед лицом белого террора к объединению своих революционных сил для новых битв с капиталом и грядущих побед... Да здравствуют итальянские коммунисты! Да здравствует итальянский пролетариат!

Через четыре дня, 13 ноября, с докладом «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» выступил Ленин. Все присутствующие — делегаты и гости — приветствовали его стоя...

«Я беседовал с некоторыми прибывшими сюда делегатами, — сказал Ленин, — и надеюсь в дальнейшем ходе конгресса хотя и не лично участвовать в нем — это, к сожалению, для меня невозможно, — но подробно поговорить с большим числом делегатов из различных стран». Последнюю часть своей речи Ленин посвятил проблеме использования русского опыта иностранными товарищами. «Они должны воспринять часть русского опыта. Как это произойдет, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем,

что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены и что их страна еще не гарантирована от черной сотни».

Параллельно с пленарными заседаниями конгресса работали комиссии, в том числе «малая комиссия по итальянскому вопросу». Прения проходили нервно и напряженно.

Для Грамши наступили крайне трудные дни. Приход фашистов к власти резко изменил соотношение сил и общую ситуацию в Италии. На одном из заседаний комиссии он прибег к образному сравнению: слить две партии — все равно что женить Джандую (одна из традиционных масок итальянской народной комедии, вроде русского Петрушки) на дочери перуанского короля. Но в Перу нет короля, нет, следовательно, и королевской дочери. Кое-кто воспринял это как шутку, которой оратор хотел разрядить обстановку. Грамши не шутил: он был убежден, что после «похода на Рим» Итальянская социалистическая партия фактически перестала существовать. Но люди, входившие в эту партию, а среди них было немало честных рабочих, остались. Их надо принять в КПИ. Против индивидуального приема многие возражали, предлагали коллективно принять социалистов в КПИ, с последующим индивидуальным отбором. Шли страстные споры. Бордига накалил атмосферу дискуссии, отказавшись войти в «межпартийную комиссию по слиянию». Человек, еще остававшийся главой Коммунистической партии Италии, уже оказался в оппозиции.

Несколько позднее в письме к Тольятти и Скоччимарро Грамши с горечью скажет, что в эти памятные полтора-два месяца ему пришлось «извиваться ужом», чтобы избежать раскола партии вдали от самой партии.

После утомительного заседания чистый морозный воздух казался особенно вкусным. Грамши неторопливо пересек двор Кремля, направляясь к выходу.

— Товарищ Антонио, здравствуйте! — окликнул его женский голос по-итальянски.

Голос показался знакомым. Неужели Юлия? Он резко обернулся. Нет, это была не Юлия.

— Не узнаете меня? Неудивительно. Ведь нас было очень много, — засмеялась женщина.

Но он уже узнал ее:

— Анна Аполлоновна, каким чудом?

— Ну, не преувеличивайте. Будто мы в вашем любимом Турине на улице XX Сентября*. Вот это было бы чудом.

— Почему на улице XX Сентября?

— А что, в Турине нет такой улицы?

— Есть.

— Именно потому. Во всех итальянских городах есть улица XX Сентября.

— Скажем, почти во всех... Все же почему вы здесь, если не секрет?

— Секрет, страшный секрет, но вам как доброму знакомому откроюсь. Группа московских артистов готовит для делегатов конгресса представление, что-то вроде политического обозрения.

— А вы?..

— Скромный помощник по музыкальному оформлению. Но вот идет вдохновитель спектакля. Разрешите, я вас познакомлю... Виктор Яковлевич, на минуту.

Стремительной походкой впереди небольшой группы людей шагал невысокий человек в кожаной куртке и

* 20 сентября 1870 года свержением в Риме светской власти папы завершилась длительная борьба за объединение Италии.

кожапой фуражке. На голос Анны Аполлоновны он обернулся и так же стремительно приблизился.

— Виктор Яковлевич Типот — наш режиссер и конферансье... Антонио Грамши...

— Можете не продолжать, Анна Аполлоновна, я знаю, кто такой Антонио Грамши! — воскликнул Типот.

— Но вы можете не знать, что Антонио Грамши несколько лет был профессиональным театральным критиком.

— Да? — оживился режиссер. — Тогда, — он перешел на певачный французский язык, — позвольте вас задержать на несколько мгновений. Пада! — Красивая стриженная блондинка со светлыми прозрачными глазами отделилась от группы. — Моя жена, Надежда Германовна. Она поможет нам объясниться.

— Мне вы не доверяете? — улыбнулась Анна Аполлоновна.

— Анна Аполлоновна, Ася!.. — укоризненно воскликнул энергичный «кожаный режиссер», как его мысленно окрестил Грамши. — Нам еще понадобится Ильинский. Игорь Владимирович! — Подошел молодой человек. — Наш Ллойд Джордж, — представил его режиссер.

Молодой человек улыбнулся открытой, обаятельной улыбкой. Грамши, тоже смеясь, развел руками.

— Мое замечание, может быть, неуместно, по Ллойд Джордж... чуть постарше. Ему, пожалуй, за шестьдесят...

— Пятьдесят девять, — уточнил режиссер. — Это не имеет значения. Правда, Игорь Владимирович?

Молодой человек кивнул. Лицо его мгновенно изменилось. Перед Грамши стоял пожилой человек, даже без грима чем-то похожий на Ллойд Джорджа.

— Удивительно! — воскликнул Грамши. — Я видел и даже немного изучал технику перевоплощения Руджеро Руджеро. И писал о нем. Впрочем, имя это вам ничего не говорит.

— Мне пришлось читать о труппе Руджеро Руджеро, — вежливо заметила Надежда Германовна.

— Вот видите! Значит, не я его выдумал, — Грамши шутливо поклонился Надежде Германовне. — Как вам все-таки это удалось? — спросил он молодого актера.

— Тренаж, фотографии Ллойд Джорджа и слова тренаж, — вмешался режиссер. — Но маперы, речь, походка... Ведь мы никогда не видели Ллойд Джорджа. Если бы вы помогли...

— Видел я его только раз, на открытии Генуэзской конференции. Но расскажите о замысле.

— Да-да, вот брошюра. Текст переведен на немецкий, английский, французский. На итальянский не успели, извините.

Грамши с любопытством перелистывал тоненькую брошюру.

«Дорогие товарищи! Мы хотим перед спектаклем сказать Вам несколько слов, но на репетиции так охрипли, что вынуждены прибегнуть к великому рупору — печатному станку, для того чтобы кое-что напомнить, кое-что обещать и кое-что разъяснить...»

Обозрение называлось «Милые разговоры» и забавно пародировало политические события в Европе. Фамилии молодых актеров: Ильинский, Гаркави, Рина Зеленая, Вера Инбер, которая выступала как соавтор обозрения и исполняла роль девочки, ничего Грамши не говорили. Но энтузиазм и задор участников подкупал. Улыбаясь, вернул брошюру.

— Чем же я могу быть полезен?.. Некоторые детали... Говорит Ллойд Джордж плавно, даже медленно, но обладает молниеносной реакцией на реплики. Ответы его обычно вызывают смех, оратор тут же становится серьезным... Что еще? Есть у него, я бы сказал, сознательная агрессивность речи, оттенок, не свойственный английским дипломатам. Может грохнуть кулаком по столу или

кафедре, затем сразу перейти к шутке. Пожалуй, все... Нет, однажды я прочитал у какого-то английского дипломата, что Ллойд Джордж слишком непостоянен, чтобы быть надежным товарищем в охоте на тигра. Впрочем, замечает дипломат, поведение Ллойд Джорджа на охоте будет зависеть от ценности добычи. Если ему покажется, что тигр стоящий, то вряд ли найдется более ловкий и страстный охотник. Но если Ллойд Джордж почему-либо вообразит, что преследуемый тигр смахивает скорее на дворняжку, то никакой добычи не будет, а товарищу по охоте не поздоровится... Одним словом, постарайтесь сыграть остро и умно, чтобы тигры были тиграми, а дворняжки — дворняжками. Желаю успеха.

— Спасибо, огромное спасибо.

Актеры, предводительствуемые режиссером, ушли. Анна Аполлоновна порылась в сумочке и извлекла газетную вырезку.

— Из нашего «Рабочего края». Юлия просила передать. Перевести вам?

— Нет. Может быть, отдельные слова. Прочтите вслух, только не спешите.

— Хорошо. «Впечатления с IV конгресса Коминтерна».

Грамши советует им (делегатам конгресса) поехать в Иваново: «Там и увидите, — говорил он, — рабочих-коммунистов, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Это... интернационалисты. Я никогда не забуду партийного собрания на фабрике Куваева. Впечатление от него останется на всю жизнь».

Подпись: «В. Деготь — ивановский рабкор».

— Неутомимый Владимир Деготь! — улыбнулся Грамши. — Благодаря ему я становлюсь знаменитым. Поблагодарите вашу сестру за вырезку.

Анна Аполлоновна положила руку на плечо Грамши.

— Приезжайте в Иваново-Вознесенск, Антонио. Мы все вас ждем.

Вместе с делегатами конгресса Грамши смотрел сатирическое представление, не без удовольствия про себя отметил, что его «режиссерские советы»годились.

На заключительном заседании конгресса Грамши был избран членом Исполкома Коммунистического Интернационала.

Сотрясая своды Андреевского зала Кремля, гремит «Интернационал». Допета последняя строфа, делегаты не хотят расходиться. У каждой страны есть еще и свои песни, зовущие в бой. Громче всех на многих языках звучит популярная итальянская «Бандьера Россса»!

Аванти пополо, а ля рискосса,
Бандьера россса, бандьера россса!
Ты, знамя красное, свети, как пламя,
Свободы знамя, свободы знамя!

4

«Дорогой мой товарищ, через несколько дней я выеду из Москвы в Италию вместе с Комиссией по слиянию коммунистической и социалистической партий... Я рад, что смогу возобновить революционную работу в такой трудный и трагический для пролетариата момент — момент своеобразный с точки зрения тактики и взаимоотношений между различными пролетарскими течениями и между отдельными лицами...»

До отъезда я отправлюсь в Серебряный бор — провести денек с товарищем Евгенией. Твердо надеюсь, что все мы увидимся в Италии. Товарищ Евгения поправится, и вы сможете сопровождать ее в Италию; будем работать вместе. Или же все это окажется лишь маленьким воздушным замком, искусственно построенным в дни вынужденного бездействия?.. Кто знает, мир велик и грозен — может быть, мы встретимся в Пекине, в Лхасе, в Нью-Йорке, в Сиднее?..»

Тишину комнаты разорвал протяжный звук: собирались бить большие напольные часы — наследие старого гостиничного уюта. Первое время часы раздражали Грамши, даже будили среди ночи, потом привык. Другой Грамши шутливо уверял, что каждые часы имеют свою индивидуальность. Например, его часы — тугодумы, но раз приняв решение, действуют очертя голову... Скрежет перешел в пыхтение, короткая пауза — и часы начали бить торопливой захлебывающейся скороговоркой. Двенадцать ударов. Полночь... В Иваново-Вознесенске, наверное, уже спят: там рано ложатся, рано встают... Через несколько дней утром почтальон принесет письмо. Юлия вскроет конверт, вынет этот листик бумаги, и морщинка перечертит ее чистый лоб. Морщинка, которая может быть и раздумчивой и насмешливой. Что и говорить, Лхаса — город на макушке высокогорного Тибета, куда и не во всякое время года можно забраться, — просто идеальное место для встречи двух сердец!.. Как трудно снять с себя привычную броню иронии...

«Хотел бы написать вам кучу всяких вещей. Не решаюсь; одну вы, может быть, угадаете. Сказать было бы легче...

Открываю в себе, которого считал совершенно черствым и высохшим, малепький родничок (маленький-маленький) меланхолии и лунного сияния в темно-голубом венце.

Дружески жму руку

Грамши».

В один из ближайших дней, как обещал, поехал в Серебряный бор. Накануне шел снег и толстой белой пеленой покрыл все окрест. Антонио пробирался к зданию санатория, осторожно нащупывая ногами невидимую под снегом дорожку.

— Антонио!..

Вздрогнул от неожиданности. Неужели свершилось

маленькое чудо, Юля здесь? Порывисто кинулся вперед и... провалился в снег по пояс. Раздался веселый женский смех.

— Держитесь, Антонио, сейчас мы снарядим за вами спасательную экспедицию.

Нет, не Юлин голос. Смеялись Женя и ее соседка по палате, большеглазая, совсем еще девчонка, чем-то напоминавшая Антонио его младшую сестру Терезину.

«Спасательная экспедиция», вооружившись деревянными лопатами, действительно готовилась спасти утопающего в снегу. Этого допустить было нельзя. Грамши ринулся вперед, разрывая руками и грудью мягкий пушистый снег, и через минуту очутился на расчищенной площадке перед входом в санаторий.

— Ну что мне с вами делать,— укоризненно говорила Женя, отряхивая снег с пальто Грамши.— Так и простыть недолго. Придется пожаловаться Юльке.

— Женя, неужели вы способны ябедничать? Нет, не верю.

— В дом, в дом... Пужно обсохнуть. Куда лучше? В красный уголок. Там тепло. Не забыли дорогу?

— Не забыл,— усмехнулся Грамши и, когда они вошли и сели, сказал: — Я ведь пришел попрощаться.

— Едете? В Италию? Рада за вас, Антонио. Наверное, вы счастливы?

— Счастлив ли я? Да, счастлив. Хотя впереди трудные дни. Но сегодня, не знаю почему, мне кажется — я все могу.

— Вы полюбили, Антонио, вот в чем причина,— тихо сказала Евгения Аполлоновна.

— Пойдемте гулять, хорошо?

— А вам можно?

— Сегодня мне все можно.

В заснеженном подмосковном лесу было необычайно красиво. Но Евгения Аполлоновна двигалась с большим

трудом, и Грамши предложил далеко не ходить, а вылепить снежную бабу.

— Вы умеете, Антонио?

— Я знаю, как это делается,— уклончиво ответил Грамши. Но баба не хотела лепиться. Тогда Грамши развел на бугре костер, «чтобы подогреть снег», объяснил он. Образовалась небольшая проталина, вокруг костра снег потемнел и уплотнился.

— Ура, весна! Мы поторопим весну!.. Может быть, вы волшебник, Антонио?

— Почему бы и нет? — Грамши бросил в костер корягу. Посыпались искры. С бугра медленно заструился ручеек талой воды.

— Когда вы едете, Антонио?

— Скоро, очень скоро.

Даже волшебники ошибаются. Отъезд по ряду политических причин откладывался. Прощальное письмо, посланное Юлии Аполлоновне 10 января, оказалось не последним и не прощальным: были еще встречи, были письма.

«Москва, 13 февраля 1923 г.

Дорогая,

я не уверен, смогу ли я в воскресенье приехать к вам. Нас то и дело созывают, в самые немислимые часы, и мне было бы очень неприятно пропустить собрание, не имея возможности оправдать свое отсутствие. Очень хочу приехать. Хотелось бы столько сказать вам. Но сумею ли? Часто спрашиваю себя об этом, обдумываю планы длинных речей. Но когда я подле вас, забываю все. А между тем это должно бы быть так просто. Просто, как просты мы сами, или как я, во всяком случае. Вы ошибаетесь, когда ищете в моих словах что-то сложное, какой-то особый смысл. Нет-нет, слова правильно отражают очень спокойное, умиротворенное душевное состояние.

Я люблю вас и убежден, что вы меня любите. Правда, уже много-много лет я приучил себя думать, что не могу быть любим никем, что это абсолютно, почти фатально невозможно. Слишком долго это убеждение было средством самозащиты, желанием избежать новых обид и огорчений. Десятилетним ребенком я начал думать так... Мне приходилось терпеть такие лишения, а здоровье у меня было такое слабое, что я убедил себя в том, будто я — подкидыш, непрошенный гость в собственной семье. Такие вещи не забываются легко, они оставляют более глубокий след, чем можно предполагать. Все мои чувства точно отравлены глубоко укоренившейся привычкой так думать. Но сейчас я почти не узнаю себя, настолько я изменился, и поэтому мне странно, что вы замечаете и придаете значение нервным жестам и маленьким вспышкам, которые не зависят от меня и носят, может быть, чисто физический характер. Я люблю вас. Почему вы говорите: «Слишком скоро»? Почему вы говорите, что моя любовь — это нечто существующее вне вас, не касающееся вас? Что за путаница, что за чепуха? Я не мистик, а вы не византийская мадонна. Советую вам считать до десяти тысяч всякий раз, когда понадобится очищать свои мысли от подобной чепухи и абракадабры.

Мы сильны и любим друг друга. И мы простые, и все в нас естественно. И прежде всего мы хотим быть сильными и не хотим тонуть в сладчайших психологических интригах в духе Матильды Серао. Мы хотим быть духовно сильными, и простыми, и здоровыми и просто любить друг друга именно потому, что любим, а это самый прекрасный, и самый большой, и самый сильный довод на свете».

«Москва, август 1923 года.

...Скоро ли вы приедете? Смогу ли я еще увидеть вас? Помнится, вы возьмете отпуск в сентябре, не так ли?

Я жду... может быть, пробуду в Москве еще неделю, может быть, месяц, может быть, мы сможем поболтать несколько часов и даже совершить вместе несколько долгих прогулок...»

Под косыми лучами еще по-летнему жаркого солнца отливает золотом пожелтевшая листва лип Нескучного сада. Аполлон Александрович объяснил, что одно из древнерусских названий сентября — «руен» — связано с желтым цветом осени, другое — «хмурень» — с ранним наступлением сумерек. По приметам осени, сказал Аполлон Александрович, в народе судят о зиме. Вот этот дуб, например... Народная примета: «Много желудей на дубу — к лютой зиме».

Теплый день был янтарно чист, в «лютую зиму» как-то не верилось.

Обычно они бродили по Москве вдвоем. Но в поездке на выставку к ним присоединился и Аполлон Александрович.

Первая сельскохозяйственная и кустарно-промысловая выставка СССР! Менее чем за год на территории, охватившей площадь огородов у Крымского моста, Нескучный сад и часть Воробьевых гор, возникло «чудо»: около двухсот павильонов, десятки агротехнических опытных участков, действующая гидроэлектростанция — кусочек ленинского плана ГОЭЛРО и еще многое, о чем три-четыре года тому назад можно было только мечтать. И люди, сотни людей в национальных костюмах: в полосатых халатах и черкесках с газырями, в тюбетейках и папахах — представители чуть ли не всех народов Советского Союза, перенесшие на выставку принадлежности и обстановку своего быта — двугорбых верблюдов, быков, упряжных собак, юрты, арбы, кибитки, нарты... А над всем этим пестрым табором кружился маленький аэроплан на поплавках.

Покинули выставку оглушенные увиденным.

— Великое дело! Старая и новая Россия! Великое дело! — твердил Аполлон Александрович. — Вы, дети, еще погуляйте, а я, пожалуй, поеду домой.

...Они выбирали интересные маршруты, чаще не выбирали, а просто шли. И это было самое интересное...

Московской осенью 1923 года Антонио Грамши и Юлия Шухт стали мужем и женой.

5

«1923 год — это черный год, самый тяжелый год для партии». Так позднее, с учетом исторического опыта, Луиджи Лонго оценит положение Итальянской коммунистической партии после фашистского переворота. Уже в начале 1923 года фашистское правительство предприняло «массовую облаву» — организованное преследование коммунистов. В течение одной недели полиция арестовала более пяти тысяч членов коммунистической партии: секретарей федераций, профсоюзных организаторов, работников местных органов управления. Четвертая часть итальянских коммунистов оказалась в тюрьме. Кризис усугублялся отсутствием единства в руководстве. Разногласия касались почти всех вопросов тактики и стратегии. «Мы сознаем, что слабы и можем быть потоплены, — с присущей ему трезвостью в оценке ситуаций пишет Грамши Тольятти. — Мы отрываемся от масс: между нами и массами образуется облако недоразумения, непонимания, сложных постоянных раздоров».

Коммунистическая партия Италии возникла в 1920—1921 годах, в ситуации, считавшейся революционной. Ситуация резко изменилась. Нужно было преодолеть различие между обстановкой, в которой партия создавалась, и обстановкой, в которой ей приходилось действовать, преодолеть догматизм мышления, строить политику партии

не на отработанных тактических приемах, а исходя из реальности сегодняшнего дня. Историческая миссия вывода партии из кризиса выпала на долю Грамши. «Черный год» стал для него и годом становления как признанного руководителя, вождя. «Его руководство помогало преодолевать неуверенность и нерешительность,— много лет спустя напишет в своих воспоминаниях Камилла Равера,— он призывал вести активную политику, сообразуясь с существующей в стране обстановкой. Грамши вновь зажег всех желанием любым способом развеять черный мрак, окутавший страну, и начать открытую борьбу».

Вряд ли можно ограничить рамками одного черного года раздумья Грамши, поиски верного пути, приведшие к разрыву с Бордигой, с риском даже остаться в изоляции. Но то, что тяжесть раздумий легла именно на этот год, вне всяких сомнений.

30 мая, просматривая газету «Правда», Грамши обратил внимание на статью В. И. Ленина «О нашей революции (По поводу записок Н. Суханова)» и попросил перевести ее на итальянский язык. Отраден был сам факт появления статьи, одной из немногих, написанных Лениным после очередного приступа болезни в декабре прошлого года. Однако к этой статье у Грамши был особый интерес. Он знал примерно содержание книги Н. Суханова, опубликованной в прошлом году в Берлине, и, разумеется, хотел узнать точку зрения Ленина по затронутым в книге вопросам. Перевод небольшой статьи Грамши получил к вечеру, уже собираясь уходить, не присаживаясь, заглянул в текст... и прочитал до конца с ощущением, будто он продолжает беседовать с Лениным в его кабинете в Кремле.

«Слов нет,— писал Ленин,— учебник, написанный по Каутскому, был вещью для своего времени очень полезной. Но пора уже все-таки отказаться от мысли, будто

этот учебник предусмотрел все формы развития дальнейшей мировой истории. Тех, кто думает так, своевременно было бы объявить просто дураками».

Еще свежи были в памяти дискуссии недавно закончившегося конгресса Коминтерна, к его материалам, в первую очередь к тезисам о тактике, приходилось обращаться повседневно. И Грамши подумал, как благотворно влияние Ленина сказалось на решениях конгресса. «Опасность фашизма имеется сейчас во многих странах», — предупреждал конгресс.

Но беда в том, что некоторые деятели Коминтерна ошибочно рассматривали фашизм как этап в назревании пролетарской революции. И хотя эта точка зрения была опровергнута, делегаты отдельных компартий продолжали упорствовать. Бордига, например, сказал, что фашизму «нет необходимости уничтожать демократические учреждения». Фашисты очень просто доказали Бордиге ошибочность его теоретических построений: как только Бордига после конгресса вернулся в Италию, они его... выследили и арестовали.

Это, так сказать, настоящее, сегодняшнее. А будущее? Все серьезнее задумывается Грамши над проблемой революционной перспективы. Три года спустя, на последнем перед арестом выступлении в ЦК коммунистической партии Италии он даст оценку политической ситуации в стране:

«Хотя и верно, что с точки зрения политики вслед за фашизмом может прийти диктатура пролетариата, поскольку ни одна другая партия или промежуточная коалиция не в состоянии удовлетворить даже минимум тех экономических требований трудящихся, которые внезапно будут выдвинуты ими в случае взрыва существующих отношений, нельзя быть уверенным и нельзя даже считать вероятным, что переход от фашизма к диктатуре пролетариата произойдет в ближайшее время».

Позднее, уже в тюрьме, он будет продолжать думать над этой проблемой. И скажет своим товарищам: «Фашизм снова загнал пролетариат и весь итальянский народ на самые отсталые позиции... Революционных перспектив в Италии только две, то есть более вероятная перспектива или менее вероятная перспектива. По-моему, наиболее вероятная перспектива — промежуточный период, поэтому к этой цели должна быть направлена тактика партии, без боязни показаться недостаточно революционной».

Исторический прогноз Грамши оправдался в послевоенной Италии, сохранил свою остроту и в наши дни, когда в 70-х годах рухнули наконец фашистские режимы на Пиренейском полуострове.

...Небольшая статья, написанная по частному поводу, поднимала очень большие вопросы: она требовала от революционеров-марксистов гибкости мышления и умения учитывать своеобразие обстановки.

В июле 1923 года в Риме начался первый (за ним последуют и другие) процесс над Коммунистической партией Италии. Один из обвиняемых по процессу заочно — Грамши. Его это не очень беспокоит. Несравненно тревожнее то, что фашизм из итальянской проблемы становится вопросом международным, затрагивающим судьбу ряда стран.

Путь на родину пока закрыт. Товарищи просят Грамши перебраться поближе к Италии. «Нам нужно, чтобы твое руководство вновь сильно дало себя почувствовать», — пишет другу Тольятти.

В конце ноября 1923 года Грамши переезжает в Вену.

Еще в Москве из газет он узнал о фашистском путче в Мюнхене. Путч провалился, главари — некий Адольф Гитлер и другие — будут преданы суду. Казалось, инцидент исчерпан. Однако фашистская демонстрация в сто-

лице Баварии произвела на Грамши сильное впечатление, в Вене он надеялся узнать подробности. К его удивлению, австрийские товарищи отнесли к мюнхенским событиям проницательно, называя их «опереточными». В веселом музыкальном жанре венцы знали толк, но жизнь — не театр. В Вену приехал известный немецкий адвокат и социал-демократический деятель. Грамши заинтересовался его мнением о путче. Адвокат, пожав плечами, ответил, что Адольф Гитлер с его бандой недооценили силу немецкой демократии и понесут ответ по параграфу 81 германского уголовного кодекса о наказаниях, предусматривающему пожизненное заключение за попытку насильственным путем изменить конституцию германского государства. «Не забывайте, Германия — не Италия!» — заключил адвокат.

Процесс в Мюнхене действительно состоялся. Странный процесс. Когда в зал входил обвиняемый генерал Людендорф, один из главарей путча, часовые брали «на караул». «Мировая история оправдает меня», — заявил Гитлер в своем последнем слове. Не было пужды беспокоить мировую историю: суд оправдал Людендорфа, остальных обвиняемых приговорил к заключению от одного до пяти лет условно.

...Веселая Вена встречала рождественские праздники. Займ, полученный от Антанты, принес временное оживление экономики, стоило ли думать о том, что уже в будущем году кризис и сопутствующая ему безработица неизбежно вспыхнут с новой силой. И даже гадалки — профессия в послевоенной Вене популярная и уважаемая — не могли предположить, что всего через полтора десятилетия произойдет аншлюс: Гитлер насильственно включит Австрию в состав фашистской Германии.

Дел у Грамши было невпроворот. В таких случаях говорят: и скучать некогда. Но он скучал по жене. Очень скучал. Юлия Аполлоновна пока осталась в Москве.

«Вена, 1.1.1924 г.

Дорогая моя,
что принесет нам Новый год? Сможем ли мы побыть немного вместе, наслаждаясь встречей, смеясь над всем и вся (за исключением, разумеется, серьезных вещей, которых, однако, в этом большом и грозном мире совсем немного)?

Получил твое письмо. Здесь тоже наступила зима, на улицах лежит снег. Пейзаж — наметенные ветром сугробы — напоминает мне солеварни Кальяри и тамошних людей, занятых каторжным трудом. Но насколько Вена скучнее и печальнее Москвы. Здесь нет саней, которые весело и звонко бороздят белизну улиц, — одни лишь трамваи гремят... Работаю довольно много: вновь привыкаю работать методически, долгие часы просиживаю за письменным столом.

...Обнимаю тебя нежно-нежно».

6

Холодным январским утром Грамши, как обычно, отправился по делам. У газетного киоска выстроилась очередь, картина для Вены невероятная. Люди совали киоскеру мелочь, брали газету и, торопливо разворачивая свежие типографские листы, уходили в сторону.

— Что случилось? — спросил Грамши у стоявшего перед ним старика в маленькой тирольской шляпе, из-под которой свисали седые пряди волос.

Старик получил у киоскера свою газету, отошел в сторону и снял свою кургузую шляпу. Холодный ветер шевелил его седые пряди.

— Умер Ленин, — ответил кто-то из очереди.

Умер Ленин! Да, газетное сообщение не оставляло никаких сомнений. Лепина нет в живых. Нет в живых че-

ловека, в имени которого для широких масс воплотилась Революция.

Первый номер возобновляемого журнала «Ордине нуово» будет посвящен Ленину, тут нет двух мнений. Грамши набрасывает план номера: передовая статья — попытка создать образ Ленина — революционного вождя, краткая биография Ленина, его высказывания об Италии. Еще обзор книг и брошюр Ленина, опубликованных на итальянском языке, — это сделает Пальмиро. Времени в обрез, Грамши садится за работу.

...Ленин об Италии. Ограничим материал 1920 годом, для журнала иначе нельзя... Да, но лето 1921 года, III конгресс Коминтерна! Как ждал он тогда в Турине материалов конгресса. «Мы никогда не хотели, чтобы Серрати в Италии подражал русской революции. Это было бы глупо..., — сказал Ленин. — Рабочие массы в Италии запутались сейчас, и им пойдет на пользу, если мы им скажем: «Выбирайте, товарищи, выбирайте, итальянские рабочие, между Коммунистическим Интернационалом, который никогда не потребует, чтобы вы рабски подражали русским, и между меньшевиками...»» Великий пример Октября не означает копирования, слепого подражания, ибо подражание — антитеза подлинного творчества.

Одновременно с раздумьями о Ленине и его роли в истории общества Грамши выдвигает перед друзьями-единомышленниками конкретные задачи сегодняшнего дня. Задачи эти: партия!.. Партия!.. И еще раз — партия!

«Вена, январь 1924.

Дорогой Урбани,
...мы переживаем сейчас момент большого исторического поворота итальянского коммунистического движения. Это момент, когда необходимо с большой решимостью и большой точностью заложить новые основы для развития партии...»

«Урбани» — Умберто Террачини, «Негри» — Мауро Скоччимаро. Через два месяца письмо Тольятти он адресует «товарищу Эрколи», в этом письме он еще называет старого друга, как в давние студенческие времена.

«Вена, 27.1.24.

Дорогой Пальми,

...я убежден в том, что положение нашей партии с точки зрения легальности будет становиться все более серьезным... Создать хороший технический аппарат, поставить во все его звенья подобранных людей с большим опытом, дисциплинированных, готовых к любым испытаниям, обладающих необходимым хладнокровием для того, чтобы не терять голову ни при каких обстоятельствах — становится для нас вопросом жизни или смерти. Для того, чтобы достичь этого, необходимо... покончить с безответственностью, с отсутствием точного и четкого распределения обязанностей... Партия должна быть централизованной, но централизация означает прежде всего организацию и представление о рамках возможного. Она означает, что, когда решение принято, оно не может быть изменено никем, включая даже тех, кто имеет прямое отношение к центру...»

Мыслями о работе, о Ленине Грамши делится с самым близким человеком — с «дорогой, милой, любимой Юлькой». В письме рассказывает ей случай, который произошел в одной итальянской деревне: «...для широких масс Революция воплощается в несколько имен, которые словно выражают все надежды и всю боль угнетенных рабочих. В одной итальянской деревне произошел такой случай: через три дня после смерти Ленина умер сельскохозяйственный рабочий... который вместе со своим товарищем по работе вынужден был записаться в фашистский синдикат. Он завещал похоронить себя в красной одежде и положить на грудь надпись: «Да здравствует

Ленин!» Ленин умер, и он хотел быть похороненным таким образом. Товарищи по работе проводили его ночью на кладбище и спели над его могилой «Интернационал». Могильщик донес об этом факте, и фашисты распустили все свои местные организации, которые в большинстве состояли из бедных революционно настроенных крестьян, изолированных и запуганных дубинками». История эта, считает Грамши, несет большой смысл. Для народа Италии Ленин — символ революции.

В следующем письме он спрашивает жену: «Можешь ли прислать мне вырезки — лучшие страницы, посвященные смерти Ленина? Видишь, я считаю тебя сильной, раз прошу работать для меня».

Вырезки нужны для работы. Но ему дорого и то, что вырезки он получит от нее, от Юльки. Он уговаривает молодую жену быть сильной, в каждой строке его письма — горечь разлуки.

«6.3. 1924 г.

Моя любимая,
мне хотелось бы поцелуями осушить твои слезы, которые я, кажется, вижу, кажется, чувствую на своих губах, как бывало порой, когда мой несносный характер заставлял тебя плакать. Вся эта взаимная боль, взаимные мучения происходят оттого, что мы далеко друг от друга и не можем так жить. Но ты слишком отчаиваешься. Почему? Ты столько раз обещала мне быть сильной-сильной, и я верил тебе, и сейчас тоже верю, что ты сильна, — больше, чем сама думаешь. Часто ты бываешь сильнее меня, только я с детских лет жил замкнуто и приучился прятать свои переживания под маской грубости или иронической усмешки — вот и вся разница. Долгое время это причиняло мне боль, долгое время мои отношения с другими людьми были невероятно сложными: каждое подлинное чувство я преувеличивал или преуменьшал в семь раз, чтобы

другие не угадали, что я на самом деле чувствую. Что же спасло меня и не дало окончательно превратиться в накрахмаленную тряпку? Инстинктивное чувство возмущения, которое у меня вызывали богачи, потому что я не мог продолжать учения — я, получавший самые высокие баллы по всем предметам в средней школе, — а перед сыновьями мясника, аптекаря, владельца мануфактурной лавки были открыты все двери. Это чувство возмущения я распространил потом на всех богачей, которые угнетали крестьян в Сардинии, и тогда я начал думать, что надо бороться за национальное освобождение острова. «Сбросить в море всех, кто с континента!» — сколько раз повторял я эти слова. Позднее в одном промышленном городе я узнал, что такое рабочий класс, и понял истинный смысл произведений Маркса, которые прежде читал из любопытства. И тогда я *страстно привязался к жизни, к борьбе, к рабочему классу...* Ты вошла в мою жизнь и дала мне то, чего мне всегда недоставало и без чего я так часто бывал недобрым и упрямым...

Вся кровь бросилась мне в лицо, когда я читал твое письмо. Ты знаешь почему. Но ты написала так туманно, а я томлюсь желанием обнять тебя и тоже почувствовать новую жизнь, которая соединит наши жизни еще крепче, чем сейчас, о моя любовь, моя дорогая-дорогая.

Я получаю сейчас массу писем от итальянских товарищей. Как много они требуют от меня! Им кажется, что я — неисчерпаемый источник веры, энтузиазма, воли, силы. А они в Италии, в самом огне борьбы, и — деморализованы, растеряны. От меня слишком многого требуют, слишком многого ждут, и это угнетает меня. За последние месяцы положение в партии резко ухудшилось. Бордига удалился на Авентин, и его позиция вызвала разлад в партийной жизни. Кое-кого мне удалось вовремя спасти от таких настроений, но достаточно ли этого?

В нашей партии все молоды, и годы реакции распатали всем нервы. А я сам столько времени болел и сейчас еще не вполне поправился. Ведь и моя жизнь два года висела на волоске, и, когда я приехал в Москву и почувствовал себя спокойным и вне опасности, — я немедленно свалился. Сейчас мне надо быть исключительно сильным, но что делать, когда мне так не хватает тебя: ведь ты часть меня самого. Приезжай, приезжай, Юлька, хотя бы ненадолго, только бы я опять почувствовал тебя рядом — тогда я смогу работать с огромным подъемом, лучше, чем мне до сих пор удавалось...

Г.»

В небольшую страну, граничащую с Италией, юго-западный ветер приносит дыхание его родины. Но Италия все еще недосыгаема.

1 марта 1924 года возобновляется издание журнала «Ордине нуово». Передовую статью журнала Грамши назвал коротко и выразительно: «Вождь». «Международный пролетариат имел и имеет живой пример революционной партии, которая осуществляет диктатуру класса, — писал Грамши, — он имел, но, к несчастью, теперь уже не имеет самого характерного живого примера, каким должен быть революционный вождь, — товарища Ленина... Разве случайно он стал вождем большевистской партии? Разве случайно большевистская партия стала руководящей партией русского пролетариата, а затем — всей русской нации? Процесс отбора, приведшего к этому результату, длился тридцать лет, он был очень трудным... выдержать его — значило суметь не поддаться ни упадку духа, ни спесивому высокомерию, значило страдать от голода, имея в распоряжении миллионы золотом, значило сохранить душу простого рабочего на троне царей, значило не отчаиваться, когда все казалось потерянным, — но начинать все сначала, терпеливо, упорно, сохраняя полное хладнокровие и улыбку на устах, когда другие теряли голову».

Главная мысль первого возобновленного номера «Ордине нуово»: ленинизм включает в себе собственную концепцию мира, без которой сегодня уже нельзя понять Маркса! Жизненность марксизма — в его творческой сущности, в непрерывности развития. В мире происходят мощные общественные социальные и экономические сдвиги, наука открывает невиданные горизонты, но творческий марксизм остается безошибочным методом, инструментом высшей точности, который позволяет проникать в будущее.

Жизнь Грамши в Вене пасыщенна. Но он по-прежнему тоскует по своему «дорогому товарищу». Неужели Юлия не может приехать в Вену... «Твоя работа,— пишет он жене,— не будет бесполезной, как раз наоборот — думаю, что с революционной точки зрения она будет гораздо полезней той, что ты делаешь сейчас: сколько начинаний, сколько дел можно было бы осуществить вместе. Это должно бы придать тебе энергии и решимости. Уверяю тебя, впрочем, что, если бы речь шла только о нашей любви, я не стал бы так настаивать. Но наша любовь должна быть чем-то большим, она должна быть сотрудничеством, объединением духовных сил для борьбы, а, быть может, счастье именно в этом и состоит. Обнимаю тебя нежно-нежно.

Г.»

Нет, Юлия действительно не может приехать. Против этого возражают врачи: молодая женщина ждет ребенка.

«Вена, 13.4.1924

Дорогая,

...теперь больше, чем когда бы то ни было, я хочу быть сильным, потому что хочу быть достойным твоей любви, и это стремление отражается на всей моей деятельности. Мы хотим, чтобы наши дети жили в свободном и прекрас-

ном мире, и будем бороться за это так, как мы еще никогда не боролись, с изобретательностью, какой у нас еще не было, с упорством, с энергией, которая опрокинет все препятствия. Пиши мне много. Если бы я мог быть с тобой через месяц... Может быть, однако, так и будет.

Крепко целую тебя.

Г.»

Под Москвой, в Серебряном бору, он подобрал и сунул в карман словую шишку. Крепкая, глянцевитая, она всю зиму лежала на письменном столе в Вене, напоминая о лесе. Однажды он заметил на столе возле шишки несколько желтых лепестков. Двумя пальцами осторожно приподнял шишку, из нее посыпались прозрачные лепестки с маленьким коричневым семечком на конце каждого. Достаточно было слегка взмахнуть рукой, и по комнате поплыли маленькие прозрачные крылышки. Она раскрылась, чтобы дать жизнь молодым побегам.

Глава третья

УБИЙСТВО ДЕПУТАТА МАТТЕОТТИ

1

Ночью он просыпался словно от толчка с мыслью: «Надо ехать».

Но ехать в Италию значило обречь себя на тюремное заключение: еще год назад фашистские власти выдали ордер на арест коммунистического лидера.

Что же делать? В иные минуты Грамши склонялся к решению пробраться на родину под чужой фамилией. Товарищи решительно возражали. Для Грамши с его характерной внешностью перевоплощение было невозможно.

Он мог наклеить усы, бороду, изменить цвет волос, сделать все что угодно, и тем не менее каждый встречный обязательно скажет: «Это Антонио Грамши».

Выхода не было. Но выход нашелся.

Итальянцы — свободолюбивая нация. Борцы против тирании за справедливость издавна пользуются в народе глубоким уважением. И когда они изгонялись правительством за пределы страны или заключались в тюрьмы, народ оказывал этим людям высокое уважение, избирая их в парламент. Так повелось еще в XIX веке. Благородная традиция, к счастью, подтвержденная законом. Избирание давало свободу и неприкосновенность.¹

Коммунистическая партия выдвинула своих депутатов в парламент. Грамши — по округу Венето.¹

6 апреля 1924 года Грамши был избран. Политический изгнанник, подлежащий немедленному аресту и тюремному заключению, стал онореволем*, то есть достопочтеннейшим. Впрочем, сам Грамши уже тогда, как это подтверждают его письма, знал цену «депутатской неприкосновенности» при фашизме.

Первую в условиях фашизма конференцию итальянских коммунистов решили провести в горах у озера Комо. Для делегатов сняли комнаты в уединенной гостинице. Комо — озеро у подножия Альп — вытянулось в длину километров на пятьдесят, но неширокое. Зато глубина его превышает полкилометра. В прозрачную голубизну озера смотрят горы, покрытые зеленью оливковых деревьев и каштанов. Все это привлекает сотни туристов. Гостиница оказалась не такой уединенной, как хотелось организаторам конференции.

Когда делегаты вернулись после совещания и сели обедать, то увидели каких-то бравых молодцов с рюкзаками, они горланили фашистские гимны, да так громко,

* Онореволем — обращение к депутату парламента Италии.

будто находились не в тесном помещении, а на площади. Пришлось назваться служащими из Милана, приехавшими на три дня полазить по горам и повеселиться. Каждое утро после завтрака делегаты действительно отправлялись в горы. Там, на лужайке, покрытой, словно снегом, белыми нарциссами, происходили заседания. Наткшись на лужайку туристы, они бы увидели обычный пикник горожан, вырвавшихся на лопо природы. Во всем прочем, кроме нарциссов и выставленной напоказ различной снэди (после заседаний гастрономическую бутафорию убирали до следующего дня), конференция совсем не походила на пикник. Столкновение мнений. Полемика. Борьба.

На конференции были представлены три проекта тезисов: тезисы, разработанные Грамши, Тольятти, Равера и другими, тезисы Бордиги и тезисы Таски. Полемизируя с Бордигой, Грамши подчеркнул необходимость борьбы партии за завоевание большинства пролетариата.

Семь членов ЦК проголосовали за тезисы группы Грамши. Тезисы ломали некоторые установившиеся схемы, намечали новые формы партийной работы.

Четыре члена ЦК проголосовали за тезисы Таски, один — за тезисы Бордиги. Но голосование руководителей федераций принесло иной результат: 39 секретарей федераций проголосовали за тезисы Бордиги, они были более привычны и доступны. Организационных последствий голосование не имело: конференция в Комо носила консультативный характер. Однако Тольятти был озабочен и огорчен. Грамши к результатам конференции отнесся спокойно.

— Все это можно было предвидеть, — заметил он. — Конференция стала первой и необходимой встречей и столкновением, исходным рубежом в деле, которое мы будем проводить в партии. Надо было получить ясное и четкое представление о ситуации, в которой нам придется работать.

Друзья поняли, в чем изменился Грамши. Окрепла спокойная уверенность. Внутренняя сила, она всегда была в нем, стала более зрелой, более целеустремленной. Пребывание в Москве, опыт работы в Коминтерне не прошли даром.

2

Открылись заседания вновь избранного парламента. Грамши поторопился в Рим. Надо было устраиваться прочно, не на неделю-другую. Друзья нашли меблированную комнату, как уверяли они, удобную во всех отношениях. Ехали на неторопливом римском извозчике долго; по широкой виа XX Сентября, пересекли Порта Пиа, покатались по бескопечной виа Номентана. Грамши начал проявлять нетерпение, но извозчик проехал два квартала по виа Номентана, свернул направо и остановился у дома номер 25 на виа Морганьи, небольшой тихой улочки. Хозяева квартиры, супруги Пассарж, немцы по происхождению, сдавали комнату «спокойным жильцам». Грамши представили как профессора университета. Быстро договорились об условиях. Супруги Пассарж заверили нового жильца, что ничто не будет мешать его ученым занятиям. Синьор профессор может быть спокоен. Вот только внучка, ей четыре года, но она хорошо воспитана и не нарушит покой синьора профессора. Пожелав счастья на новом месте, хозяева удалились.

Грамши окинул взглядом комнату. Обычный мещанский уют, знакомый по предшествующим меблированным комнатам, но в общем, кажется, удобная квартира. И письменный стол хороший. Не разбирая чемодан — это можно сделать и потом, — Грамши присел за стол. За последние две недели он фактически ни на минуту не оставался один. И это было прекрасно, особенно после венского «заточения». Но думать он все же предпочитал наедине с белым листом бумаги.

Коммунистические партии всего мира готовились к V конгрессу Коминтерна. Всего полтора года прошло после IV конгресса, но за этот короткий срок произошли огромные перемены в международных отношениях, в жизни и борьбе коммунистических партий. В 1923 году потерпели поражение революционные выступления пролетариата в Германии, Болгарии, Польше. Неудача прямого штурма буржуазных режимов со всей очевидностью показала, что революционный подъем первых послевоенных лет закончился, что в условиях частичной стабилизации капитализма необходима новая тактика коммунистических партий.

Лишь несколько дней тому назад Грамши прощался с товарищами — членами итальянской делегации на конгресс, отплывшими в Россию из Генуи на советском пароходе «Роза Люксембург». Прощался, правда, ненадолго: в Москву он должен был выехать поездом.

Размышления Грамши прервал неожиданный приход Феличе Платоне, соратника по «Ордине пуово», ныне римского корреспондента газеты «Унита». Уже с порога он закричал:

— Антонио, что ты думаешь о его речи?

— Говори потише, Феличе. Чьей речи?

— Ты еще не знаешь? Сегодня в парламенте выступил с двухчасовой речью Джакомо Маттеотти. Что там было! Рассказать?

— Разумеется.

— Я набросал кое-что для отчета. Прочитать?

— Еще лучше.

— Понимаешь, это недоработанные черновые записи.

— Читай.

— Читаю: «Палаццо Монтечitorio, где заседала палата депутатов, сегодня было переполнено. Депутаты, журналисты, гости — все с нетерпением ожидали выступления Джакомо Маттеотти, секретаря социалистической

партии и лидера ее парламентской фракции. На трибуну поднялся человек лет сорока, худощавый, с нервным лицом, на котором отражались обуревавшие оратора чувства гнева и презрения. Но голос его был спокоен и тверд, хотя говорил он страшные вещи. Обвинение в адрес правительства следовало за обвинением. Оргия хищений, фальсификация финансовых отчетов, взятки! Он брал то один, то другой из лежащей перед ним груды документов и оглашал его таким же спокойным голосом, но каждое слово падало в беснующийся зал, как дымящаяся граната в пороховой погреб. Вот отдельные фрагменты его речи, которые удалось записать вашему корреспонденту.

Маттеотти: — Уважаемые коллеги! Мы заявляем, что выборы, состоявшиеся в Италии в апреле сего года, не имеют ни малейшей законной силы.

Выкрики: — Это провокация!.. Гоните его с трибуны... Тихо! Тихо!

...Список правительственного большинства, который якобы собрал более четырех миллионов голосов избирателей...

Голоса: — Долой! Заткните ему глотку! Ко всем чертям!

...получил их вовсе не в результате свободного и фактического волеизъявления народа.

Выкрики со скамей оппозиции: — Вы, фашисты, губите Италию!

...По нашему мнению, результаты выборов недействительны! Ни один итальянский избиратель не имел свободной возможности решать и выбирать в соответствии со своими желаниями...

Председатель Рокко: — Депутат Маттеотти, придерживайтесь темы выступления.

...Выборы превратились в испытание на мужество, в образец безоружного сопротивления физическому насилию!

Председатель: — Депутат Маттеотти, если вы хотите говорить, можете продолжать, но осмотрительно.

Маттеотти: — Я не прошу, чтобы мне дали возможность выступить осмотрительно или неосмотрительно, я хочу говорить парламентарно, говорить правду... Вы хотите отбросить нас назад в средневековье! Мы защищаем свободу и суверенитет итальянского народа и требуем аннулировать результаты выборов, опозоренных применением насилия!

Фашистские депутаты — а их было около двух третей палаты — выкрикивали угрозы, оскорбления и проклятия. Многие отчетливо слышали голос Муссолини, который крикнул с места: «Этому человеку не сносить головы!»

Два часа говорил Маттеотти, два часа продолжался фашистский шабаш.

Передают, что, выходя из здания парламента, бледный, но внешне спокойный Маттеотти сказал своим друзьям: «Ну, теперь можете готовить для меня надгробную речь».

Платоне сложил свои листки и с некоторым опасением взглянул на Грамши. Платоне не забыл историю с одним своим репортажем. Это было еще до отъезда Грамши в Москву. В Турине произошло уголовное убийство, о котором говорил весь город. Платоне с воодушевлением взялся за дело, раскопал кое-какие детали, добился нескольких интервью и довольный собой сдал в «Ордине нуово», как ему казалось, удачный материал, уснащенный весьма красочными подробностями. Придя назавтра в редакцию, он с удивлением узнал, что материал в номер не пошел. Огорченный и злой, Платоне направился к Грамши объясняться. В комнатке редактора, в которой троим уже было тесно, но при необходимости помещался весь состав редакции и частые гости — рабочие туринских заводов (друзья шутливо утверждали, что комнатка обладает чудесным свойством раздвигать свои стены), кроме

хозяина были еще двое: у стола стоял Монтаньяна, в углу из-за груды рукописей выглядывала кудрявая голова секретаря-стенографистки Пиа Карены.

— А-а, сэр Конан Дойл пришел, — иронически приветствовал Платоне Монтаньяна. — С твоей фантазией, дорогой Феличе, я бы не занимался нашим скучным делом, а писал рассказы. Ну, например, Шерлок Холмс в Италии.

— Неплохая идея, — огрызнулся Платоне. — Конечно, привычнее писать, чтобы мухи дохли.

— Все-таки польза для человечества. Меньше мух останется, — пезловиво отозвался Монтаньяна.

Грамши поднял глаза от рукописи.

— Вы мне мешаете, друзья. Я хотел, Феличе, поговорить по поводу твоего материала. Только позднее. Но раз уж ты зашел... В двух словах: бесспорно, репортаж написан интересно.

Окрыленный похвалой, Платоне перешел в наступление.

— Не откажешь же ты читателю в праве на здоровый человеческий интерес?

— Не откажу. Но существует также и нездоровое человеческое любопытство. Между этими двумя категориями грань подчас малозаметна, но она существует. И литератор не имеет права переступать эту границу. Особенно литератор, пишущий для коммунистической газеты. В каждом напечатанном слове он должен оставаться коммунистом. Зайди попозже, мы вместе с тобой посмотрим репортаж.

«Попозже» наступило глубокой ночью. Позади был длинный, утомительный день. Но Грамши, не торопясь, абзац за абзацем, разобрал злополучный репортаж. С тех пор прошло около трех лет, но Платоне не забыл преподнесенный ему предметный урок.

Грамши молчал. Паузу нарушил Платоне.

— Я предупреждал — черновики. Нужно обработать,

— Нужно, но не очень. Постарайся сохранить стиль торопливой, экспрессивной записи.

— А как быть с последней фразой Маттеотти? Сам я ее не слышал.

— Маттеотти — человек большого мужества, он понимал, на что шел и что ему грозит. Но понимают ли его коллеги по партии?

— Ты думаешь, Муссолини способен?..

— Способен на все... Попробуй поговорить с товарищами Маттеотти. Скажи, что мы беспокоимся.

На следующее утро возбужденный Платоне пришел к Грамши с ворохом газет:

— Вся Италия говорит о речи Маттеотти. Прочитать?

— Только заголовки. Освобожусь — прочитаю сам.

— Хорошо. Названия газет и заголовки:

«Джустития»: «Мужественное выступление депутата Маттеотти. Вот как были избраны фашистские депутаты!»

«Стампа»: «Бурный день в палате депутатов».

«Аванти!»: «Первый блин — и большим комом! Требование признать абсолютно незаконными результаты выборов 6-го апреля. Бурные сцены в парламенте. Левые партии покидают зал заседания. Обвинительная речь Маттеотти».

«Пополо д'Италия»: «Мятеж. Маттеотти в роли Крыленко».

— В роли кого? — переспросил Грамши.

— В роли Крыленко.

— Да, им не откажешь в фантазии... Ты разговаривал с кем-нибудь из товарищей Маттеотти?

— Разговаривал.

— И что?

— Они объяснили мне, что полиция установила постоянную охрану у дома Маттеотти.

— Полиция! Какая чепуха. К сожалению, я не имею права ни на чем настаивать. Это только предположение. Но на их месте я бы не спускал глаз с Маттеотти.

От Грамши Платоне направился в маленькую тратторию неподалеку от Монтечиторио, где собирались журналисты, чтобы перекусить и обменяться новостями, обсуждали подробности этого события. Один из журналистов предложил пари: Маттеотти, утверждал он, осталось жить не более недели. Предложение звучало цинично, но многие считали, что журналист несколько не преувеличивает опасность. В «Пополо д'Италия» появились прозрачные намеки на необходимость расправы с оппозицией. Газета напечатала статью, принадлежащую перу Муссолини: «Депутат Маттеотти выступил с чудовищно провокационной речью, которая заслуживает куда более ощутимых и веских ответов, чем ласковые эпитеты, брошенные вчера в лицо этому мерзавцу...»

10 июня Маттеотти исчез.

Уже на следующий день Рим огласили пронзительные крики газетчиков: «Исчез депутат Маттеотти!», «Депутат-социалист Маттеотти исчез...», «Случай политического бандитизма!..», «Огромное беспокойство по всей Италии!», «Маттеотти вышел из дома в четыре часа и пошел в палату депутатов. Больше его никто не видел. Жена плачет, предполагает самое худшее, умоляет коллег Маттеотти предпринять что-нибудь...»

Депутаты оппозиции обратились в полицейский комиссариат с настоятельной просьбой провести расследование причин исчезновения Маттеотти.

— Вы утверждаете, — сказал полицейский комиссар Бертини, — что депутат Маттеотти исчез вчера во второй половине дня, но я ведь ничего об этом официально не знаю.

— За всю жизнь не было случая, чтобы Маттеотти без предупреждения исчезал из поля зрения своих друзей, своих домашних на целые сутки. Почему вы не хотите начинать расследование?

— Какое расследование? В каком направлении?

— Почему бы не допросить полицейских агентов в штатском, которые ведут наблюдение за Маттеотти и его домом.

— Да, конечно, завтра же потребую от них отчета.

Какой отчет можно было потребовать от агентов? За два дня до исчезновения депутата наблюдение за его домом было снято.

Но Рим — не пустыня. В полицию пришел человек и принес проездной билет депутата Маттеотти. Он сказал, что его сын подобрал билет на дороге, после того как он выпал из проезжающей машины. Один человек видел похищение из своего окна на улице Манчини.

Очень скоро выяснилось, что машина взята напрокат на станции обслуживания Тревви, что номер машины 55—12—169. Номер сообщил портье дома на улице Манчини, у которого стояла машина.

— Как вы запомнили такой сложный номер? — недоверчиво спросил комиссар полиции.

— Уж больно они подозрительно вели себя. Я сказал жене: «А вдруг это воры?» — и записал номер на календаре.

— Вы записали девятого, а предполагаемое похищение было десятого.

— Десятого утром эта машина снова появилась у нашего дома. Они ехали медленно, все время оглядывались с опаской...

Встревоженный всенародным возмущением, Муссолини выступил с речью в парламенте: «Довожу до сведения депутатов, что едва лишь органы полиции были поставлены в известность о продолжительном отсутствии депутата Маттеотти, я лично отдал приказ усилить розыски в Риме, вне Рима и в прочих городах... Выражаю надежду, что депутат Маттеотти сможет скоро вернуться в парламент».

Поднялся огромный Амендола: «Вы же председатель Совета министров, министр внутренних дел, министр

иностранных дел, короче, вы — все! Вы лично, собственной персоной, отвечаете за жизнь депутата Маттеотти!»

Убийство члена парламента только за то, что он открыто сказал правду о фашистах, а в том, что произошло убийство, мало кто сомневался, вызвало в стране сильное возбуждение. Стихийно возникали митинги, вспыхивали забастовки. Представители оппозиционных фашизму групп в парламенте покинули его заседания и создали Авентинскую оппозицию, получившую название по аналогии с древним преданием: на Авентин — один из семи холмов Рима — в пятом веке до нашей эры удалились плебеи, борющиеся с патрициями.

27 июня в здании парламента совещанием оппозиционных партий, названным Авентинской ассамблей, была принята декларация о том, что оппозиционные партии не будут участвовать в работе парламента до тех пор, пока не будет упразднена фашистская милиция и восстановлена законность.

3

В Москве открылся V конгресс Коминтерна.

События в Италии разворачивались так, что Грамши сначала отложил свой выезд, а потом не поехал вовсе. Встреча с женой, ожидавшей ребенка, отсрочилась на неопределенное время.

«Рим. 22.6.1924 г.

Моя дорогая Юлька,
я все надеялся, что вот-вот выеду, но отъезд мой откладывался со дня на день, поэтому я не писал, думая, что сам приеду раньше, чем дойдет письмо. Выеду ли, то есть смогу ли выехать на этих днях, — не знаю, и поэтому хочу написать тебе, чтобы ты чувствовала, что я рядом с то-

бой, дорогая, чувствовала мою любовь и мои крепкие-крепкие объятия.

Я переживал незабываемые дни, и они еще продолжают. По газетам невозможно составить себе точное представление о том, что происходит в Италии. Мы ходили у кратера действующего вулкана. Внезапно, когда пикто этого не ожидал, а в особенности фашисты, архиубежденные в своем бесконечном могуществе, вулкан начал извергать огромный поток кипящей лавы, которая обрушилась на всю страну, разрушая все, связанное с фашизмом.

Положение все еще чрезвычайно острое. Была уже попытка государственного переворота со стороны фашистов-экстремистов, которых разогнали с помощью больших воинских соединений и карабинеров. Циркулируют самые невероятные слухи. Вероятно, на этих днях что-то произойдет. Может быть, даже военный переворот. Поэтому я в ближайшие дни еще не могу думать об отъезде. Но моя поездка все равно состоится, потому что в Москве должны узнать о реальном положении вещей.

Дорогая, сколько преград на пути нашего счастья, но мы преодолеем все и в то же время будем выполнять до конца наш долг. Как я был бы рад, если бы в эти дни ты была со мной...»

«7.1924 г.

...Моя жизнь протекает довольно спокойно, несмотря на исключительно напряженное общее положение... Могу свободно передвигаться по городу и встречаться с товарищами, находящимися на нелегальном положении, потому что полиция не функционирует, так же как и все органы фашистского государства,— все чиновники саботируют. Не знаю, сколько может продолжаться такое положение вещей. После трех лет нелегального положения, когда все были заняты лишь тем, чтобы сохранить организацию, события ввергли теперь партию в очень

тяжелые испытания. Надо действовать, вести агитацию, выходить из подполья; товарищи, не подготовленные к этому неожиданному скачку, оказались не вполне уверенными в себе. За те два года, что я находился вне Италии, я, очень многому научился, приобрел большой опыт, необходимый для того, чтобы работать уверенно...

Г.»

В зарослях кустарника неподалеку от Рима местный житель (находящийся в отпуске бригадир карабинеров) нашел труп Маттеотти.

Страшная находка вызвала новый взрыв возмущения. Похороны Маттеотти превратились во всенародную демонстрацию.

С похорон Грамши поехал в редакцию еженедельника «Стато операйо». Вернулся домой поздно. Перед глазами неотступно стояла картина похорон: бесконечная траурная процессия, плачущие лица, трагическая фигура вдовы... На столе лежала неоконченная статья «Судьба Маттеотти». Глубокий кризис, переживаемый итальянским обществом, порождает трагические эпизоды, подобные мученической смерти Маттеотти. Мысль верная, но как выразить людскую скорбь и людской гнев? Промучавшись с час, отложил рукопись до завтра.

Утром быстро завершил работу. Впечатления от похорон органично вошли в строй статьи.

От имени коммунистической партии Грамши предложил Авентинскому блоку объявить себя Народным парламентом, призвать рабочих к всеобщей забастовке и наряду с политической борьбой против фашизма выдвинуть социальные требования.

С возражениями выступил лидер правого крыла социалистической партии Турати, тактику которого еще II конгресс Коминтерна определил как «внутренний саботаж».

Турати: — Я придерживаюсь диаметрально противоположного мнения. Я бы даже хотел предостеречь наш рабочий класс. Да, я понимаю рабочих. В эти дни они, очевидно, испытывают непреодолимое желание вновь начать дышать свободно и, следовательно, могут поддаться на любую провокацию. Этого следует избежать. Придетя рабочим потерпеть и не дышать еще несколько месяцев.

Грамини: — Синьор Турати, я понимаю, ваш совет носит иносказательный характер, но все же попробуйте не дышать хотя бы несколько минут. Стихийные забастовки и демонстрации, возникшие в эти дни в Риме, Неаполе, Генуе и во многих других местах, доказывают, что рабочий класс испытывает непреодолимое желание вступить в борьбу. Вся правда в том, что вы сами боитесь рабочего класса.

Турати: — Давайте говорить начистоту. Мы с вами двигаемся к различным целям. Вы хотите разрушить и уничтожить итальянское государственное устройство. Мы же хотим спасти его от фашизма.

Грамини: — Ваша инерция и пассивность приведут лишь к одному результату: фашизм сумеет оправиться.

Турати: — С фашизмом уже покончено! Это вы своим нетерпением можете подбросить ему новый повод для произвола и насилия. Вы только и мечтаете о том, как бы развернуть пропаганду в пользу вашей партии...

Грамини: — Предлагать всеобщую забастовку против фашизма — это вовсе не означает заниматься пропагандой. Скажу вам более: если вы решительно отклоните наше предложение, мы сами обратимся с ним к рабочим и крестьянам.

Турати: — Не следует ли это понимать так, что вы покидаете наш комитет оппозиционных партий?

Грамини: — Уважаемый депутат Турати, кажется, это ваше наиболее сильное и неприкрытое желание. Но мы

уйдем вовсе не потому, что хотим удовлетворить его, а потому, что в союзе с так называемой конституционной оппозицией какая-либо борьба с фашизмом невозможна... Единственной силой, способной победить фашизм и раздавить реакцию, является рабочий класс.

То ли в шутку, то ли всерьез товарищи говорили, что в тревожные июльские дни Грамши овладел чудесным даром всеприсутствия: утверждали, что его видели в двух, а то и в трех местах одновременно.

«21.7. 1924 г.

...Дорогая Юлька, даже мысль о тебе помогает мне быть сильнее. Хотелось бы рассказать тебе о стольких эпизодах, о стольких мелочах, которые дали бы представление об атмосфере, о моменте, переживаемом сейчас Италией... В ту ночь, когда все узнали, что партия призывает к всеобщей забастовке... я возвращался домой и весь квартал Порта Пиа, который я пересекал, кишел рабочими с красной гвоздикой на груди; они царили на улицах, на городских окраинах, там чувствовалась атмосфера восстания, в то время как в центре фашисты со своими стилетами и ножами, запятанными в трости, пытались создать панику. Впрочем, их стилеты исчезали, едва появлялся отряд солдат, готовых открыть огонь. Но... мне было немного грустно, что я вернулся в Италию, когда положение значительно улучшилось; я только слушаю рассказы о терроре, пережитом в самые острые моменты фашистского разгула, знаю от других, как фашисты, думавшие, что я в Турине, охотились за моей тенью и вместо меня избили и изранили моего брата. Я уверен, что они не схватили бы меня, но хотел бы испытать это ощущение: чувствовать, как за тобой яростно охотятся, и уйти от их бессильной ярости.

Представь себе мое положение сегодня: я живу в маленькой вилле на виа Везалио, пересекающей виа Номен-

тана, в одной немецкой семье, которая не знает моего настоящего имени и не знает, что я депутат-коммунист; я разыгрываю из себя серьезного-пресерьезного профессора, меня очень уважают и так пекутся о моем покое, что это даже раздражает.

Как много я хотел бы рассказать тебе, но лучше отложим это до встречи, правда?.. Дорогая моя Юлька, я так люблю тебя и обнимаю крепко-крепко.

Г.»

В августе фракция социалистов, входящая в Коммунистический Интернационал (Сератти, Маффи и другие), распущена и слита с Коммунистической партией Италии. Генеральным секретарем партии избран Грамши. Об этом, о своих планах, сомнениях и надеждах Грамши сообщает жене в письмах, которые словно изнутри освещают переживаемые страной события.

«18.8. 1924 г.

Дорогая Юлька,
я получил твое письмо от 6-го, написанное в канун начинающейся для нас новой жизни. Как хотелось бы мне быть рядом с тобой. Сейчас, когда я пишу, наш ребенок, может быть, уже родился, он около тебя, и ты можешь ласкать его после того, как страдала, давая ему жизнь. Моя радость омрачена легкой грустью: сколь многого я не узнаю из того, что хотел бы знать. Но к чему знать, если все равно нельзя было страдать вместе с тобой? У меня такое чувство, что я нахожусь в привилегированном положении, потому что ныне волей судеб мне было отведено одно лишь счастье. Моя любовь к тебе слишком сильна, слишком интенсивна, наши жизни настолько слиты, что я не могу освободиться от этих грустных мыслей. Вот. А потому у моего счастья немного вытянутая физиономия.

События развиваются неумолимо. Нужно реорганизовать партию, которая слаба и в целом работает очень плохо. Я вхожу в политический центр и являюсь генеральным секретарем; должен был бы быть и редактором газеты, но не хватает сил. Я еще малороботоспособен. А надо было бы контролировать все, следить за всем. Завтра я выезжаю в Милан и в Турин посмотреть, как работают эти две крупнейшие наши организации. У нас не хватает руководящих работников, особенно в Риме. Собрания, в которых я участвую, радуют преданностью и энтузиазмом товарищей, но в то же время настраивают пессимистически: не хватает общей подготовки. Ситуация складывается превосходно для нас: оппозиционные группы организуют движение военного характера и вооружают... наших товарищей. Фашизм раскалывается, он точно обезумел, не может осуществить ни одного политического мероприятия. Все оборачивается против него. Но развитие событий будет относительно медленным, потому что нас еще слишком мало и мы слишком плохо организованы.

Г.»

«18.9. 1924 г.

...Тяготение к нашей партии исключительно велико: за месяц пропаганды мы почти утроили число членов... Это, конечно, не означает, что мы вышли из затруднений. Партия продолжает фактически, если не юридически, оставаться нелегальной: каждое обнаруженное собрание разгоняют, товарищей арестовывают и по несколько дней держат в тюрьме. Надо быть очень осторожным в связях, во встречах с товарищами, которые работают в партийном аппарате, чтобы избежать провала. Не могу написать тебе о куче разных вещей, потому что не доверяю почте. Опыт нашей работы в Италии исключительно интересен и непрестанно выдвигает все новые проблемы;

требующие разрешения. В эти дни в провинциях проходит много конференций, которые дадут нам представление о наших силах и нашей способности к борьбе.

Г.»

Никогда еще итальянский фашизм не стоял так близко к поражению, к полному краху. Нужен был решительный удар. Но, увы, только коммунисты требовали нанести этот удар немедленно. Остальные партии и группы колебались и дали возможность фашизму оправиться. Позднее эта же ошибка в иной обстановке повторилась в Германии. Проходит время, народы исправляют свои ошибки. Но проходит время! И несмываемо остаются кровавые следы на страницах истории!

Почему все-таки не развилось движение, способное смести фашизм? Ответ на этот вопрос дает сам Грамши. «Рабочий класс еще не в состоянии взять на себя инициативу, чтобы вполне использовать создавшееся положение. Деорганизация его рядов в течение трех лет господства реакции мешает рабочему классу сделаться теперь же решающим фактором».

Мешала сектантская позиция Бордиги, продолжавшего возражать против тактики единого фронта; ведь до августа 1924 года Бордига оставался генеральным секретарем ЦК.

За считанные месяцы Грамши успевает проделать огромную работу по реорганизации партии. Еще во втором номере «Ордине нуово», который начал выходить как журнал с марта 1924 года, в статье «Против пессимизма» он пишет, что необходимо сделать партию «великой армией будущих боев». Будущих боев! В этом крылся глубокий смысл. Грамши выдвигает новый политический и тактический план: привлечение широких масс как основы будущей партии и одновременно подготовка партий к уходу в подполье, ибо неизбежна «промежуточная

фаза», вызванная ожесточенным наступлением фашизма. Он предлагает новую организационную структуру партии: «коммунистическая ячейка на каждом заводе». Областные конференции обсуждают и принимают эту структуру. В конце октября он присутствует на конференции в главном городе Сардинии — Кальяри.

Глава четвертая **ОСТРОВ НИЩИХ И ГОРДЫХ**

Конференция проходила не в самом Кальяри, а поблизости, между солеварнями и небольшим городком Кварту. Конференция была одной из многих, прошедших осенью того года. Грамши называл их смотром сил партии перед новыми схватками. Всего в ту пору Коммунистическая партия Италии насчитывала 25 тысяч человек.

В самом Кальяри Грамши пробыл недолго, вечером встретился с товарищем по лицу, местным адвокатом Ренато Фигаро. Вспоминали лицей, ломтики салами или сыра на школьных переменах, кружок «мучеников свободной мысли». Ночевал у другого знакомого, на улице Оспедале, неподалеку от дома на корсо Витторио, где жил, когда учился в лицее. Спал на раскладной кровати, не раздеваясь, на случай неожиданного визита. Утром ему очень хотелось побродить по городу, посмотреть места, где он провел свою молодость. Но появляться в городе было рискованно, фашисты готовились отпраздновать вторую годовщину похода на Рим. На перекрестках и площадях чернорубашечники выставили посты. По узким улочкам портовых и рабочих районов ходили вооруженные патрули, цепко оглядывая прохожих.

Грамши с сожалением согласился с друзьями, что его появление в городе вызовет нежелательный интерес полиции и может оказаться опасным для других товарищей.

Из Кальяри он решил заехать в Гиларцу, где по-прежнему жили родители, брат Карло и сестры. Последний раз Грамши был дома четыре года тому назад, сейчас он приезжал женатым человеком и депутатом, чем очень гордилась его мать, Джузеппина Марчиас. Отъезд был назначен сразу после прощального обеда, который организовали местные товарищи в trattoria на Ларго Карло Феличе.

Перед обедом Джакомо-маленький, неотлучно сопровождавший Грамши в этой поездке, исчез на четверть часа, вернулся со свертком и вручил его Грамши.

Недоумеая, Грамши развернул сверток и увидел только что купленные крахмальную рубашку и галстук.

— Что за глупости? — сердито спросил Грамши.

— К матери приезжает сын-депутат, — твердо ответил Джакомо. — Ваши друзья поручили мне...

Ворча что-то нелестное о слишком заботливых друзьях, Грамши пошел переодеваться.

В два часа дня Грамши и Джакомо сели в поезд на Гиларцу.

Джакомо радовался случаю побывать в родном городе Антонио, ему давно хотелось познакомиться с семьей Грамши. Он знал только двух его братьев: Дженнаро и Карло, с которым встречался в Турине. Карло моложе Антонио, самая младшая в семье — Терезина. А братья Марио и Дженнаро, сестры Грациэтта и Эмма — старше Антонио. Семь человек детей. Многодетная и многострадальная семья, которую приходилось кормить на нищенское жалованье Франческо Грамши. Заботы о детях легли на плечи Джузеппины Марчиас.

Поезд тащился по Сардинии. Джакомо был здесь впервые, все ему казалось непривычно странным. И поросшая вереском равнина, окаймленная красноватыми скалами, покрытыми ржавыми пятнами мха. И одинокие хижины, которые не оживляли этот трагически безнадеж-

ный пейзаж. Время от времени на равнине возникали огромные круглые каменные сооружения, по форме напоминающие усеченный конус. Каждый раз Джакомо провожал их глазами.

— Не приходилось видеть подобное? — спросил Грамши, становясь рядом с Джакомо у окна. — Это нураги, древние сардинские башни-крепости. В Сардинии их насчитывают до семи тысяч... Вот взгляни, мы близко проедем... Видишь, огромная круглая башня, сложенная из стесанного камня, примерно тридцать пять рядов...

— Вроде египетских пирамид.

— Нет, египетские пирамиды — это, по существу, памятники тщеславию. Тут — реальная необходимость. Внутри помещалось до ста человек с имуществом и скотом. Вообще башенные дома как форма укрепленного жилища существовали и в других странах, но в Сардинии, отдаленной от шумных торговых и военных дорог Европы, они носили своеобразный характер... И стоит такая машина неподвижно, мимо бегут столетия, тысячелетия... Некоторые нураги сохранились с конца II тысячелетия до нашей эры — они стоят как символ неподвижности нашего несчастного острова... Исторически сложилось так, что в стороне от Сардинии прошли все крупные события итальянской истории. Вся Италия была охвачена порывом к прогрессу, благосостоянию, свободе. Сардиния же оставалась позади, не принимая участия в этом порыве, связанная с устаревшими общественными формами и устаревшими социальными условиями, с вечной нищетой и отсталостью всех слоев населения... Буржуазия Севера поработила Южную Италию и острова и низвела их до положения эксплуатируемых колоний... Систематическое недоедание, малярия, свирепствующая уже несколько столетий, туберкулез — по распространению этой болезни Сардиния поставила национальный рекорд. Но кто бывал на нашем острове, знает: народ Сардинии не

сломлен и не протягивает руку за подаванием. Сарды — гордые люди.

Поезд прибыл на станцию, родные и друзья уже ждали Антонио, своего Нино. Начались объятия и поцелуи. Все вместе пешком направились в Гиларцу.

Что такое Гиларца? Низкие дома, голубой дымок над красными черепичными крышами, крестьяне, возвращающиеся после работы в поле на низеньких осликах. Величественные и невозмутимые старики у водоема обсуждали сравнительные достоинства святых. Старики были настроены благожелательно:

«Святой Рокко — хороший святой».

«Святой Маврикий — тоже хороший святой».

«Святой Августин — о, это очень хороший святой».

При виде Грамши старики подносили руку к голове в знак приветствия: как же, приехал депутат парламента, их земляк, сын Франческо и Джузеппины Марчиас.

Джакомо не думал, что в Гиларце с Антонио может произойти что-либо дурное, но все-таки поглядывал в оба. Говорят: и маленький камень может опрокинуть телегу. Когда они подошли к домику, в котором жила семья Грамши, его внимание привлекла группа молодых людей на противоположной стороне улицы. Руки в карманах, к губам приклеены папироски. Не понравились Джакомо эти ребята...

Не успел гость отдохнуть, как началось шествие «принчипалес» — почетных граждан деревни. Даже местные фашисты не могли обойти дом семьи Грамши в этот знаменательный день и поздравляли соотечественника с высоким званием депутата, хотя и... коммунистического. Все это очень забавляло Грамши, он терпеливо отвечал на вопросы. Синьора Беппина была обеспокоена этими визитами и прямо говорила, что сын хочет побыть с ней и другими родными. Грамши с увлечением играл со своими

маленькими племянниками, особенно его забавляла четырехлетняя Мея, дочь брата Дженнаро. Перед этим за завтраком девочка испугалась поданных на стол вареных крабов, и Грамши тут же придумал сказку, в которой участвовало пятьсот тридцать злых крабов под командованием генерала Мастикабродо, которому помогал целый генеральный штаб: учительница Пиявка, учитель Таракан, капитан Синяя борода. Против злых крабов выступили добрые крабы: Фарфарелло, Патапун, Белая борода, Черная борода. Злые крабы щипали девочку за ноги, добрые — бросались на ее защиту. Весь дом, казалось, был наполнен крабами. Грамши разными голосами говорил за добрых и за злых. Добрые, разумеется, побеждали. Девочка увлеклась игрой и уже не боялась никаких крабов, ни добрых, ни злых, а Грамши веселился как ребенок.

Детей увели. Ненадолго Грамши остался один. Он подошел к этажерке с книгами.

Когда человек после далеких странствий возвращается в родной дом, происходят встречи не только с людьми, но и с населяющими дом вещами. Сколько он помнил себя, столько он помнил эту шаткую и скрипучую этажерку, которая хранила его главное богатство — книги. Отец запрещал допоздна засиживаться за чтением, отбирал книгу, клал ее на верхнюю полку этажерки и отсылал Антонио спать. Однажды, оторванный от занимательной книги, он никак не мог сомкнуть глаз. Дождавшись, пока все в доме заснуло, Антонио тихонько встал с кровати, на цыпочках подобрался к этажерке. Книга лежала высоко, чтобы дотянуться, он влез на нижнюю полку, схватил книгу и... с оглушающим шумом рухнул вместе с этажеркой на пол. Что творилось дома! Все сбегались полураздетые, мать схватила своего Нино и, ощупывая сначала голову, потом руки, ноги, спрашивала: «Скажи, что у тебя болит! Скажи?..»

Как ни странно, ничего не болело.

И сейчас его старые книги лежат на верхней полке, чтобы малыши, даже шустрая Мейя, не могли дотянуться. Мать заботливо сохранила любимцев сына: «Робинзона Крузо», «Таинственный остров», «Черного корсара»... Какая же из них была виновницей почного переполоха? Кажется, «Черный корсар». Разумеется, «Черный корсар» Эмилио Сальгари. Он снял с этажерки растрепанную книжку в захватанной картонной обложке. В ту далекую пору детства на обложке была прекрасная многоцветная картинка: по голубым волнам моря, освещенного оранжевыми лучами восходящего солнца, под белоснежными парусами шел красавец корабль.

Увы, на старом, потертom картоне просматривались лишь смутные контуры рисунка, краски выцвели и стерлись.

Из-за книг выглянула небольшая модель парусника. А ведь это и есть он, «Молниепосный», корабль Черного корсара. Осторожно взял в руки модель. Сколько потрудился над ней. И как был горд маленький Антонио, когда деревенский жестянщик попросил у него на время эту модель, чтобы сделать такую же из жести. Потом большая раскрашенная модель висела над мастерской жестянщика; возвращаясь домой, Антонио делал немалый крюк, чтобы лишний раз полюбоваться парящим в воздухе «Молниеносным».

Осторожно поставил модель, снова взял книгу. В каком же месте, на какой странице его отправили спать? Дочитать оставалось совсем немного, это он твердо помнил...

Взрослый Антонио листал потрепанные, замусоленные страницы. Наметанный журналистский глаз автоматически отмечал изъяны стиля и условность ситуаций, в которые волею автора попадают герои.

— Антонио, к тебе пришли.

Он захлопнул книгу. Нет, не будет взрослый Грамши спорить с маленьким Антонио. Взрослые легко забывают свои детские ощущения, которые растворяются в целом комплексе других восприятий и ощущений, пронизанных чувством сожаления, чувством смешного или каким-либо другим, искажающим детские восприятия чувством.

В дом Франческо Грамши пришли местные крестьяне, которые хотели узнать у его сына-депутата, как им жить. Эти люди, придавленные тяжелой долей, не отрывали взгляда от Антонио. Нелегко было объяснить им то, что они хотели знать. Но Грамши обладал удивительной способностью говорить просто о самом сложном. Они спросили у него, что такое коммунистическая партия. Выслушав объяснения, его слушатели задумались, а один крестьянин сказал: «Но почему ты уехал из Сардинии, такой бедной страны, и вступил в партию бедняков?»

Брат Карло сторожил на улице. Вместе с ним несли охрану те самые парни, которые не понравились Джакомо. Оказалось — друзья, прекрасные ребята. Они организовали группу охраны Грамши. А нарочито воинственный вид и все прочее — от молодости. Придет время, они поймут, что настоящие дела свершаются без эффектных поз и бравады.

На следующее утро Грамши разбудил Джакомо. Сквозь маленькое окошко скупно пробивался слабый свет. Было очень рано.

— Тс-с,— прошептал он, прикладывая палец к губам.— Не хочешь ли погулять, пока все еще спят?

Утро выдалось теплым, но ветреным. Шквалистый юго-западный ветер беспощадно трепал листву смоковницы, росшей посредине двора.

— Старая знакомая,— Грамши ласково погладил шершавый ствол.— В детстве я мечтал придумать ловушку для ветра. Ветер представлялся мне буйным и злым существом, и я хотел поймать его, когда он набросится на

беззащитное дерево. Но так и не придумал. И по-прежнему дует злой ветер, а бедное дерево сражается в одиночку. Не удивляйся, Джакомо, если сегодня я буду говорить сентиментальные глупости.

Он редко говорил о себе и своем нелегком детстве. И Джакомо решился задать давно занимавший его вопрос: нашел ли он уже тогда, в школьные годы, свою дорогу в жизни?

Грамши искоса посмотрел на юношу. В голубых глазах под густыми черными бровями промелькнули насмешливые огоньки. Джакомо знал эти искрящиеся огоньки; обычно они предшествовали взрыву иронии и сарказма, которыми Грамши буквально сокрушал оппонента. Но на сей раз «оппонент» доверчиво ждал ответа.

— Помню, в начальной школе каждый год задавали сочинение на неизменную тему: «Кем вы хотите стать?» Вопрос не легкий, впервые я разрешил его, когда мне было восемь лет, остановив свой выбор на профессии ломового извозчика. Я считал, что профессия эта совмещает в себе приятное с полезным: извозчик щелкает кнутом и правит лошадьми, и в то же время выполняет работу, которая облагораживает человека и дает ему хлеб насущный. Потом было еще много всяких желаний, наивных, но вовсе не смешных. То, о чем ты спрашиваешь, милый Джакомо, произошло гораздо позже. И далеко не сразу.

Навстречу шла немолодая женщина, одетая во все черное. Женщина несла два мешка, по-видимому с зерном.

Поравнявшись с Грамши, женщина произнесла несколько слов. Грамши улыбнулся и ответил какой-то фразой. Джакомо оглянулся. Женщина продолжала идти, легко ступая по неровной каменистой дороге. Только напряженная прямизна спины выдавала тяжесть ноши.

— Женщина с севера острова, — пояснил Грамши. — Она приветствовала нас на логударском диалекте. Уже

немногие так говорят, логударский вытесняется галурским. А у нас в Гиларце преобладает кампиданский.

Они свернули на главную улицу городка. Грамши указывал на один из домов, над его дверью была прибита выцветшая от солнца вывеска: «Отдел регистрации налогов».

— Здесь ваш покорный слуга еще до гимназии трудился целых два года. Мне было одиннадцать лет, зарабатывал я двадцать лир в месяц, работая по десять часов в сутки, включая и утро воскресных дней. О, я был очень важным лицом в этом важном учреждении. Разносил конторские книги, которые весили больше, чем я сам. И часто украдкой плакал по ночам от боли во всем теле.

Некоторое время они шли молча. Грамши был взволнован прогулкой.

Уже наступило трудовое утро в Гиларце. У бассейна, ожидая своей очереди, чтобы наполнить водой большие металлические кувшины, толпились женщины. Стоял оживленный гомон, женщины обменивались новостями. Вдруг, как по команде, гомон смолк. Грамши поздоровался. В ответ раздались нестройные, но дружные приветствия.

У входа в дом Грамши на минуту остановился.

— Каждый прожитый день оставляет след, своеобразные записи в сознании ребенка, не всегда такие приятные, как хотелось бы. Стереть, перечеркнуть эти записи очень трудно. Нужно стараться писать сразу набело.

Он открыл дверь и, прежде чем войти, еще раз оглянулся:

— Вот и окончилась прогулка в детство, Джакомо.

Пришло время расставания. Антонио нежно обнял старых родителей (Франческо Грамши тогда было 64 года, Бенпине Марчиас — 63), брата Карло, сестер Терезину и Грациэтту. Это было их последнее объятие.

«Рим, 10.11.1924 г.

...Вот уже три дня, как я вернулся из Сардинии, застал здесь два твоих письма. Мне пришлось бы написать целый том, чтобы рассказать обо всех впечатлениях этих дней. События развиваются молниеносно, причем в таких причудливых формах, что для того, чтобы дать им оценку, понятную тем, кто не живет в Италии, не варится в самой гуще, понадобилось бы систематизированное исследование психологии фашизма, знаменующего острую фазу стремительно быстрого распада буржуазного общества, который происходит в момент, когда пролетариат еще недостаточно организован для захвата власти. Деморализация, подлость, коррупция, преступность приняли неслыханные размеры; мальчишки и дураки оказываются хозяевами политического положения и плачут или сходят с ума под грузом исторической ответственности, которая внезапно легла на плечи этих честолюбивых, безответственных дилетантов; трагедия и фарс чередуются на сцене без всякой взаимосвязи, хаос достиг пределов, казавшихся немыслимыми даже для самой разнузданной фантазии. Иногда у меня создается такое впечатление, что и я сам — словно тростинка в этом историческом урагане, но у меня достаточно энергии, чтобы сохранять, насколько возможно, хладнокровие и делать то, что я считаю нужным...

Г.»

Тираж «Униты» превысил сорок тысяч экземпляров. 19 ноября на заседании палаты депутатов коммунисты зачитали антифашистскую декларацию.

«26.11.1924 г.

Дорогая,

уже почти месяц не имею вестей от тебя. Мне пришлось снова выехать из Рима как раз в дни отправки почты, и

поэтому я пропустил одно письмо. Через несколько дней уеду снова и пробуду в Милане по меньшей мере дней пятнадцать. Работаем, не переводя дыхания. Политическое положение сложилось так, что мы вынуждены вести кропотливую, но в целом гигантскую работу. Пролетариат пробуждается и вновь обретает сознание своей силы; ещё явственнее пробуждение крестьян, экономическое положение которых ужасно. Но организовать массы ещё трудно, и партия в целом — ее ячейки и деревенские группы — тяжела на подъем и медленно работает. Центр партии должен постоянно быть на местах, стимулировать и контролировать работу, помогать товарищам, направлять их, работать вместе с ними. Мы стали очень сильны: нам удастся проводить открытые митинги прямо на предприятиях, в присутствии 4000 рабочих, которые рукоплещут партии и Интернационалу...

Г.»

«4.12.1924 г.

Дорогая Юлька,
в первых числах февраля состоится расширенный Исполком, и не исключено, что я буду участвовать в нем как делегат. Эта новость и вероятность (или возможность) поездки немного взволновали меня. Нет уверенности, что я смогу легально выехать из Италии: правительство неохотно выдает нам паспорта; перебраться через Альпы в феврале — нелегкая вещь для меня, хоть я и имею некоторый навык в путешествиях по снегу и в ночевках в снегу для отдыха. Поэтому я нервничаю: мне хотелось бы на несколько недель выйти из состояния изоляции от внешнего мира, в которой все мы находимся в Италии, соприкоснуться с живыми течениями революционного движения, проверить некоторые впечатления и мнения, составленные по обрывкам сообщений или по впечатлениям и мнениям других товарищей по работе, которая

проведена в Италии и не кажется мне малоценной или недостойной того, чтобы о ней узнали более широко...

Г.»

«12.1.1925 г.

Дорогая Юлька,
два слова наспех. Несколько недель я не получаю вестей от тебя и не знаю, объясняется ли это причинами общего порядка или состоянием твоего здоровья... Я живу интенсивнейшей жизнью, подстегиваемый стремительно развивающимися событиями. Нельзя, однако, предвидеть в ближайшем будущем крах фашизма как режима — разве только как фашистского правительства... Мы в Италии переживаем фазу, какой, мне кажется, не знала ни одна другая страна, — фазу, полную неожиданностей...

Г.»

В кавун нового, 1925 года в печати были опубликованы документы, изобличающие личную причастность Муссолини к убийству Маттеотти и другим злодеяниям фашистов. Выяснилось, что глава правительства — просто уголовный преступник. По правилам игры, принятым в конституционном государстве, премьер должен был уйти в отставку. Но Муссолини опирался на вооруженную силу, оппозиция — на параграфы конституции и национальные традиции. В таких ситуациях, как показывает история, побеждает сила. Муссолини не ушел. 3 января 1925 года он начал наступление. «Я принимаю на себя всю моральную, политическую и историческую ответственность за все, что случилось», — заявил он с трибуны парламента. Как выяснилось впоследствии, Муссолини явился в парламент, имея в кармане королевский указ о его роспуске. Нужно было только проставить дату. А ведь оппозиция продолжала надеяться на вмешательство Виктора Эммануила. Бывший премьер-министр, лидер левого

крыла либеральной партии Франческо Нитти, после прихода фашистов к власти нашедший себе убежище в Швейцарии, написал королю письмо: «Если б можно было голосовать свободно, то девять десятых итальянцев выразили бы не только недоверие, но и ненависть нынешнему режиму, основанному на насилии... Весной истекшего года состоялись выборы, и правительство получило большинство. Но, возможно, ни у кого не хватило смелости рассказать Вашему Величеству, что это были за выборы... Совершилось одно из самых отвратительных мошенничеств современной истории».

Обращение Франческо Нитти осталось без ответа. Тогда Джованни Амендола, вождь конституционной оппозиции, справился у короля: «Намерена ли савойская династия рассматривать настоящее положение, противоречащее конституции, как окончательное? Это дало бы повод думать, что савойская династия считала временным конституционный режим, существовавший с 1848 по 1925 год». Виктор Эммануил счел себя оскорбленным.

Вскоре Джованни Амендола попадет в фашистскую засаду. Рослый, широкоплечий, в расцвете сил — ему еще не было и сорока, — Амендола пытался оказать сопротивление, ответить ударами на удары, то есть инстинктивно сделать то, от чего — в переносном смысле, разумеется, — он отказался год назад, когда Грамши и другие депутаты-коммунисты предложили поднять против фашистов народные массы. Но что может сделать один человек против банды профессиональных убийц? После избиения он проживет только восемь месяцев и умрет во Франции.

Дело убийц Маттеотти слушалось в 1926 году в городе Къети. Защищал их Фариначчи, секретарь фашистской партии, отъявленный негодяй, что уже тогда было широко известно, и трус, что стало известно

позднее. Фариначчи: «Это не суд над режимом и над партией, это — суд над оппозицией». Менее чем через два года после преступления убийцы будут разгуливать на свободе.

Возобновился фашистский террор, приостановленный после всенародного возмущения убийством Маттеотти. Коммунисты сосредоточивают свои силы на предприятиях: к январю — февралю создано более 500 заводских ячеек. В марте Грамши должен выехать в Москву на расширенный пленум Исполкома Коммунистического Интернационала. Перед отъездом, выполняя просьбу Юлии и ее родных, Грамши разыскивает в Риме Татьяну Шухт.

Глава пятая

ТАТЬЯНА

1

В Риме шел снег. Он падал на проезжую часть улицы, па стоящие у края тротуаров тележки торговцев фруктами, на пирамиды оранжевых апельсинов. Крупными пушистыми хлопьями он покрыл крыши и ветки деревьев, согнувшиеся под непривычной тяжестью. В квартиру преуспевающего римского адвоката, в атмосферу устоявшегося мещанского благополучия Татьяна Аполлоповна принесла с улицы непривычно-бунтарский запах выпавшего снега.

После занятий в средней школе, где она преподавала естественные науки, Татьяна Аполлоповна давала еще частные уроки. Попадались милые люди, которые относились к учительнице, как к члену семьи. Но урок у адвоката с улицы Ринетта принадлежал к категории неприятных.

Уже при первой встрече адвокат ей не понравился.

Договариваясь об условиях по телефону, он попросил уважаемую синьору профессора «удовлетворить его естественное любопытство», как он выразился, и позволить ознакомиться с ее дипломом. В просьбе было что-то непривычное и неприятное, захотелось сразу отказаться от урока. Помешала свойственная Татьяне Аполлоновне деликатность. Она захватила с собой диплом об окончании естественного факультета. Диплом лежал в конверте с другими документами, Татьяна Аполлоновна положила в сумочку весь конверт. При встрече с адвокатом хотела вынуть нужный диплом, но адвокат властно взял из ее рук конверт. Татьяна Аполлоновна рассердилась, но сдержалась.

Адвокат прочитывал очередной документ и откладывал его в сторону. Татьяна Аполлоновна следила за его неторопливыми движениями. Он внимательно прочел диплом об окончании естественного факультета в Риме, вадержался на неразборчивой подписи профессора Грасси, ее руководителя по диплому. Так же тщательно изучил свидетельство о прохождении в Риме курса медицинского факультета. Неодобрительно покачав головой, ознакомился с дипломом второй степени университета Монпелье, дающего право преподавать французский язык и литературу.

Окончив изучение дипломов, адвокат аккуратно сложил их. «С документами он обращается нежнее, чем с людьми», — подумала Татьяна Аполлоновна.

— Ваша квалификация, синьора, вне всяких сомнений. Но, если будет позволено, одно замечание. Вы разбросались в жизни, синьора. Секрет успеха — в целеустремленности. Лишь ясность цели и настойчивость в ее достижении позволили мне приобрести все это.

Энергичным жестом он очертил круг. В этот круг вошел и его кабинет, и весь Рим, лежавший где-то ниже окон пятого этажа адвокатской квартиры.

«По какому праву этот самодовольный господин читает мне нотаций?» — думала Татьяна Аполлоновна, твердо намереваясь отказаться от урока, но непроизвольно следя глазами за плавным кругообразным движением холевой мужской руки. Вошел сын адвоката, худой, большеглазый и очень робкий, явно запуганный своим великолепным папашей. Татьяна Аполлоновна глянула на мальчика и... согласилась.

Потом, вспоминая эту сцену, Татьяна Аполлоновна пришла к выводу, что в ее решении немаловажную роль сыграл адвокатский жест, невольно заставивший взглянуть в окно. Красота открывшейся картины сладко сжала ее сердце. Совсем близко виднелась продолговатая Пьяцца Навона с причудливо живописной церковью Сант'Аньезе и фонтаном «Четырех рек». Из окна, выходящего на восточную сторону за Пьяцца Навона, хорошо смотрелся Пантеон. Великолепное здание-ротонда, сооруженное еще до нашей эры, сейчас зажато современными домами. Только сверху без помех открывается строгая красота его огромного монолитного купола; в размерах ему уступает даже купол собора святого Петра. А из окна, выходящего на запад, видна широкая излучина Тибра и перекинутый через реку мост Умберто — путь, который вел ко Дворцу юстиции. Как часто в близком будущем Татьяне Аполлоновне, измученной тревогой и неясностью, придется проделывать этот путь. Но пока вид на мост Умберто и далее, в глубине, на зеленые высоты Джавиколо доставлял ей истинную радость.

Сегодня все это было закрыто плотной пеленой. В Риме шел снег. Редкое для Рима зрелище. «Совсем как в России», — подумала Татьяна Аполлоновна и сама улыбнулась своему сравнению. Ведь Россию она почти не помнила. Четырехлетней увезли ее из Самары в Царское Село, а на шестом году жизни Таня Шухт навсегда покинула родину. Царское Село совсем стерлось из памя-

ти, а Самара, как ни странно, нет-нет да и возникает. Иногда по ночам снится большая река, пестрая толпа на берегу. Один эпизод удивил всех близких. Однажды — ей тогда было лет десять, и жили они в Женеве на улице Маланью — Таня помогала маленькой Юле наряжать куклу. В новом платьице игрушка выглядела очень нарядно. Внимательно осматривая куклу, Таня вдруг заунывно запела:

Когда будешь большая,
отдадут тебя замуж
В деревню чужую, да в семью большую...

— Боже мой, Тапечка, что ты поешь? — удивленно спросила мама.

— Песенку.

— Но откуда она у тебя?

— Не знаю, — нерешительно ответила девочка.

— Это пела тебе няня в Самаре. Ты была совсем крошкой. Неужели запомнила?

— Не знаю, — повторила Таня. И добавила: — Я еще много-много чего помню. И ярмарку, как лошадей продавали. И как мы по льду катались. И еще помню, к папе полицейский приходил.

— Это ты знаешь по рассказам, а песню действительно каким-то чудом запомнила.

— Я много-много запомнила, — твердо повторила Таня.

Сейчас взрослая Татьяна Аполлоновна сказала бы, что маленькая Таня все же преувеличивала. Воспоминания ранних детских лет были смутны и отрывочны. Но они несомненно существовали.

Настойчиво в памяти возникал зимний лес. Длинная-длинная просека. Идет снег. По обеим сторонам просеки могучие сосны, раскидистые ели, между ними молодые стройные елочки и совсем еще маленькие, чуть выгляды-

вающие своими зелеными макушками из-под пушистых сугробов. Таня хочет потрогать елочку и проваливается в сугроб.

Кто-то большой берет ее за плечи и выволакивает на поверхность, всю облепленную снегом. Это — папа. Он отряхивает Таню и укоризненно выговаривает ей, но Таня видит, что он совсем не сердится, и она смеется счастливым смехом...

— Я решил, синьора.

Усилием воли Татьяна Аполлоновна возвращается к действительности. Она в Риме, в квартире адвоката, за окном продолжает падать итальянский снег.

— Решил? Сейчас проверим. Нет, милый, ты ошибся... Подумай, ведь это совсем просто...

Татьяна Аполлоновна терпеливо объясняет мальчику его ошибку.

С математикой на сегодня все. Перейдем к истории.
• Что у нас? Войны герцога Савойского? Нападение на свободную Женеву? Я слушаю тебя... Как ты скучно рассказываешь, мальчик. Ведь это так интересно. До сих пор Женева ежегодно празднует чудесное спасение своего вольного города. В ночь с 11 на 12 декабря все выходят на улицы и принимают участие в празднике «эскалада». О, это прекрасный праздник.

Занятия окончены. Слава богу, адвоката нет дома. Обойдется без очередной порции сентенций. Татьяна Аполлоновна прощается с мальчиком — он по-прежнему ей нравится, и мальчик, кажется, привязался к учительнице, — выходит на улицу. Тротуар непривычно белый, но снег уже начал таять.

У небольшого ресторана вынесенные на улицу столики, в хорошую погоду занятые посетителями, сейчас были покрыты снегом, как белыми скатертями. Полюбовавшись редкой в Риме картиной, Татьяна Аполлоновна пошла дальше. На мосту Умберто задержалась. Недавно

прошли дожди, уровень Тибра поднялся. Исчезли отдели, древняя река свободно несла свои желтые воды.

Она стояла долго, машинально чертя что-то на снежной пелене, покрывающей балюстраду. Время шло. Так же машинально взглянула на белую поверхность балюстрады и удивилась. Она написала: «Татанька». Не Таня, не Татьяна, а Татанька, как ее звали в детстве. Сегодня — русский день, день воспоминаний. Виноват снег... И одиночество...

Последнее время она стала чувствовать одиночество особенно остро. Отец, мать, сестры... Надя умерла, об этом ей сообщили, кажется, в 1920 году. Ася замужем, наверное, у нее уже большие дети... «Наверное», «кажется»... Ничего она не знает о самых близких. Переписка прекратилась по ее вине... Боялась выдать в письмах свою тоску... Отцу уже шестьдесят пять лет... Боже мой, и маме шестьдесят пять. Ведь они ровесники. Старенькая мамочка! Почему-то возраст матери Татьяна Аполлоновна ощутила острее. Отец всегда казался ей молодым, даже борода его не старила. Неистощимый на выдумки, для них, старших дочерей, он был другом и товарищем...

Татьяна Аполлоновна стояла на мосту Умберто, смотрела на мутные воды. Даже Тибр, старый сонный Тибр, в этот день непохож на самого себя, напоминает полную Рону, рассекающую Женеву на две части... Нет, сегодня не уйти от воспоминаний. Да и не надо уходить!..

2

К традиционному женевскому карнавалу в ночь с 11 на 12 декабря 1903 года Шухты начали готовиться чуть ли не за месяц. В комнату девочек был принесен волшебный «мамин мешок», куда Юлия Григорьевна, общи-

вая свое многочисленное семейство, взяла за правило складывать обрезки материи. Мешок вытряхнули на стол, ва которым девочки обычно готовили уроки. Куча разноцветных лоскутов не уместилась на столе, пришлось расстелить на полу простыню, и на ней взгромоздился пестрый холм лоскутов, и казалось невероятным, что вся эта масса обрывков материи помещалась в одном не очень большом мешке. Наверное, он действительно был чуточку волшебным. Но главное волшебство началось потом. При помощи этих лоскутов и обыкновенной парусины получились чудо какие костюмы, плащи, накидки. Аполлон Александрович осторожности ради все же убрал со своего стола нужные бумаги; ненароком их могли заляпать краской, которую в эти дни в доме потребляли в огромном количестве.

Накануне долгожданного дня Аполлон Александрович сказал, что серпантина и конфетти нужно заготовить побольше, ибо на карнавал они пойдут не одни, а вместе с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной Ульяновыми. Девочки шумно зааплодировали.

Наступило 11 декабря. Восемнадцатилетняя Надя сказала, что на карнавал пойдет с подругами. Родители не возражали. Надо было решить, что делать с младшими. О четырехлетнем Вите и спору не было: он оставался дома с мамой. А вот Юля? Ей только минуло семь, тащить такую малышку в оживленную, бурлящую толпу было рискованно. Но не хотелось лишать девочку радости, о которой она давно уже мечтала. Что же делать? Большой выдумщик, инициатор многих детских затей, Аполлон Александрович предложил старшим девочкам «сыграть» карнавал для мамы, Юли и Вити. Идея увлекла. После недолгих, но настойчивых уговоров Аполлон Александрович согласился исполнить важную роль Герольда, который, драпируясь в яркий плащ, верхом на прекрасном коне въезжает на высокий холм в старой

части города и под глухой рокот барабанов торжественно оглашает историю ночного нападения на Женеву армии герцога Савойского и чудесного спасения вольного города. Юлия Григорьевна согласилась быть невидимым «оркестром»...

Рокотали барабаны, пели рожки. Герольд явился пешим, но в оранжево-золотистом плаще, в котором почти невозможно было признать вывезенную еще из Самары старую плюшевую скатерть.

Вынув из-под плаща свернутый трубкой плотный лист бумаги, Герольд провозгласил:

«Слушайте, граждaне Женевы, слушайте!»

«Граждaнин Женевы» — четырехлетний Витя захлопал в ладоши, но был призван к порядку.

Раздался звонок. Юлия Григорьевна пошла открыть дверь и вернулась с гостем.

— К нам Владимир Ильич, — объявила Юлия Григорьевна. — Дети, подвиньтесь.

— Мне, право, неловко, — смущенно сказал Ленин. — Я легкомысленно пообещал Аполлону Александровичу отправиться на карнавал и пришел предупредить, что вряд ли смогу... Вот видите, помешал.

— Ничего не помешали, — заявил Аполлон Александрович. — Нам не хватает благодарных зрителей. Будьте благодарным зрителем, Владимир Ильич. Очень просим вас.

— Ну, если благодарным зрителем, — улыбнулся Ленин, усаживаясь.

...Праздник удался на славу. Владимир Ильич энергично аплодировал.

— Если на городском карнавале будет хоть наполовину так весело, — сказал Ленин, — грех не пойти. Надо всех наших вытащить. Пусть встряхнутся. Боюсь, Надя не сможет, она нездорова.

— Разрешите, я попробую ее уговорить, — предложил Аполлон Александрович.

— Не хочется вас затруднять...

— Дети пойдут под предводительством Юлии Григорьевны, вы вытащите товарищей, а встретимся мы все...

— На Гранд-рю, у входа в библиотеку,— предложил Владимир Ильич.

В этот вечер то у одной, то у другой квартиры, где жили русские эмигранты, раздавался знопок и вслед за ним — оживленный голос Владимира Ильича: «Идемте гулять! Все важные вопросы отложим до завтра».

Важных вопросов было много, и вопросов невеселых. Положение партии после II съезда с каждым днем осложнялось. С № 52 «Искра» стала меньшевистской. Владимир Ильич пишет и публикует открытое письмо — «Почему я вышел из редакции «Искры»?» Пишет членам ЦК в Россию, настаивает на созыве съезда партии. Ленин устал, изнервничались товарищи. Им необходимо отдохнуть, отвлечься. •

— Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Побыстрее выходите!..

Радостной, шумной толпой влились русские большевики в общее веселье улицы. Владимир Бонч-Бруевич, Вацлав Воровский, Николай Бауман, Фридрих Ленгник... Большинство из них скоро покинут Женеву и нелегально отправятся в Россию навстречу своей нелегкой судьбе.

Но сегодня, среди смеющейся и танцующей женевской толпы, они чувствуют себя превосходно. Неистощим на веселые выдумки Владимир Ильич. Таким молодым, искрящимся озорным весельем семья Шухтов не видела его никогда — ни до, ни после праздника «эскалада».

3

Татьяна Аполлоновна снимала меблированную комнату «с услугами». Это значило, что служанка Роза в один из дней недели производила в комнате генеральную

уборку. Остальные шесть дней Татьяна Аполлоновна с тихой злостью «решала шарады», как она про себя называла поиски записанных Розой вещей. Вещи находились не сразу и в самых немыслимых местах. Татьяна Аполлоновна давала себе клятву, что это в последний раз и лучше она обойдется вообще без уборки. Проходила неделя, и все повторялось.

После очередного нашествия Розы прошло только два дня. Еще не все «шарады» были решены. Поэтому Татьяна Аполлоновна очень удивилась и даже огорчилась (как хотелось спокойно отдохнуть после суматошного дня!), когда, подходя к дому, увидела Розу, остервенело выбивающую длинную ковровую дорожку, украшавшую коридор и ее, Татьяны Аполлоновны, комнату.

К ковровым дорожкам у Розы было особое отношение. Квартиранты меблированных комнат и жители соседних домов знали историю Розиной судьбы. Роза любила со всеми подробностями рассказывать о самом крупном событии в ее жизни. Неважно, что после свадьбы прошло много лет и Роза давным-давно овдовела. Свадьба — это свадьба. А самым крупным впечатлением от свадьбы у Розы осталась ковровая дорожка, постеленная от входа в церковь до главного алтаря. По этой дорожке счастливая новобрачная сделала первый трепетный шаг навстречу новой жизни. И хотя эта новая жизнь принесла Розе лишения и горе, роскошная ковровая дорожка осталась навсегда в ее памяти. Немудрено, что дорожки, которые Роза тщательно выколачивала, хотя они и не могли идти в сравнение с той незабываемой, заставляли Розу искать собеседника, который согласился бы терпеливо выслушать ее историю. Лирические воспоминания не мешали Розе делать свое дело. Энергично, как дровосек свой топор, заносила она над головой плетеную выбивалку, со свистом рассекала воздух и с силой опускала ее на несчастную дорожку. В тесном дворе хлопок, как

выстрел, прокатывался гулким эхом. А Роза уже замахивалась для следующего удара.

Увидев Татьяну Аполлоновну, Роза прервала свою работу, концом передника стерла с лица крупные капли пота и сказала:

— Убираю вашу комнату, синьора. Хозяин велел. Приедет онореволе.

— Кто?

— Онореволе. Синьор депутат. Он уже приходил, спрашивал вас. Хозяйка не хотела отвечать на вопросы, мало ли что, знаете, какое время? Тогда он показал визитную карточку. Так и написано: «депутат». Синьор просил передать, что зайдет попозже.

Онореволе? Депутат? К ней? Наверное, ошибка. А Роза с удовольствием (как-никак событие!) заключила:

— Торопитесь, синьора. Он вот-вот может прийти.

«Куда и зачем торопиться? — недовольно подумала Татьяна Аполлоновна. — И какое мне дело до какого-то онореволе?»

Но хозяйке, синьоре Онории, очевидно, было дело: так решительно орудовала она в коридоре тряпкой и щетками.

— Синьора Онория, Роза мне сказала...

— Да-да, он подошел к дому, вынул бумажку, проверил адрес и позвонил. Я смотрела в окошко и все видела. А звонок у нас не работает, вы же знаете. Сколько раз я говорила Филиппо: надо починить звонок, но разве его допросишься. А маленький синьор нажал кнопку и ждет, когда ему откроют. Я высунулась из окна и говорю: «Синьор, звонок не работает, входите, если вам нужно именно сюда».

«Мне нужно именно сюда», — ответил маленький синьор и вошел. Я встретила его на площадке.

«А что вам угодно?»

«Мне угодно синьору Татьяну Шухт, если позволите, — сказал он, вежливо так сказал. — У меня для нее есть письмо».

И вручил мне свою визитную карточку. Вот она.

Татьяна Аполлоновна взглянула на карточку, про себя прочитала: «Антонио Грамши, палата депутатов». Синьора Онория ревниво следила за ее взглядом.

— Можно мне, дорогая синьора, взять эту карточку на память?

— Пожалуйста. Я буду дома. Если придет...

— О, конечно, конечно. Я сама проведу синьора депутата.

Разумеется, Татьяну Аполлоновну заинтересовал неожиданный визит депутата парламента, но, в отличие от квартирной хозяйки, ожидание не помешало ей заниматься делом; нужно было закончить перевод с французского одной статьи. От этой работы ее оторвал стук в дверь.

— Войдите.

Дверь распахнулась, в комнату как-то бочком протиснулась хозяйка.

— Пожалуйста, синьор депутат,— произнесла она, придерживая дверь и пропуская в комнату гостя. Вошедший был маленького роста, в пальто, но без шляпы, высокий лоб был увенчан шапкой густых и пышных волос.

Он поклонился Татьяне Аполлоновне и повернулся к хозяйке:

— Спасибо, синьора Онория.

Ох, как хотелось синьоре Онории поговорить, но под спокойным-твердым взглядом гостя осеклась и вышла, затворив за собой дверь.

«Ого,— подумала Татьяна Аполлоновна,— маленький синьор с характером».

А «маленький синьор», с улыбкой покосившись на дверь, уже протягивал ей руку.

— Меня зовут Антонио Грамши. Я принес вам письмо от родных.

Татьяна Аполлоновна опешила.

— Из Москвы? Не может быть!

— Письмо — из Москвы. Правда, я его получил по почте. Вот оно... Не буду мешать.— Он бросил взгляд на книжные полки.— Разрешите посмотреть?

— Да-да, разумеется.

Татьяна Аполлоновна читала письмо, и удивлению ее не было границ.

Неожиданный гость оказался... мужем младшей сестры Юльки, маленькой Юльки. Письмо было от мамы. Юлия только приписала несколько слов, просила быть доброй к ее Антонио. «Ее Антонио!»,.. Грамши? Антонио Грамши. Где она слышала эту фамилию?

— Вы журналист, синьор Грамши?

Грамши обернулся. В руке он держал снятую с полки книгу. Татьяна Аполлоновна узнала по корешку томик Шопенгауэра.

— Да, журналист.

Он подождал новых вопросов, но Татьяна Аполлоновна молчала. Ей — стеснительной и мпительной в отношениях с людьми — показалось, что встреча с новой «римской» родственницей неприятна Грамши, что она самовольно врывается в круг его семейных привязанностей. И Татьяне Аполлоновне стало вдруг неуютно в собственной комнате.

Очевидно, Грамши понял ее состояние и по привычке обратился за помощью к книге. Он раскрыл титульный лист, поморщился: «помощник» явно не пришелся ему по вкусу.

— Артур Шопенгауэр, «Мир как воля и представление». Вы это читаете?.. Даже отчеркнуто... Можно?

— Пожалуйста.

«Каждая жизнь есть история страдания...» Что же, Шопенгауэру нельзя отказать в последовательности. «Неразумная и ненасытная в своих желаниях воля порожд-

дает противоположность материи и сознания, объекта и субъекта». Отсюда доктрина, что жизнь есть зло. Неужели вы согласны с Шопенгауэром?

— В жизни много страдания, — уклончиво ответила Татьяна Аполлоновна, с удивлением приглядываясь к изменчиво-одухотворенному лицу своего собеседника.

В свою очередь Грамши внимательно посмотрел на Татьяну. «Какие у него поразительные глаза, — подумала она. — Голубизна обычно бывает холодной, а у него они теплые и бездонные».

— Еще поговорим об этом. И о разном другом, ведь мы теперь будем часто встречаться. — Грамши поставил книгу на место и повернулся к Татьяне Аполлоновне. — А сейчас, если вы пригласите меня сесть...

— Садитесь, ради бога, садитесь, — смутилась Татьяна Аполлоновна. — Я плохая хозяйка.

— Расскажу вам московские новости. Сам я уже полтора года там не был, но в ближайшее время должен поехать, ненадолго, правда. Может быть, удастся забрать Юльку и Дельку с собой.

— Дельку?

— Да, Делио. У нас есть сын, — сказал он с гордостью. — Большой сын. Ему уже полгода.

— Что вы говорите! Подумайте только, Юля, маленькая Юлька — мама. Поздравляю вас... Антонио. От всей души. Сын — это прекрасно. А можно такого кроху везти за тридевять земель? Да еще зимой.

— Вы думаете, нельзя? — с тревогой спросил Грамши. — Мы посоветуемся с врачами.

Глава шестая

СЧАСТЬЕ СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ

1

В середине марта 1925 года Грамши, как и предполагал, направился в Москву на V расширенный пленум ИККИ. Ехал легальным путем — поездом через Вену. Время в дороге использовал для подготовки информации о положении в Италии. Важно было осмыслить новые факты и сделать из них выводы.

Год начался тревожно. Речь Муссолини в парламенте многие оценили как государственный переворот. Усилились преследования всех левых организаций. Коммунистическая партия после конфискации ее печатных органов и многочисленных арестов ушла в глухое подполье.

Во время длинной дороги Грамши снова и снова мысленно возвращался к задаче, выдвинутой им перед руководящими органами партии: «Мы должны поставить в повестку дня проблему подготовки восстания (не в качестве немедленного решения, а в плане конкретной подготовки). Последние политические события знаменуют начало фазы, на которой восстание становится единственным средством выражения политической воли масс, у которых отняты другие средства самовыражения».

Фашизм укрепляется. Но Бордига и некоторые его единомышленники упорно продолжают усматривать у фашизма несуществующие тенденции к компромиссу с демократическими силами. Как мешает партии эта догматическая предвзятая позиция!

Предыдущий год был трудным. Текущий, видимо, окажется еще труднее. И что ждет партию в обозримом будущем? Политика — не гадание на кофейной гуще. Но без ощущения завтрашнего дня нет и дня сегодняшнего.

...Поезд подходил к Москве. Делегатов пленума встречали представители Коминтерна. В толпе он увидел родную темноволосую головку. Не дождавшись остановки вагона, соскочил с подножки.

— Юлька! Любимая! А где же Делио? — спросил он, оглядываясь, словно ребенок мог спрятаться за чьей-то спиной.

— В это время он спит, — правоучительно объяснила Юлия. В ее голосе он почувствовал новую интонацию, интонацию женщины-матери.

Как много нужно сказать друг другу, как мало времени. Очень обрадовало Юлию письмо Татьяны.

— Хорошо бы она приехала.

— Сперва ты приедешь в Рим, потом вместе в Москву.

— А Делио?

— Вместе с Делио, разумеется. Как же иначе?

Заседания пленума шли каждый день. Обсуждались тезисы «Большевизации партий Коммунистического Интернационала». Менялась структура партий, центр тяжести переносился на работу в производственных ячейках. Тактика единого фронта определялась как присущий ленинизму метод вовлечения масс в революционную борьбу. День был заполнен работой до предела. Не оставалось времени даже на встречи с семьей. Грамши решил использовать перерыв на обед, объявляемый после утренних заседаний, и условился с Юлией, что днем гулять с ребенком она будет в маленьком скверике у Садово-Триумфальной, напротив кинотеатра Ханжонкова, который недавно получил имя «Горн». Юлия Аполлоновна выходила из своего дома на Четвертой Тверской-Ямской, усаживала десятимесячного Делио в колясочку и, не торопясь, направлялась к скверу. Там она брала ребенка на руки и садилась на скамейку. В это время Грамши быстро, иногда на машине, иногда на трамвае, добирался до Садово-Триумфальной. Делио, уютно устроившись на

материнских коленях, с любопытством таращил глазенки на играющих детей, а Юлия ожидала появления Антонио, чтобы заранее помахать ему ручкой Делио. Это был ежедневный ритуал, обоим он доставлял удовольствие, и Юлия уверяла, что Делио тоже с нетерпением ожидает отца.

Показался немного запыхавшийся Грамши. Делио помахал ему ручкой, отец с удовольствием ответил ему тем же. Грамши сел на скамейку и стал играть с сыном.

— Сегодня ты опоздал, ему уже пора спать,— сказала Юлия.

— Да, нас немного задержали. Не беда, заснет чуть позднее.

Но Делио решительно не хотел засыпать «чуть позднее» и стал капризничать.

— Пора спать,— решительно сказала Юлия и уложила Делио в колясочку. Через несколько минут ребенок заснул. Грамши спросил у Юлии о домашних новостях. Что особенного могло произойти за одни сутки? Но ребенок — для матери неисчерпаемая тема. Оказалось, что вчерашний день, как, впрочем, и каждый предыдущий, принес множество маленьких, дорогих молодым родителям открытий.

— Ох, я говорю и говорю, не даю тебе слово вставить,— спохватилась Юлия. Обычно Грамши коротко рассказывал жене о пленуме. Курс на «большевизацию» партий, перенесение центра тяжести на работу в производственных ячейках казался Грамши своевременным и перспективным. Сейчас развивать эту тему не хотелось, да и времени до конца перерыва осталось мало, Грамши сказал, что от законного права «вставить слово» отказывается, лучше несколько минут просто помолчим.

Они сидели рядом на скамейке московского сквера, перед ними в колясочке безмятежно спал ребенок, их сын, по дорожке, просохшей под весенним солнцем, бе-

гали дети... Не раз впоследствии вспомнят они эти минуты...

— Пора,— с сожалением сказал Грампи, посмотрев на часы.— Не знаю, смогу ли я освободиться вечером. Если нет — завтра здесь же.

— На садовой скамейке?

— Не ворчи, любимая. Ты приедешь ко мне в Рим, и мы заживем как добропорядочные бюргеры. Не веришь в мою добропорядочность? Зря. До свидания, малыш, до свидания, маленькая мама.

На выходе со сквера к Грампи подошел какой-то мужчина, лет сорока на вид, в больших роговых очках. Они поздоровались, потом Грампи указал на жену, мужчина снял шляпу и низко поклонился. У него была буйная черная шевелюра, Юлия Аполлоновна даже удивилась, как на такой шевелюре держится шляпа. Грампи тоже снял шляпу и взмахнул ею, Юлия, улыбаясь, помахала рукой.

На следующий день она спросила у Грампи: кто это был? Грампи ответил: Франческо Мизиано, старый товарищ по партии, участник Ливорнского съезда и член первого ЦК, вынужденный эмигрировать из Италии, один из руководителей Межрабпома. Юлия спросила: почему же он вынужден был эмигрировать? Грампи коротко объяснил, что именно на Мизиано пришелся первый удар по итальянской демократии. И, предупреждая другие вопросы, начал рассказывать историю, как в конце 1918 года Мизиано ехал в Россию через Берлин. В Берлин он попал в самый разгар германской революции, вступил в ряды спартаковцев, защищал здание газеты «Форвертс», отстреливаясь, ушел последним по крышам домов, все же был схвачен, едва не попал под расстрел, заключен в тюрьму и приговорен к десяти годам. Юлия слушала с большим интересом, но что-то в разговоре ее беспокоило. И она еще раз настойчиво спросила: в чем

выражался удар, который пришелся по Мизиано, и как ему удалось освободиться из немецкой тюрьмы? С большой неохотой Грамши рассказал, что Мизиано был избран депутатом итальянского парламента, после десяти-месячного заключения немцы были вынуждены его выпустить. В мае 1921 года его вторично избрали в парламент, на первом же заседании группа фашистов набросилась на коммунистического депутата. После этого возмутительного случая партия организовала охрану Мизиано. История эта очень встревожила Юлию Аполлоновну. Значит, на депутатскую неприкосновенность нельзя надеяться?

Грамши отшучивался: и мы и противник стали взрослее, период уличных потасовок с фашистами кончился. Юлия не приняла шутливый тон, потребовала ответа. Но проснулся Делио, да и Грамши пора было возвращаться на вечернее заседание. Разговор пришлось отложить.

Он произошел перед отъездом. Грамши не смягчал сложность политической ситуации в Италии, но высказал убеждение, что наступление фашизма и ликвидация основ буржуазно-конституционного строя будут постепенными, в ближайший год-два Муссолини попытается сохранить видимость законности. Прямой опасности лично для него, Грамши, нет. Он очень тяжело переносит разлуку с семьей, поэтому просит Юлю с сыном и сестрой Женей приехать в Рим, на какое время — будет видно. Как советская гражданка, Юлия, во-первых, будет гарантирована от всяких случайностей, во-вторых, с ее опытом и знанием языков, она сможет, конечно, найти интересную работу в постпредстве или торгпредстве. С ребенком поможет Евгения. Заметив, что при упоминании о всяких случайностях Юлия насторожилась, Грамши повторил: прямой опасности для себя он не видит.

Посоветовались с родителями. Юлия Григорьевна упомянула было о предстоящих трудностях и сложно-

стях, но Аполлон Александрович напомнил жене, что она не думала о трудностях и сложностях, когда поехала за ним в Сибирь с двухлетней Надей и с еще грудной Та-ней. Юлия Григорьевна согласилась, что не думала.

— А Рим — не Сибирь, — заключил Аполлон Алек-сандрович.

Решение о поездке в Италию было принято едино-гласно.

На родину Грамши возвращался в хорошем настрое-нии. Результатами работы пленума ИККИ он был дово-лен. При обсуждении деятельности Итальянской комму-нистической партии были отмечены значительные успехи в деле внутреннего укрепления партии и связей с рабо-чими массами. Пленум одобрил намеченный тактический план единого антифашистского фронта.

И семейные дела как будто устраивались

2

В Рим Грамши приехал 21 апреля. С вокзала отпра-вился к себе на улицу Морганья. У подъезда дома заме-тил знакомую тучную фигуру полицейского агента в штатском, с неизменной сигаретой, словно приклеенной к губам. Пост был установлен после убийства Маттеотти. Официально — для охраны синьора депутата, на деле агенты следили за каждым шагом своего подопечного. Толстяк вежливо приподнял котелок, Грамши ответил легким кивком и вошел в подъезд. Притворяя дверь, он чуть придержал ее и заметил, как толстяк рысцой пере-бежал на другую сторону улицы и нырнул в телефонную будку.

Супруги Пассарж встретили постояльца с искренней радостью и откровенным любопытством. Свои семейные дела Грамши не скрывал от хозяев, известие о том, что синьор профессор едет в Россию повидаться с женой и

сыном, внесло в устоявшуюся будничность их мещанского быта романтическую ноту. И сейчас супруги Пассарж с нетерпением ждали рассказов. Коротко удовлетворив их любопытство, пообещав вечером еще вернуться к этой теме, Грамши наконец остался один и приступил к разбору накопившейся почты; супруги с немецкой аккуратностью складывали ее на рабочий стол постояльца.

Быстро просматривая газеты, Грамши откладывал нужные в отдельную стопку, отмечая карандашом заинтересовавшие его статьи. Новости были безрадостные. За короткий срок его отсутствия гонение на коммунистов усилилось. Об этом фашистская печать охотно сообщала чуть ли не в каждом номере. Заметка в профашистской газете «Коррьере д'Италия» от 3 апреля заставила с гневным возгласом грохнуть кулаком по столу. Обеспокоенная необычным шумом, хозяйка постучала в дверь:

- Простите, синьор профессор, вы звали?
- Нет-нет.
- Может быть, кофе?
- Благодарю, синьора Пассарж, не нужно.

Еще раз перечел заметку.

«С некоторых пор полиция общественной безопасности усиленно разыскивала родившегося в 1893 году в Генуе публициста, члена коммунистического Центрального комитета, адвоката Пальмиро Тольятти... Как в Риме, так и в других городах Италии были произведены интенсивные поиски, чтобы передать в руки правосудия этого отступника от отечества.

Производство розыска кавалер Беллони поручил известному кавалеру Квальотти, из команды политической полиции. Последнему с помощью вице-бригадира Галантино Джованни удалось сегодня в результате ловкой слежки арестовать Тольятти в то время, когда он совершенно спокойно проходил по улице Кампо Марцио. После короткой остановки в помещении центральной поли-

ции, где Тольятти подвергся длительному допросу, он был препровожден в тюрьму в распоряжение судебных властей».

Кавалеры, кавалеры, следователи, вице-бригадиры... черт бы их побрал! Вся эта нечисть неотступно охотилась за Пальмиро. И вот он в тюрьме. Это большая беда.

На деле, а не по полицейским реляциям, неуловимый Пальмиро Тольятти, «известный под именем Эрноли, член Центрального комитета коммунистической партии», как значится в постановлении судебного следователя при военном трибунале в Милане, был арестован случайно.

На улице Кампо Марцио, буквально в двух шагах от типографии, где в 1922 году Пальмиро счастливо избежал расстрела, его встретил один известный депутат-коммунист, остановил, громогласно приветствовал: «Салют, Тольятти!» — и начал разговор. Агент, наблюдавший за депутатом, тут же вцепился в Тольятти.

Эту историю, ставшую известной несколько позднее, Грамши приводил как предметный урок для членов партии, уходящей в глухое подполье.

На допросе Тольятти сообщил свое имя и фамилию, заявил о принадлежности к коммунистической партии, но на все остальные вопросы дал отрицательный ответ. Никого и ничего не знает, нигде не был, не имеет постоянной квартиры.

Арестованного поместили в тюрьму Реджина Чели.

Арест Тольятти был тяжелым ударом для Грамши. Именно с Пальмиро, старым другом, обладающим безошибочным тактическим чутьем, Грамши надеялся обсудить правомерность хода, который намеревался сделать в резко ухудшившейся политической ситуации. Ежедневно со страниц газет и журналов на итальянцев низвергался мутный поток фашистской демагогии. Единственная возможность громко, во всеуслышание сказать народу правду — парламентская трибуна. Уже давно

обдумывал возможность такого тактического хода. Возник реальный повод: правительство Муссолини готовило новый «Закон против тайных обществ» — первый из намеченных фашистами проектов конституционных реформ. Повод сам по себе достаточно серьезный. Формально направленный против масонства, этот закон наносил удар по самому принципу добровольных ассоциаций. Нетрудно было предвидеть, какой разнузданный террор последует после принятия этого закона. Стало известно, что в июне намечен V съезд фашистской партии, на съезде Муссолини выступит с программной речью. В этой речи дуче намерен развить тезис о фашизации нации. Грамши отнюдь не тешил себя надеждой, что его выступление с парламентской трибуны помешает Муссолини реализовать планы. Но дебаты в парламенте печатали газеты; люди прочитают, задумаются, то есть сделают то, что им всеми способами мешают делать фашисты.

Трибуна, на которой год назад стоял Маттеотти! Маттеотти говорил превосходно, с высоких нравственных позиций человека, которому ненавистна грязная аморальная политика фашистских лидеров. Память сохранила сильное впечатление от его речи. Но сегодня Грамши будет говорить иначе. Сегодня нужно сказать народу, что фашистский режим бессилён решить кардинальные проблемы итальянского общества и поэтому обречен на крах. Но как это сказать, чтобы тебе не зажали рот — в прямом или переносном смысле?

...В парламентской библиотеке Грамши встретил хранитель, высокий суровый старик. Равнодушно выслушал просьбу подобрать депутату кое-какие статистические справочники, но вторая просьба заставила его поднять брови.

— Вам нужна литература по истории «вольных каменщиков», синьор депутат? — переспросил хранитель.

— Почему это вас удивляет?

— Ваши уважаемые коллеги, синьор депутат, редко заглядывают даже в парламентские отчеты. Они не любят утруждать себя чтением.

За день до заседания снова зашел в библиотеку. Хранитель молча подвел его к полке и длинной худой рукой указал на большую стопку книг. Грамши приступил к работе: брал книжку, просматривал ее, делая закладки.

— Наверно вас заинтересует этот фолиант, синьор депутат?

Хранитель протягивал толстый том в переплете из телячей кожи...

Не может быть! «Книга Уставов», составленная в 1723 году, как значилось на титуле, «по поручению Великой ложки братом Андерсеном». О существовании этой книги он знал, однако видеть ее не приходилось. Какое наслаждение для истинного библиофила прикасаться к старому и редкому изданию!

На титульном листе — печать библиотеки Ватикана. Вопросительно взглянул на хранителя.

— Да, синьор профессор, я взял ее для вас в Ватикане. Иногда я им тоже оказываю услуги.

— Но мне, право, неудобно, столько хлопот.

— Только радость, синьор профессор, — вежливо поклонился хранитель, одобрительно наблюдая, как быстро и вместе с тем осторожно Грамши листает плотные страницы старого фолианта. — Надеюсь, вы найдете здесь то, что ищете.

Первый из основных законов, изложенных братом Андерсеном, — отношение масона к богу и религии: «признано более соответственным обязывать вольных каменщиков иметь единственно ту религию, с которой все люди согласны — предоставляя им, однако, иметь свои особые религиозные мнения, то есть быть хорошими, совестливыми людьми, исполненными чистосердечия и честных правил».

Увы, история самого масонства в Европе незамедлительно вступила в противоречие с заветами брата Андерсена... При случае надо узнать подробнее об этом идеологе «вольных каменщиков». Внешне он, наверное, был похож на хранителя парламентской библиотеки: высокий, с худым суровым лицом. Или совсем наоборот — монах раблезианского типа... Что если водрузить на парламентскую трибуну этот фоллиант и, следуя за параграфами устава, призвать фашистов «быть хорошими и советливыми людьми»!..

3

16 мая помещение палаты депутатов было переполнено: прошел слух, что ожидается выступление лидера коммунистической фракции. За выступлениями очередных ораторов следили невнимательно. Муссолини, сидящий в окружении депутатов-фашистов, просматривал какие-то бумаги. Наконец председатель объявил:

— Слово предоставляется депутату Грамши.

Он поднялся на трибуну, вынул листок с тезисами речи, обвел глазами зал. Враждебно-настороженные и внимательно-дружественные лица. Последних меньше. Муссолини оторвался от своих бумаг. Ждут и его подручные... Только не позволить сбить себя выкриками, сказать все, что нужно сказать. Может быть, даже наверное, это последняя легальная возможность сказать правду народу Италии.

— Проект закона против тайных обществ был представлен как проект закона против масонства. Почему же фашистская партия против масонства?

Нарушая все ораторские каноны, Грамши беседовал с аудиторией, беседовал спокойно, раздумчиво. И это подействовало. Депутаты приблизились к скамьям левых,

чтобы лучше слышать его тихий голос. Муссолини представил ладонь к уху (снимок слушавшего дуче появился в газетах многих стран). Ораторская манера Грамши была чужда Муссолини, но дуче, сам многоопытный полемист, не мог не отметить умелое построение речи и напор мыслей коммунистического депутата.

Грамши: — Фашизм борется против единственной хорошо организованной силы, которую буржуазия когда-либо имела в Италии, чтобы вытеснить ее и передать своим чиновникам административные посты. «Фашистская революционность» — это только замена одного административного персонала другим.

Вскочил Фариначчи, генеральный секретарь фашистской партии, но не успел ничего сказать: Муссолини жестом остановил его.

Муссолини: — Замена одного класса другим, как произошло в России, как обычно происходит во всех революциях, что и мы методично осуществляем.

Грамши: — Революция только тогда революция, когда она опирается на новый класс. Фашизм не опирается на новый класс. Фашизм не опирается ни на один класс, который раньше уже не был бы у власти...

(«Что выкрикивает этот бородастый? Только не позволить им увести меня от главного...») Парадоксальность ситуации в том, что закон против масонства направлен вовсе не против масонства, с масонами фашизм легко достигнет компромисса.

Муссолини: — Фашисты сожгли масонскую ложу, прежде чем подготовить этот закон.

(«Дуче в ярости и способен сморозить любую глупость».)

Грамши: — В действительности закон направлен против рабочих организаций. Мы спрашиваем, почему вот уже несколько месяцев коммунистическая партия преследуется? Почему государственный полицейский аппа-

рат уже считает коммунистическую партию подпольной организацией?

Муссолини: — Неправда!

Грамини: — Тем не менее арестовывается без всякого повода каждый, которого застанут в обществе более трех человек!

Муссолини: — Но их быстро освобождают... Мы их ловим, просто чтобы выявить.

(«Боже мой, как глупо...»)

Грамини: — Что же касается рабочих масс, то вы, фашисты, пытаетесь здесь применять тактику, испытанную на буржуазных партиях: сперва создаете фашистское ядро внутри партии, затем извлекаете из партии то, что вам выгодно...

Фариначчи: — И после этого вы называете нас глупцами!

(«Этот «теоретик» пытается иронизировать, не подозревая, что помогает мне перебросить мостик к главному».)

Грамини: — Вы не были бы глупцами, если бы оказались способны разрешить проблемы итальянской ситуации.

Муссолини: — Мы их разрешим и многие уже разрешили...

(«Вы не способны ничего разрешить, и я это сейчас докажу на примере итальянского Юга».)

Грамини: — Возьмем хотя бы вопрос Юга...

Голоса справа: — Вы не знаете Юга.

Грамини: — Я с Юга... вопрос, тесно связанный с проблемой эмиграции. На национальной территории остаются старики, женщины, дети, инвалиды...

Голос из зала: — Говорите о масонстве.

Грамини: — Хотите, чтобы я говорил о масонстве? Но в самом названии закона ничего не упоминается

о масонстве, речь идет вообще об организациях. Масонство — лишь флаг, под которым хотят протащить реакционный антипролетарский товар!.. Закон должен послужить средством борьбы против рабочих и крестьян. Но рабочие и крестьяне поймут это очень скоро, несмотря на всю вашу демагогию... Вы, фашисты, не преодолели еще до вас возникших глубоких противоречий итальянского общества; напротив, вы заставили народные массы почувствовать их еще сильнее... Вы подлили масла в огонь, зажженный всем предшествующим ходом развития капитализма...

Шум. Крики: «Долой!!», «Дайте ему говорить!!», «Заткните ему глотку!!», «Говори, Антонио!!» Казалось, даже кожей он ощущал раскаленную атмосферу зала.

— Вы можете «завоевать государство», вы можете изменить законы, вы можете попытаться запретить организациям существовать в той форме, в которой они существовали до сих пор, но вы не можете стать сильнее объективных условий, в которых вынуждены действовать. Вы только заставите пролетариат искать новые пути борьбы... С этой трибуны, обращаясь к пролетариату и итальянским крестьянским массам, мы хотим сказать: революционные силы Италии не позволят раздавить себя!..

Зал шумел. Депутаты-фашисты вскочили со своих мест, некоторые бросились к трибуне. Коммунисты окружили Грамши.

Председатель: — Не перебивайте! Дайте ему говорить. Однако вы, депутат Грамши, говорите о законе.

Грамши: — Этот закон против рабочих и крестьян, которые хорошо поймут все, когда увидят, как закон будет применяться. Фашистам не удастся осуществить свои мутные замыслы, не удастся препятствовать росту революционного движения. Против вас все развитие итальянского общества.

Председатель: — Депутат Грамши, эту мысль вы повторили три или четыре раза. Мы не присяжные заседатели, которым нужно много раз повторять одно и то же.

Грамши: — Нужно повторять, нужно, чтобы слушали все... Революционное движение победит фашизм!

Зал шумел.

Итальянский биограф Грамши Джузеппе Фиори приводит следующую деталь:

«Рассказывают, но не имеется по этому поводу прямых свидетельств, что Муссолини сразу после речи депутата-коммуниста увидел Грамши в буфете парламента, подошел к нему с протянутой рукой, поздравляя с удачным выступлением. Грамши равнодушно продолжал пить кофе, игнорируя руку, которую ему протягивали».

Он пишет о выступлении в парламенте жене, пишет шутливо и вместе с тем очень серьезно. Пишет о своей беспокойной жизни, дает короткие, но точные оценки политической ситуации.

«Рим, 25.5.1925.

...Трудности возрастают — теперь у нас имеется закон об организациях (то есть против них), прелюдия планомерной полицейской деятельности, направленной к уничтожению нашей партии. Этому закону был посвящен мой дебют в парламенте. Фашисты обошлись со мной мило: на этот раз, следовательно, с революционной точки зрения я начал неудачно. Они собрались вокруг меня и дали мне сказать то, что я хотел.

...Очень-очень люблю тебя, больше, чем прежде, потому что могу думать о тебе, как о маленькой маме, и представлять себе тебя с нашим ребенком.

Крепко-крепко обнимаю тебя, дорогая.

Г.»

«1.6.1925 г.

Внешне моя жизнь протекает спокойно, то есть не заметно никаких крупных, драматических перемен. Однако события развиваются неумолимо, и надо сосредоточить все внимание, чтобы следить за ними, понимать их и пытаться руководить ими. Реально значимые социальные силы все больше группируются либо вокруг фашистов, либо вокруг нас, промежуточные партии медленно умирают. Кризис захватывает всех. В некоторых кругах интеллигенции, куда, казалось, мы никак не могли проникнуть, начинают раздаваться голоса, требующие единого фронта с революционными рабочими... Мы слишком сильны, чтобы не брать на себя инициативу в отдельных столкновениях, но еще слишком слабы, чтобы идти на открытую, решающую схватку.

Поэтому кажущееся спокойствие насыщено постоянной тревогой и напряжением. И я один, дорогая... Я ощущаю свое одиночество еще и потому, что нелегальное положение партии вынуждает нас вести индивидуальную и обособленную деятельность. Стараюсь убежать из этой политической пустыни, часто навещаю Татьяну, которая напоминает мне тебя. Но твое отсутствие не может возместить никто и ничто. Что бы я ни видел вокруг себя — все напоминает о тебе и о Делио...

Г.»

«12.7.1925 г.

Дорогая Юлька,
я был далеко от Рима и упустил две возможности написать тебе. Я путешествовал: ездил в Венецию и в Триест, чтобы обсудить с тамошними товарищами внутреннее положение в партии, которое оказалось очень хорошим, несравненно лучше, чем я думал. На съезде мы получим подавляющее большинство: партия оказалась более большевистской, чем можно было предполагать, и очень энер-

гично реагировала на фракционизм бордигианских экстремистов. Наша политическая линия уже одержала победу внутри партии, поскольку экстремистское течение раскололось, и большинство ответственных его участников примкнуло к платформе Интернационала, а также среди трудящихся масс, поскольку наша партия завоевала большое влияние и руководит извне массами, примыкающими к другим партиям.

Г.э

Вышел из тюрьмы Тольятти: по случаю двадцатипятилетия вступления короля на престол была объявлена широкая амнистия. Тольятти дал знать Грамши, где его можно найти.

Встреча старых друзей была сердечной и оптимистичной, несмотря на окружающие их опасности. Выяснилось, что Тольятти освободили не в Риме, как это следовало сделать, а отправили в Турин в арестантском вагоне, с остановками в пересыльных тюрьмах Пизы и Генуи.

— В Турине перед освобождением, — скупно улыбаясь, рассказывал Тольятти, — мне в квестуре устроили так называемое «зеркальце», знаешь, Нино, что это такое? Через комнату проходили десятки агентов, пристально смотрели на меня и следовали дальше. Не думаю, что их всех прикомандируют к моей особе. Но я все же принял меры предосторожности. До станции железной дороги, которая вела в провинцию Асти, пришлось идти пешком. Потом с пересадками добрался до Рима.

Друзья договорились о встрече для составления тезисов очередного съезда партии. Спустя некоторое время Грамши, сообщив хозяевам о своем отъезде на два-три дня, ночью вышел из дома с маленьким чемоданчиком, удачно оторвался от своего «хвоста», благополучно добрался до квартиры Тольятти.

— В моем распоряжении двое суток,— сказал Грамши.— Спать, видимо, не придется. Точка зрения руководящего ядра партии известна. Оговорив основное, наметим разделы, запишем вчерне, потом ты сформулируешь все. Не возражаешь, Пальмиро?

— Нет.

— Тогда сварь кофе покрепче и приступим.

Двое суток непрерывной работы, споров, во время которых рождались новые мысли, отрабатывались формулировки.

— Как в добрые студенческие времена,— заметил Тольятти.— Помнишь ночные бдения, наши бесконечные споры?

— Например, о роли и подлинности XII таблиц,— улыбнулся Грамши.— Разница лишь в том, что сейчас предмет нашего суждения — роль партии в борьбе против фашизма.

...Истекли двое суток.

— Все,— устало сказал Грамши, положив последний исписанный листок на кипу черновиков.— Проверь, Пальми.— Он поднялся и подошел к окну, осторожно приоткрыл уголок шторы. За окном светлело. Улица казалась пустынной.

Тольятти методично раскладывал листки черновиков, вслух называя разделы:

— «Анализ общественного строя Италии»... Это сюда, и это... «Политика итальянской буржуазии»... Где-то у нас была вставка?.. «Движущие силы и перспективы революции»... Не хватает страницы... Ах, вот она.

— Не кажется ли тебе, Пальми, что в этом разделе действительно недостает страницы? — задумчиво сказал Грамши.— Страницы о стратегии революции в обозримом, стремительно изменчивом будущем!.. Впрочем, вопрос носит риторический характер: *сегодня* мы еще не готовы написать эту страницу... Прощай, Пальми. Береги себя.

Высунувшись из окна, Тольятти наблюдал, как удаляется фигура друга. Похоже, что слежки нет. Тольятти взял чистый лист бумаги и, заглядывая в черновик, написал:

«Превращение коммунистических партий, в которые объединяется передовая часть рабочего класса, в партии большевистского типа в настоящий момент следует считать основной задачей Коммунистического Интернационала. Эта задача должна быть поставлена в связи... с развернувшейся внутри рабочего движения борьбой между марксизмом и различными течениями, представляющими собой отклонения от принципов и практики революционной классовой борьбы».

За окном просыпалась улица. Прогромыхала тележка молочника.

4

Как было условлено, Татьяна Аполлоновна зашла за Грамши. До прибытия поезда, с которым приезжали Юлия Аполлоновна с сестрой Евгенией и маленьким сыном, оставалась уйма времени, но Грамши встретил своюченицу, нетерпеливо расхаживая по комнате, время от времени поглядывая на часы.

— Я вас так ждал, Татьяна. Пора.

— Я думала еще переписать на машинке ваши письма.

— Никаких писем. Вдруг поезд придет раньше. Конечно, это маловероятно, но все же. Пошли.

— Ох, Антонио, Антонио...

Но Грамши уже не слушал, и Татьяне Аполлоновне не оставалось ничего иного, как догонять его, стремительно сбегаящего вниз по лестнице.

У цветочницы на углу купили великолепные розы.

На следующем углу букет увеличился. На вокзал Термини Грампи пришел с целым снопом цветов.

До прибытия поезда оставалось еще минут тридцать. Это были длинные минуты. Наконец поезд подошел к перрону. Толпа встречающих хлынула к вагонам, смешалась с выходящими пассажирами. Грампи увидел Юлию. У нее на руках был годовалый Делько. По ступенькам вагона спускалась Евгения Аполоновна.

С вокзала ехали на извозчике. На перекрестке пришлось подождать, пока не пройдет отряд марширующих мужчин. Нет, маршировали не солдаты, не карабинеры — этот отряд их бы не удивил. Люди шагали в боевой выкладке, с винтовками, перепоюсанные ремнями, черные рубахи, солдатские штаны, заправленные в сапоги, на головах — фески, как у турок, молодые и немолодые, тощие и пузатые, со свисающими на грудь тройными подбородками. Странное и страшное зрелище.

— Кто это?

— Сквадристы, — коротко ответил Грампи и пояснил: — Сквадра — боевая единица фашистов. Ты еще не то здесь увидишь, — с горечью сказал он.

Чуть дальше они увидели выставленный на балконе — видимо, какого-то учреждения — гигантский портрет Муссолини. В генеральском мундире с султаном, гримасничающий дуче показался похожим на ярмарочного факира. Но впереди маячила спина извозчика, и сестры сжали за благо не делиться своими впечатлениями. И еще раз в конце пути наткнулись они на марширующих сквадристов. А портреты дуче, поясные и во весь рост, и считать перестали.

Это были внешние приметы фашизма, опутавшего своей паутиной Рим и всю Италию.

Но в квартире, снятой для дорогих приезжих, было уютно. И разговоры-воспоминания с сестрой, с которой не виделись тоже более десяти лет, были такими домаш-

ними. И Антонио... Но где же Антонио? А Грамши исчез. Никому ничего не сказал и исчез. Вернулся он через два часа, когда все уже начали беспокоиться, с огромным плюшевым медвежонком. На хор укоризненных женских голосов Грамши ответил извиняющейся улыбкой и непонятной фразой, что дети очень быстро растут. Делио обрадовался подарку, обнял медвежонка, так в обнимку и улегся с ним спать.

Когда волнения утихли, Грамши пояснил, что был поражен переменой, происшедшей в ребенке за полгода, и купленный заранее подарок показался неинтересным для годовалого мужчины. Так в семье Грамши воцарился большой, добродушный плюшевый мишка — реликвия, переходящая из поколения в поколение. Сегодня бывалым мишкой играют внуки Грамши.

Последующие одиннадцать-двенадцать месяцев стали, наверное, самым счастливым временем в жизни Грамши. Это было счастье совместной борьбы, о котором он мечтал. Попечение над Делио на это время взяла на себя Евгения Аполлоновна. Юлия пошла работать переводчицей.

Иногда они не виделись по целым неделям. Грамши разъезжал по областным организациям. В декабре в Милане состоялась партийная конференция, на которой Грамши выступил с докладом Центрального комитета КПИ. Конференция собралась нелегально. Грамши понадобилось множество уловок, чтобы избавиться от двух постоянно сопровождавших его полицейских. В затерянной среди полей хижине пятьдесят делегатов, сгрудившихся возле маленькой лампадки, всю ночь слушали Грамши. На рассвете делегаты покинули хижину.

Грамши вернулся в Рим уставший, но возбужденный. Юлия сказала: «От тебя пахнет порохом». Он был похож

на солдата после тяжелого боя. Сам Грамши оценивал деятельность коммунистов как участие в бою.

Тридцать первого декабря — в последний день уходящего года — фашистское правительство приняло один из законов «по защите государства», фактически уничтожающий свободу печати.

Наступал новый, 1926 год. В старинном особняке на виа Гаэта, где еще в 90-х годах обосновалось русское посольство, а сейчас помещалось советское полпредство, готовились к новогодней встрече. Сотрудники посольства могли приглашать гостей. Юлия Аполлоновна торжественно пригласила «гостя» — собственного мужа.

Приехали они вместе. Но Юлия Аполлоновна заранее дала согласие участвовать в импровизированном новогоднем концерте, и ей необходимо было условиться с аккомпаниатором. Пришлось оставить мужа одного. Разговор с аккомпаниатором вылился в маленькую репетицию, Юлия Аполлоновна задержалась и вернулась в зал с чувством некоторой вины: Грамши не любил пустые разговоры, неизбежные в смешанном обществе, где рядом с друзьями обязательно находились и недруги. Но на сей раз опасения оказались напрасными. Он оживленно беседовал с небольшой группой гостей. Юлия Аполлоновна подошла поближе, прислушалась.

— К свидетельствам средневековых авторов, разумеется, надо относиться с уважением, — говорил Грамши. — Однако нельзя забывать характерную особенность средневекового мышления — игнорирование изменчивости мира и бытия. Ведь понятие изменчивости мира стало кристаллизоваться лишь в эпоху Возрождения.

— Простите, а «Исповедь» блаженного Августина? — спросил один из слушателей.

Грамши одобрительно посмотрел на задавшего вопрос.



— Труды блаженного Августина — как раз то исключение, которое подтверждает правило. По глубине психологического самоанализа Аврелий Августин намного опередил свое время. И я как раз хотел напомнить вам риторический вопрос блаженного Августина: «Кто теперь знает, какой народ Римской империи чем был, когда все стали римлянами и все называются римлянами?» Действительно, итальянская народность возникла на небольшой территории, составляющей лишь часть обширного Римского государства, правда, часть, наиболее близкую к центру Рима, — «сад империи»... История жестока, «сад империи» вырос на почве, политой кровью, покоренные народы сопротивлялись грубой ломке их традиций. Ранний период истории Римского государства был особенно кровавым, позднее процесс ассимиляции стал проходить менее болезненно, этнически пестрое население Италии превращалось в «римлян». Чтобы стать гражданином Рима, нужно было владеть латинским языком... Простите, но, может быть, вам как специалистам этот взгляд кажется чересчур общим?

— Нет, это важно и интересно, — сказал тот, кто интересовался блаженным Августином. — Именно общего взгляда на историю подчас не хватает специалистам.

Грампши наслаждался экскурсами в любимую, по необходимости отставленную на второй план лингвистику, наслаждался интеллектуальной беседой со сведущими людьми (потом Юлия Аполлоновна узнала, что это были специалисты по романским языкам, приехавшие в Италию на симпозиум).

Затем начался концерт. Пел молодой советский артист Батурин (он проходил в Италии стажировку), Юлия Аполлоновна играла на скрипке, на той самой старинной итальянской скрипке, на которой она исполняла «Легенду» Венявского в Москве, в первую новогоднюю ночь после Великой Октябрьской революции.

Ровно в 12 часов подняли бокалы: «За счастливый Новый Год!»

Традиционный тост. Как редко он сбывается!

Впрочем, 1926 год начался для Грамши, для партии хорошо.

В январе во Франции, в Лионе, собрался III съезд Коммунистической партии Италии. 70 делегатов перешли границу в 11 пунктах, пробираясь во Францию альпийскими перевалами. Съезд происходил в обстановке абсолютной секретности, не раз его приходилось переносить из одного места в другое.

С неослабевающим вниманием делегаты слушали четырехчасовой доклад Грамши и приняли выработанную Грамши и Тольятти программу борьбы с фашизмом. Съезд положил конец внутреннему кризису в партии, создал условия для нормального развития и политики руководства массами.

Вернувшись в Италию, Грамши с головой окунулся в практическую работу. «Надо спешить!» — повторял он. Центральные руководящие органы партии были реорганизованы; подпольный секретариат надежно укрыт от фашистов и полиции, при секретариате создан технический отдел, в его ведении находились явки, курьеры и прочие средства связи.

16 февраля скончался Гобетти. Светловолосый, голубоглазый Пьеро Гобетти, любимец туринских рабочих. Фашисты подстерегли Гобетти на улице. Как они его били, мерзавцы, как били!

Он умер в Париже. Ему было всего 25 лет.

Три месяца спустя — еще одна тяжелейшая утрата. 11 мая в Капанна Маре собрался Центральный комитет партии. Уже приехали почти все. Ждали Серрати и еще нескольких товарищей. Вбежал один из членов ЦК, не отвечая на приветствия, бросился к Грамши и что-то прошептал ему на ухо. Грамши побледнел и после корот-

кой паузы, которая собравшимся показалась бесконечной (ведь можно было ждать любой неожиданности), произнес:

— Случилось ужасное. Товарищ Серрати умер.

На несколько мгновений все как бы окаменело. Может быть, сильнее всех переживал эту потерю Грамши, но он первым пришел в себя.

— Необходимо немедленно по группам разойтись по-дальше отсюда. Полицию известят о том, где и с кем был Серрати в момент смерти. Полиция легко обнаружит место сбора... Нужно, чтобы тут никого не было.

Договориться о встрече в Милане и об организации торжественных похорон Серрати было делом нескольких минут. Один из товарищей остался у тела Серрати, другой спустился в деревню, чтобы организовать перевоз покойного в Милан.

Так умер Джачинто Менотти Серрати, умер, как солдат в бою. Политическая жизнь его была сложной, неоднородной. Он ошибался, сходил с дороги, но снова находил единственно верный путь. Глубоко скорбя о смерти Серрати, Грамши писал:

«...Основной чертой политической деятельности Серрати было его стремление к единству, его неустанная забота о сохранении любой ценой единства.

...Можно сказать, что в этом смысле товарищ Серрати был самым честным и благородным представителем старшего поколения итальянского традиционного революционного социалистического движения, что в его деятельности проявились все самые великодушные и самые бескорыстные черты этого поколения». И еще: он «пользовался такой любовью, какой никогда не мог завоевать ни один руководитель партии в нашей стране».

Потеря за потерей. Счастливый новый год!.. И все же, если отрешиться от личных утрат (это тяжело, почти невозможно, но история состоит из тысяч и миллионов судеб), год складывался не то чтобы счастливо — в усло-

виях бесконтрольной власти фашизма это понятие исключалось, — но организационно результативно. Летом на одном из заседаний Политбюро КПИ Грамши отметил рост партии (около 30 тысяч человек), активизацию ее деятельности на заводах и в деревне.

Хронология деятельности Грамши в 1926 году поражает. Трудно представить, что не очень здоровый человек в условиях полицейской слежки мог столько успеть.

Надо спешить!

Но и противник спешил. Фашизация страны находилась в тесной взаимосвязи с внешней политикой Италии. Муссолини готовился к войне. Внешнюю итальянскую политику поддерживала Англия.

«Восемь миллионов итальянцев готовы броситься в бой!», «Война — это огонь очистительный, она исцеляет дух нации», «Наши взоры обращены на Восток». Подобные лозунги пестрели на страницах газет. Еще в начале 1926 года Муссолини заявил в парламенте, что считает итальянскую нацию в состоянии перманентной войны. Эту мысль он всячески развивал на многочисленных митингах, на которых дуче охотно ораторствовал. Средиземное море — итальянское море, повторял Муссолини на разные лады, иногда осторожно, потому что английская дипломатия не прочь была сделать Средиземноморье «своим», но чаще открыто, со свойственным ему театральным пафосом.

В 1926 году подготовка к войне стала официальной программой фашистской партии и итальянского правительства.

5

Второго августа Грамши выступил перед руководством партии с докладом о тактике, применимой к рабочему классу и средним слоям населения в условиях действия

чрезвычайных законов. Он призвал укреплять уже имеющиеся связи между партией и трудящимися на предприятиях, предостерегал от неосторожных действий, могущих вызвать напрасные жертвы. Обстановка, сказал Грамши, требует перехода к еще более строгой конспирации. Весь следующий день участники совещания обсуждали доклад Грамши, намечали конкретные планы подпольной борьбы, затем представители областных организаций разъехались. На сей раз все обошлось благополучно, хотя вокруг шпыряли агенты полиции.

Вернулся на улицу Морганья поздно вечером. Наутро поспешил на квартиру, где жили сестры. Сейчас в Риме была одна Юлия, Евгению Аполлонову с Делио отправили на летнее время в горы. Женя пишет, что малышу там хорошо. Пусть набирается силенок перед дальней дорогой, скоро придется отправлять их в Москву. И Юльку. Ее еще раньше. Она ждет ребенка. Врачи говорят, что все идет нормально, но задерживаться нельзя. Надо бы ее отправить раньше, но она упиралась: работа попала интересная, все жалела бросать. А у него не хватило характера настоять, когда еще доведется пожить вместе! Но теперь более чем пора. И срок родов приближается, и уж очень в Италии горячо.

Юлия Аполлоновна завтракала. Она налила мужу кофе, сделала бутерброд с сыром, предложила приготовить омлет. В их московском обиходе омлет считался «фирменным блюдом». Грамши сказал, что омлет — это слишком роскошно, а кофе выпьет с удовольствием.

Он очень любил такие тихие, редкие в их жизни минуты. Нет, в этот августовский день он не будет ни о чем думать. Никакой политики. Только бросить взгляд на газеты за последние два-три дня, они накопились, пока он был вне Рима. Что за странные рассуждения о цензуре и писательской ответственности? Рিশелье был откровеннее: дайте мне любые две строчки, говорил доб-

рейший кардинал, и я найду, за что повесить их автора... Ах, вот в чем дело, Муссолини произнес речь перед писателями. Читала, Юлька? Нет. Послушай. «Какая задача стоит перед итальянскими писателями в переживаемый нами исторический период? Совершенно очевидно, что я изгоняю из семьи итальянских писателей... всех тех, кто обуян духом меркантилизма и не вдохновляется высшими интеллектуальными ценностями. В литературном мире надо также установить иерархию, нельзя, чтобы все стояли на одинаковом уровне, равенство противостоит естественности и антиисторично». Что ты сказала, Юлька?

— Демагог и пахал.

— Ну, это еще скромное определение. Слушай дальше: «В чем же заключается долг всех тех, кто творит? Надо, чтобы все итальянские писатели были провозвестниками нового типа итальянской цивилизации. Писателям надлежит делать то, что можно назвать интеллектуальным империализмом». Черт знает что такое! Понимаешь, Муссолини требует, чтобы великая Италия воспитывала народы, которые не могут, подобно нам, гордиться своей тысячелетней историей. «Мы должны воспитывать их, мы должны завоевывать их очарованием наших духовных творений. Это во многом поможет нашей политике. Книга порою играет роль посла, успех какого-нибудь театрального представления может превзойти успех политической речи. Почему?»

— Это ты спрашиваешь?

— Неужели я способен задавать дурацкие риторические вопросы! Ответ: «Потому что есть стиль, есть формы, которые могут проникнуть в души миллионов людей, глубоко затронуть чувства народов и заставят их понять и полюбить новую Италию. Вы, писатели, обязаны выполнить этот свой долг».

— Может быть, хватит? — взмолилась Юлия Аполлоновна.

— Хватит. — Грамши швырнул газету на стол. — Одно я скажу тебе, Юлька, никогда фашистский режим не создаст своей культуры. Никогда! Согласна со мной? Что же ты молчишь?

— Думаю, ты прав. Но культура — только часть жизни нации. Скажи, Антонио, — Юлия Аполлоновна понизила голос и оглянулась, — этот культ грубой силы, эгоизма и презрения к слабому... Не кажется ли тебе, что он достиг цели?

— Кое в чем достиг, — сказал Грамши, помолчав. — Вот ты оглянулась, желая удостовериться, что нас не подслушивают... Видишь ли, Юлия, они ошибаются в главном... Но прежде об эгоизме, который, как известно, есть удовлетворение желания одного за счет другого. Можно быть эгоистичным в отношениях с семьей, с друзьями, но ты рискуешь остаться без семьи и друзей. Что же касается эгоизма в государственном или международном масштабе... Макиавелли первый высказал мысль, которая позднее стала популярна в Америке благодаря повторившему ее Линкольну: «Нельзя все время обманывать всех людей». Правители в своем презрении к народу не верят в способность людей понять правду. Но народ увидит — это неизбежно — обман своих правителей. И тогда подходит час расплаты... Как умел, я ответил на твой вопрос. Не будем сейчас развивать эту тему... Ты выяснила намерения Татьяны: едет она с тобой в Москву или нет?

— Не знаю, Антонио. Папа и мама очень ее зовут, а Таня колеблется. Я бы очень хотела, чтобы она поехала. Нет-нет, не из-за себя, не беспокойся, дорогой, я прекрасно доеду одна. Профессор, к которому меня водила Таня, остался доволен развитием ребенка и моим состоянием. Он сказал, что мы оба молодцы.

— Оба... — тихо повторил Грамши. — В мир приходит новый человек... И снова меня не будет. Снова все ло-

жится на твои плечи... Плохой муж достался тебе, Юлька.

— Лучший муж на свете.— Она легко, несмотря на беременность, поднялась, подошла сзади к сидящему Грамши и прижалась лицом к его густым волосам. Полуобернувшись, Грамши обнял ее.

— Девочка моя. Береги себя. Я знаю — ты сильная.

— Мне страшно за тебя, Антонио,— прошептала Юлия, впервые облекая в эту короткую фразу чувство, которое возникло еще весной прошлого года в Москве, усилилось в Риме и неустанно сверлило ее все эти недели подготовки к отъезду.

— Вот тебе и рав. А я только что похвалил тебя. Ничего со мной не случится. Ты знаешь, как я осторожен. И не забывай — депутатская неприкосновенность.

— Депутатская неприкосновенность,— горько повторила Юлия.

— Ну-ну... Выбрось все страхи из головы. Мне ничто не угрожает. Давай лучше подумаем о подарках для наших дорогих москвичей и — не забудь — для иваново-воз-не-сен-цев.— Он так смешно произнес название, что Юлия, украдкой вытирая слезы, улыбнулась.

— Не забуду.

12 августа в 4 часа дня поезд подошел к московскому вокзалу. В толпе встречающих мелькнула седобородая величественная голова отца.

— С приездом к родным пенатам, Юленька. Ждут пенаты не дождутся. Давай вещички. И скрипочку, позвольте. Что это скрипочка вроде потяжелее стала.

— Неужели чувствуется? — удивилась Юлия.

— Мы люди бывалые. Дело известное — контрабанда! Нехорошо-с, нехорошо-с с вашей стороны,— весело говорил Аполлон Александрович, увлекая дочь к выходу сквозь расступающуюся толпу встречающих. Глаза его смеялись, морщинки от глаз бежали вниз и исчезали в бороде.

— Во всех таможенных открывали... и недоумевали. «Пеленки, синьора?» Понимаешь, я на всякий случай захватила с собой, чтобы были под рукой.

— На всякий случай,— пробормотал Аполлон Александрович,— и как тебя Антонио отпустил?

— Деличке с Женей очень хорошо в горах,— не отвечая на вопрос, сказала Юля,— но я бы предпочла, чтобы они уже были здесь. Я думала к ним заехать по дороге в Москву, но визы запоздали. Так и не посмотрела на Делько. К нему подъедет Антонио, он обещал выкроить несколько дней.

— Как себя чувствует Антонио?

— Работает по двадцать пять часов в сутки.

— Нельзя же так, здоровье у него не богатырское.

Юлия Аполлоновна промолчала.

В Москве жил один Аполлон Александрович, остальные члены семьи были в Иваново-Вознесенске. На следующее утро Юлия написала туда короткое письмо:

«Дорогие мои мамочка, Ася, Волька и Федор Эрнестович. Пишу вам из Москвы, куда уже приехала и где даже уже успела переночевать. Чувствую себя великолепно. Женюшка приедет попозже: ей хочется использовать горы возможно дольше. Таня должна была поехать к ней после моего отъезда... Ну, а с вами мы когда увидимся? Скоро уже совсем. Ведь мы теперь близко, близко. Но только мне очень жаль, если вы уедете с дачи, а вместе с тем мне тут придется уладить кое-какие свои дела, и я не знаю, будет ли еще время после этого ехать. Мамочка, помнишь, как я приехала в Зубчаниновку, а ты не верила. Ведь я близко, близко к тебе. Юлька».

И приписка Аполлона Александровича:

«Ну, мои хорошие, как вы теперь решите? Когда вы приедете? На даче Юле пожить нельзя будет, слишком далеко от Иванова. В нужный момент надо действовать, скоро. Она думает о конце августа или начале сентября.

Через несколько дней напишем. Приезжайте. Отец».

— Я опущу письмо по дороге на работу,— сказал Аполлон Александрович.— Хозяйствуй сама. Молоко носят, я предупредил, что будем брать больше... Будешь писать Антонио, передай ему самый сердечный привет. И скажи, нельзя все-таки по двадцать пять часов в сутки.

— Ты не представляешь, что там творится, папа.

6

На короткое время Грамши сумел приехать к сыну в горы, в местечко Трафои. Это были счастливые дни, их не портил даже «хвост», без которого не обходилось теперь ни одно его передвижение. Грамши доказывал, что мужчине, каковым является Делио, нужно мужское общество. К сожалению, «мужчине» было всего два года. Но за время пребывания в Италии он привык к отцу, несмотря на его частые отлучки, и, кажется, тоже находил удовольствие в «мужском обществе». Иногда папа задумывался и вдруг переставал слышать сына. Делько громко выражал свое неодобрение, Грамши виновато спохватывался, добрые отношения отца и сына восстанавливались. Через некоторое время весь цикл повторялся, хотя Грамши давал себе слово в эти последние дни перед отъездом ребенка (внутреннее чувство тревожно подсказывало: счастливые часы общения с сыном могут никогда не повториться) не думать ни о чем постороннем. Давал слово и... продолжал думать о делах, потому что политическая борьба не являлась для него чем-то посторонним, она и связанная с нею напряженная работа мысли были частью его существа. Гуляя с сыном в горах, Грамши обдумывал письмо советским товарищам. Письмо должно было выразить братскую озабоченность итальян-

янских коммунистов поведением оппозиции в ВКП(б) и остротой возникшей полемики...

Из Графой Грамши вернулся в Рим. Выполняя решение Политбюро Коммунистической партии Италии, он написал это письмо и отправил находящемуся в Москве Тольятти для передачи по назначению. Письмо содержало согласие с политической линией большинства и осуждение ошибочной позиции оппозиции.

Но в письме была мысль, которая придала ему особую остроту. «Только твердое единство и твердая дисциплина в Партии, которая руководит Рабочим государством, может обеспечить гегемонию пролетариата...— писал Грамши и продолжал: — Но единство и дисциплина должны быть лояльными и убедительными...»

Грамши понимал, что, находясь в отдалении от эпицентра политической борьбы в братской партии, он многого не знает или знает из вторых рук. Но не мог не написать такое письмо!

Руководство Коминтерна решило послать в Италию одного из членов секретариата для подробного сообщения,

Дома сразу стало пусто: Делио уже у мамы в Москве. Со дня на день Юлия Аполлоновна ждет рождения второго ребенка.

На секретариате партии в отсутствие Грамши обсуждался вопрос о выезде его из Италии. Грамши уезжать отказался и привел множество аргументов против этого предложения.

Но Грамши со всей серьезностью относился к опасности ареста или нападения на любого из руководителей партии. На очередном заседании Политбюро было решено создать в Швейцарии Заграничный центр, непосредственно связанный с Внутренним центром. И еще одно важное решение принято Политбюро на том же

заседании: все руководящие органы будут иметь полностью законспирированные и менее многочисленные дублирующие составы.

24 октября на квартире Грамши был обыск. Ничего компрометирующего не нашли и даже извинились перед опореvole депутатом и кипящими от возмущения добропорядочными супругами Пассарж. Но сигнал прозвучал и сигнал более чем тревожный. Было принято решение о немедленном выезде Грамши за границу.

«Это коллективное решение, Антонио, и ты обязан его выполнить».

Грамши неохотно согласился. Но потребовал, чтобы план нелегального перехода границы был реализован после заседания ЦК, на котором предполагалось выступление представителя Коминтерна.

После заседания Грамши рассчитывал попасть в Москву на расширенный пленум ИККИ. Он сообщает об этом жене (письмо, как и многие предыдущие, отправлено, разумеется, не по обычной почте).

«27.10.1926 г.

Дорогая Юлька,
на этой неделе я опять не получил никаких известий от тебя. 30, то есть через три дня, я выеду из Рима и попытаюсь выбраться из страны, чтобы попасть на расширенный пленум ИККИ. Но вполне уверен, удастся ли мне это, но, кажется, есть кое-какие благоприятные возможности. Как только попаду на советскую территорию, протелеграфирую тебе, но, как и в прошлый раз, прошу тебя, приходи на вокзал только в случае хорошей погоды и если ты будешь абсолютно свободна. Таким образом, для меня наступает период, может быть долгий, когда я ничего о тебе не буду знать и не смогу писать тебе. Но меня несколько утешает надежда увидеть всех вас.

Обнимаю тебя и детей.

Антонио».

И через неделю:

«4.11.1926 г.

Моя дорогая Юлька,
получил твое письмо от 26 октября и могу еще ответить тебе, так как в связи с одним случайным обстоятельством мне пришлось вернуться в Рим. Однако мое последнее письмо в основном остается в силе.

Как мне хотелось бы приласкать тебя, крепко-крепко прижать к себе твою бедную голову. И успокоить тебя — неправда, будто во мне зародились и продолжают укorenяться одни лишь мрачные мысли... Я был бы просто несчастен, если бы мне не удалось добиться того, чтобы ты понимала меня, чтобы ты чувствовала, даже за холодной броней моих фраз, всю безмерность моей любви и моего непоколебимого доверия.

Может быть, я опять был пеловок. Но мне хотелось бы помочь тебе стать еще сильнее, чем ты есть, чтобы ты сохранила спокойствие в гуще событий и поэтому могла подчинить их себе. Надеюсь, что к моменту, когда ты будешь читать эти слова, Делька уже поправится и Женя тоже, и ты сможешь ждать моего приезда не в такой тревоге. Я хотел бы увидеть всех вас спокойными — может быть, из эгоизма, из-за неудержимого желания время от времени получать свою долю радости. Обнимаю крепко, любимая, тебя и детей.

Ант.»

Но «случайное обстоятельство» было далеко не случайным.

Место для подпольного заседания ЦК было выбрано вблизи Генуи. Точно по заранее составленному расписанию участники заседания разными поездами прибывали в Геную, где их встречали.

Был уже поздний вечер. Собравшиеся с тревогой жда-

ли остальных членов ЦК. Многих не было, не прибыл еще докладчик. Наконец он появился, подошли и некоторые другие товарищи. Они сообщили, что в поездах фашисты обыскивают пассажиров, а подозрительных, с их точки зрения, избивают дубинками.

Неужели фашисты напали на след ЦК? Непохоже, слежкой за компартией занимается тайная политическая полиция — ОБРА. Здесь что-то другое. Но что? Беспокойство отсутствие Грамши.

Последние опоздавшие смогли пояснить причину фашистских бесчинств. Именно в этот день, 31 октября, — одно из совпадений, которыми так изобилует история, — на Муссолини в Болонье было совершено очередное «покушение». По выражению старого Турати, дуче «любил, когда на него покушаются!» Что имел в виду Турати? Роль ОБРА в этих покушениях? Или склонность дуче к театральным эффектам? Или то и другое? Во всяком случае, в 1925—1926 годах на Муссолини было совершено четыре покушения.

4 ноября 1925 года в Риме в номере гостиницы был арестован Тито Дзанибони. Окна гостиницы смотрели на палаццо Киджи, с балкона которого собирался выступать Муссолини, в руках Дзанибони будто бы держал винтовку. Несмотря на неясность ситуации, приговор был максимально суров: 30 лет тюрьмы. Унитарная социалистическая партия, членом которой был Дзанибони, была запрещена, лидер партии Турати с большим трудом бежал за границу. Впоследствии выяснилось, что к «покушению» причастен провокатор, связанный с полицией.

7 апреля 1926 года мисс Джибсон, дама весьма почтенного возраста, выстрелила из револьвера в Муссолини, когда он выходил из Капитолия. Пуля слегка оцарапала нос дуче. Покушение как раз было всамделишное, но выглядело все — и возраст стрелявшей, и оцарапанный нос дуче — опереточно. Муссолини понял это, Джибсон была

признана невменяемой, ее вскоре освободили, и она вернулась в Англию.

11 сентября того же года нелегально приехавший из Парижа молодой рабочий-анархист Лючетти бросил бомбу в автомобиль Муссолини. Никто не пострадал, специалисты за рубежом считали, что бомба эта была не настоящая, а нечто вроде фейерверочной «шутихи». Лючетти, искренность и мужество которого были вне сомнений, сослали на каторгу. Всего два месяца спустя французская полиция арестовала человека, который по заданию итальянской ОБРА вербовал среди итальянских эмигрантов охотников стрелять в Муссолини, снабжая их оружием, паспортами для поездки в Италию, «явками». Лючетти попался на удочку опытного шпика.

Прогрессивная печать зарубежных стран иронизировала по поводу неуязвимости дуче. Нужно было что-то новое. Поэтому очередное покушение 31 октября разворачивалось по другому сценарию. По официальному сообщению, пятнадцатилетний юноша Антео Дзамбони выстрелил в автомобиль, в котором ехал дуче. Никто не был ранен, но с Дзамбони расправились тут же, на месте, закололи кинжалами, тело проволокли по улицам Болоньи, ватем повесили. Некоторые очевидцы считали, что стрелял вовсе не Дзамбони, но им быстро заткнули рот.

Подробности покушения выяснились позднее, а пока, поздним вечером 31 октября, участники заседания руководящих органов коммунистической партии могли только тревожиться за Грамши, который так и не приехал. Заседание состоялось, в связи с чрезвычайными обстоятельствами оно было недолгим.

Что же случилось с Грамши? На пути к месту собрания он был задержан агентами полиции. Его протест и ссылка на депутатскую неприкосновенность ничего не изменили: «Ради вашей безопасности, синьор депутат, только ради вашей безопасности, видите, что творится!»

— Вежливые были до умопомрачения, подозрительно вежливые,— мрачно заметил он товарищу на другой день.— Судя по всему, они готовят крупные пакости.

5 ноября Совет министров принял решение о роспуске всех партий и организаций, враждебных фашистскому режиму, о закрытии всех оппозиционных газет. Был подготовлен законопроект об учреждении «Особого трибунала по защите безопасности государства». 9 ноября правительство выносило законопроект на обсуждение палаты депутатов.

Каждый день приносил неожиданности. 6 ноября фашистская газета «Тевере» («Тибр») опубликовала призыв секретаря фашистской партии Фариначчи лишить депутатов Авентинской оппозиции их мандатов. В именном списке исключаемых фамилий депутатов-коммунистов не было: коммунисты к тому времени уже вышли из «Авентина», по-видимому, эта репрессивная мера на них не распространялась.

8 ноября парламентская группа коммунистов собралась во дворце Монтечиторियो. Грамши пришел под эскортом. Уединившись в одной из комнат, коммунисты наметили программу действий на завтра. Грамши поручил Рибольди выступить при обсуждении чрезвычайных законов и против предложения Фариначчи.

— Создается впечатление, что Муссолини не хочет скандального резонанса за границей и хотя бы формально сохранит парламентский иммунитет,— с надеждой сказал Рибольди.

Грамши покачал головой:

— Вряд ли. Нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Неожиданность последовала в вечер того же дня. Муссолини недовольно предложил Фариначчи включить в список депутатов-коммунистов. Фариначчи возразил, что

принцип списка — отказ авентинцев участвовать в работе парламента. Коммунисты же не отказываются.

— «Такова воля короны», — коротко ответил Муссолини. С этого момента участь Грамши и других депутатов-коммунистов, избранных народом, была решена вопреки всем правовым нормам и традициям итальянского парламентаризма. Срок их пребывания на свободе ограничивался часами.

7

Джузеппе Аморетти, старый товарищ Грамши по «Ордине нуово», нервно постучал в дверь.

— Войдите.

Грамши писал, низко склонившись над столом. Из-за груды рукописей виднелась лишь шапка густых, выющихся волос. С внезапно нахлынувшей нежностью Аморетти вспомнил, что в детстве Антонио называли «Сансонедду». «Сансонедду» давно вырос, но друзья по-прежнему величают его Самсоном. Впрочем, за глаза. Антонио не любит преувеличенных изъятий любви и преданности.

— Садись, друг, — сказал Грамши. — Сейчас закончу. Аморетти взорвался:

— Ты думаешь, они будут ждать и улыбаться?.. Надо мчаться, бежать, уйти в подполье. Потом будет поздно. Умоляю тебя, Антонио!

Грамши оторвался от рукописи и поднял голову. Ясные голубые глаза были спокойны.

— Бежать? Нет.

— Подойди к окну, Антонио. Смотри.

Тихая улица Морганьи выглядела сегодня необычно. По тротуару туда и обратно прохаживались плечистые субъекты в черных рубашках. У подъезда дома стояла группа карабинеров. Лучи заходящего солнца весело

искрились на оружии и пуговицах их мундиров. Карабинеры выглядели очень живописно.

— Видишь красавцев, — возбужденно говорил Аморетти. — Я спросил вот того, усатого: «Зачем вы здесь?» — «Охранять синьора онореволе», — подлец захохотал мне в лицо. Они уже не церемонятся, Антонио. Ты еще депутат парламента, но они уже не церемонятся. Надо бежать. У нас есть машина, люди. Мы распыряем этих красавцев и прорвемся, ручаюсь, Антонио, прорвемся.

Грамши молчал. Предложение Аморетти было безумно, но иногда смелость безумия выигрывает. Вываться из этого зловещего кольца, на время затеряться в одном из рабочих кварталов Рима, потом пробраться в Швейцарию. Оттуда руководить партией, как это и было намечено две недели тому назад. Но за эти две недели многое изменилось.

Депутаты-коммунисты останутся на своих постах, пока есть хоть малейший шанс с трибуны говорить с итальянским народом, с рабочим классом!

— Ну? — с надеждой спросил Аморетти. — Что решил?

— Работать дальше, и оставим ненужный разговор.

Грамши взял со стола подготовленные пакеты:

— Это — в Заграничный центр. А это — Пальмиро. Нет, пожалуй, не будем рисковать. Ты у них на примете. Ну-ну, не хмурься и скажи, пусть пришлют связного. Будь здоров, дружище.

Из окна он следил за Аморетти... Вышел, закурил... Пошел неторопливо... Остановился. Наверное, окликнули... Так и есть — обыскивают... Возмущенно жестикулирует...

Не переигрывай, Джузеппе, не переигрывай!.. Пошел своей дорогой. Прощай, Джузеппе.

Как часто, слишком часто приходится друзьям говорить «прощай», не зная, когда удастся и удастся ли вообще сказать «здравствуй!». Вспомнилось, как вскоре пос-

ле Лионского съезда он вызвал Тольятти на свидание в Милан.

— Ты должен поехать на некоторое время в Москву, — сказал он Пальмиро. — Будешь представлять нашу партию в Коминтерне. Поработаешь там.

Тольятти сердито молчал. Грамши понимал состояние друга: покинуть Италию в такой момент труднее, чем остаться.

— Ты чудом спасся от расстрела, чудом вышел из тюрьмы. Третьего чуда не будет. Тебя ищут по всей Италии. И найдут не сегодня-завтра.

— А ты?

— Я депутат. Депутатская неприкосновенность кое-что значит.

— Пока, — невесело усмехнулся Тольятти.

— Бесполезно об этом говорить, Пальмиро, прощай, дорогой старый друг!

...Что-то долго нет связаного. А на улице?.. То же самое. «Красавцев», как выражается Аморетти, пожалуй, стало больше. Какое сегодня число? Восьмое ноября. В Москве — праздник. Красные флаги, музыка, песни. Юлька, наверное, дома, кормит трехмесячного Джулиано, — отец еще не видел второго сына. Двухлетний Делио уже самостоятельный мужчина, занимается своими игрушками. Бедная моя... как трудно ей с детьми, с непрестанной тревогой за мужа. Будь сильной, слышишь, будь сильной!

В дверь постучали. Вошел молодой рабочий в комбинезоне, с традиционным сундучком мастерового. На сундучке было написано: «Газ». Грамши всмотрелся:

— Джакомо! А усы откуда? Впрочем, на глупые вопросы можешь не отвечать. Усы тебе определенно идут. Вот на этот вопрос ответь: куда положишь пакеты? Может, тебя и не остановят. Но никогда не рассчитывай на то, что противник глупее тебя.

— Свернуть можно? — деловито спросил Джакомо.

— Можно.

— И если пахнуть будут — ничего? Немного пахнуть, не так чтобы очень, — успокоил Джакомо.

— Ничего, — улыбнулся Грамши.

Джакомо открыл сундучок, вынул металлический цилиндр. «Контрольный баллон», — пояснил он. Быстро снял колпачок, всунул в баллон свернутые в трубочку пакеты, завернул колпачок руками, дождался его ключом, положил баллон в сундучок и только тогда повернул к Грамши улыбающееся лицо.

— Все.

— Молодец, Джакомо, молодец. Ну, давай я тебя обниму на прощание.

Он проследил из окна, как Джакомо, небрежно покачивая своим сундучком, прошел мимо вооруженных людей и скрылся за углом.

Все. Можно садиться за работу.

В половине одиннадцатого на лестнице слышались тяжелые шаги карабинеров.

8

Проводив сестру и племянника, маленького Делько, Татьяна Аполлоновна затосковала. Италия казалась чуждой, неприветливой. К тому же нездоровилось. Лето 1926 года выдалось прохладным. Татьяна Аполлоновна куталась в шерстяную шаль. Познабливало. Поднималась температура. Родные неоднократно настойчиво приглашали в Москву, повидаться, отдохнуть. На этот раз ответила согласием. Стала готовиться к отъезду.

Принесли телеграмму: Юлия родила мальчика. В той же телеграмме сообщили, что Женя с Делько благополучно приехали в Москву. Татьяна Аполлоновна зримо представляет себе картину большой, дружной семьи, и ей ста-

новится еще тоскливее в Риме. В письмах она спрашивает: на кого похож новорожденный, как к нему относится «наш шалунчик-бегунчик» Делько, как чувствует себя Юля — мама двух сыновей?

Татьяна Аполлоновна считает дни до отъезда. Москва, встреча с отцом, матерью. Уже немолодая женщина чувствует себя девочкой, возвращающейся под отчий кров. «Мамусенька, дорогая, — пишет она Юлии Григорьевне, — скоро Татьяна-каратанька к тебе приедет».

Почти каждый вечер к ней на полчаса заходит Грамши. Они говорят о Юле, о детях. Грамши очень озабочен, но к концу этого получаса, по выражению Татьяны Аполлоновны, «оттаивает», начинает смеяться, шутить. Затем смотрит на циферблат будильника — верного спутника Татьяны Аполлоновны в ее кочевой жизни — и стремительно встает. Татьяна Аполлоновна успокаивает Грамши: будильник «с вычислением», он всегда спешит, нужно учесть поправку. Тем не менее — пора. Они прощаются до следующего дня.

8 ноября Татьяна Аполлоновна после работы не пошла домой, а отправилась покупать подарки родным в Москву. Выбирая различные мелочи, она представляла удовольствие, которое подарки доставят родным, и ей становилось радостно и легко на душе.

Возбужденная, нагруженная свертками, Татьяна Аполлоновна пришла домой и тут только почувствовала страшную усталость. Не раздеваясь, прилегла на постель и провалилась в тяжелое забытие. Очнулась от настойчивого стука в дверь.

— Синьора, синьора, проснитесь!.. К вам пришли.

Узнала голос синьоры Онорины. Торопливо зажгла свет, взглянула на часы. Было около двенадцати ночи.

— Войдите, пожалуйста... Синьора Пассарж?! Ради бога, что случилось?!

В дверях стояла квартирная хозяйка Грамши. Чинная,

благопристойная немка была неузнаваема. Пальто растегнуто, ботинки забрызганы грязью. Боязливо оглянувшись, синьора Пассарж прошептала:

— Они арестовали его!

Безумно заколотилось сердце. Подступило удушье.

— Вам плохо, синьора?

— Нет, нет...

Привычно нащупала пузырек с лекарством. Накапала в рюмку, выпила. Стало легче. Усилием воли заставила себя говорить спокойно.

— Спасибо, синьора Пассарж. Сейчас я отправлюсь к его друзьям, а завтра утром приду и помогу вам убрать квартиру.

— Не беспокойтесь, прошу вас. Я справлюсь сама. Только помогите бедному профессору. Мы полюбили его как родного.

— Сделаю все, что могу, синьора Пассарж.

«Сделаю все, что могу». А что, собственно, может сделать хрупкая, болезненная женщина в чужой стране? Одна против жестокой силы!.. Нет, нет, только не падать духом. Действовать, немедленно, сейчас же!.. Темные улицы ночного города. Один адрес... другой... третий... Никого... Все товарищи Грамши — депутаты парламентской фракции коммунистической партии, находившиеся в Риме, арестованы.

Рано утром Татьяна Аполлоновна отправилась во Дворец правосудия. Сколько раз ей еще придется ходить в это огромное трехэтажное здание на берегу Тибра, часами выстаивать в очередях и выслушивать стереотипные ответы: «Не знаем», «Нет сведений», «Ничего не можем сообщить».

В этот первый раз равнодушный отказ был особенно тревожен и горек.

В вечерних газетах она прочитала отчет о сегодняшнем заседании парламента. Депутатов-коммунистов ли-

шили мандатов. Татьяна Аполлоновна вспомнила, как недавно Грамши показал ей карикатуру в одной зарубежной газете: зал заседаний, из боковых лож и со сцены на сидящих направлены пулеметы. Подпись гласила: «Итальянский парламент при Муссолини». Очень похоже.

Пришло письмо из Москвы, ласковое, солнечное, пронизанное счастьем материнства. Маленькие беды остались позади: Делио здоров, маленький тоже. Оказалось, что Делио в дороге заразился скарлатиной и приехал в Москву больным. Его поместили в больницу. Неожиданно захворала Евгения Аполлоновна, хотя она в детстве и перенесла скарлатину. А тут родился Джулиано. Был установлен строгий семейный карантин. Евгения Аполлоновна поправилась, а Делио еще продолжал находиться в больнице. Навещать его опасались, чтобы не заразить грудного ребенка, о здоровье справлялись по телефону. Наконец, к общей радости, врачи разрешили забрать его домой. В больницу отправились втроем: Юлия Аполлоновна, Юлия Григорьевна и Евгения Аполлоновна. Дежурная сестра с некоторым подозрением посмотрела на женщин, которых она видела впервые. Привели Делио. Сестра спросила у него, указывая на Евгению Аполлоновну: «Ты знаешь эту тетю? Кто она?» «Маммина», — произнося по-итальянски «мамочка» (так он привык называть тетю в Италии), ответил ребенок. «А эта?» — указывая на Юлию Аполлоновну. «Мама-Джу». — «А эта?» — «Мамочка», — объявил Делио, называя бабушку так, как к ней обращались ее дети. «Сколько же у тебя мам?» — «Три — маммина, мама-Джу и мамочка», — радостно повторил мальчик.

Татьяна Аполлоновна читала эти милые подробности, а из ее глаз неудержимо капали слезы.

В это время Грамши находился в тюрьме Реджина Чели в одиночной камере, в условиях самой строгой изоляции.

Всю ночь в камере горело электричество. Он ворочался с боку на бок, чтобы как-то уберечь глаза от яркого света. Надо привыкать. Это надолго. Надо привыкать к тюрьме. К лязганью запоров, тяжелым шагам надзирателей, крикам и грубым голосам, доносящимся из коридора; к обходам и проверке решеток ударами железного молотка трижды в сутки — в три часа дня, в десять вечера, в три утра; к жизни по сигналам:

Сигнал — встать и произвести уборку!

Сигнал — принимать пищу!

Сигнал — больные могут посетить лазарет!

Сигнал — к заключенному направляется священник!..

Надо привыкать к неизменно похожим один на другой дням, к грузу мельчайших событий и дел, которые механически повторяются из месяца в месяц, из года в год — все те же, все в том же ритме, с монотонностью гигантских песочных часов.

Надо привыкать!..

ЧАСТЬ IV ВЫСТОЯТЬ!

Вы приведете Италию к катастрофе; мы, коммунисты, ее спасем!

А. Грамши. Последнее слово обвиняемого на заседании фашистского «Особого трибунала» 30 мая 1928 года

Глава первая «БОЛЬШОЙ ПРОЦЕСС»

«Римская тюрьма, 20 ноября 1926 года.

Моя дорогая Юлька,
помнишь ли ты одно из твоих последних писем?.. Ты писала мне, что оба мы еще достаточно молоды и потому вправе надеяться, что нам все же доведется вместе вырастить наших детей. Надо, чтобы ты всегда об этом помнила и, думая обо мне, думала и об этом, мысленно ассоциируя меня с детьми.

Я уверен, что ты будешь такой же сильной и мужественной, какой ты всегда была. Теперь тебе потребуется еще больше мужества, чем прежде, чтобы дети могли получить должное воспитание и стали достойными тебя во всех отношениях. Я много, много думал в эти дни. Я пытался представить себе, как будет протекать в дальнейшем ваша жизнь, так как я, вероятно, долго не буду иметь вестей о вас. *Мысленно я обращаюсь к прошлому, черпая в нем силу и безграничную веру в будущее. Эта сила во мне есть и будет.* Я так люблю тебя и так хочу увидеть наших малышей.

Дорогая моя, я не хочу ни в коей мере расстраивать тебя. Я немного устал, так как очень мало сплю, и потому не в состоянии написать тебе все то, что хотелось бы, и так, как хотелось бы. Хочется, чтоб ты глубоко, глубоко почувствовала всю мою любовь и всю мою веру. Поцелуй всех своих. Обнимаю тебя и детей.

Антонио».

Это было первое письмо жене, первое из дошедших до нас четырехсот с лишним писем из тюрьмы.

На семнадцатые сутки пребывания в тюрьме среди ночи раздалась команда:

— Грамши, с вещами.

Четыре часа утра. Темные улицы спящего города. Вокзал. Знакомый вагон для перевозки заключенных из одной тюрьмы в другую: два ряда узких клеток-купе, в которых едва помещался человек. Между рядами купе — длинная цепь, к ней приковывали заключенных.

Лязганье буферов. Это вагон прицепили к пассажирскому поезду на Неаполь. Гудок паровоза...

Через маленькую щелку можно разглядеть поля, деревья...

В это время Татьяна Шухт стояла в длинной очереди к справочному окошку Дворца правосудия, пытаясь выяснить, когда и куда отправляют Грамши.

— Антонио Грамши? Сведений нет. Обратитесь в тюрьму Реджина Чели.

В тюрьме посоветовали обратиться во Дворец правосудия.

Две ночи провел Грамши в неаполитанской тюрьме Кармине. Затем морем его доставили в Палермо. Между Палермо и Устикой — местом ссылки — курсировал маленький пароходик.

Четыре часа утра. Заключенные в наручниках, скованные одной цепью, спускаются в лодку. Лодка подходит к пароходу. Грамши и его товарищ с трудом — мешают цепи — карабкаются по трапу на борт. Пароходик отплывает, полтора часа пляшет по волнам и возвращается назад. Шторм.

Карабканье по трапу, теперь уже в обратном порядке. Лодка. Берег. Тюрьма. Злые, уставшие конвоиры пересчитывают арестантов.

Короткая ночь. Четыре часа утра. Снова цепи, лодка, трап... и так три раза, пока наконец шторм стал стихать, а капитану надоело болтаться по волнам. Пароходик взял курс на Устику.

Справа на горизонте показались суровые очертания островов Липари, Филикуди, Салина. Еще несколько часов пути. Из моря словно выросли две скалы. Показался и весь остров — обиталище на пять долгих лет. Впрочем, это далеко не самый худший из возможных вариантов.

Пристани на острове нет, пароход становится на якорь в море. Живой груз перебрасывают на лодках. Вместо пляшущей палубы под ногами земля. «Здравствуй, Устика!»

«Этот чертов остров» — называли Устику политические заключенные. Клочок каменистой суши, окруженный морем. Белые домики с плоскими арабскими кровлями. На окнах — железные решетки, на дверях — заморы. Домики-камеры. Домики — маленькие крепости. Трудно отличить, где живут местные жители, где заключенные. Решетки и заморы. Кажется, здесь все друг друга боятся. Да так оно и есть. Из 1600 человек населения Устики — 600 уголовных ссыльных. Эти люди целый день бродят по острову в поисках какой-нибудь еды: крохотного правительственного пособия не хватает. В пять часов вечера звучит сигнальная труба, уголовников пересчитывают, как скот, и запирают до семи утра.

Политические на Устике находились в лучших условиях (это была первая партия ссыльных, в последующие годы все изменилось). Грамши с четырьмя товарищами поселился в отдельном домике. По очереди вели нехитрое хозяйство. Ежедневно проводили занятия, Грамши организовал на Устике что-то вроде политшколы. Местные жители с интересом приглядывались к необычным ссыльным. Один из товарищей Грамши был хорошим врачом. Он охотно оказывал нуждающимся медицинскую помощь. Похоже, что жизнь складывается более или менее сносно.

Так казалось ссыльным, так казалось и Татьяне Аполлоповне. Она отправила Грамши на Устику посылку — вещи, которые он просил: альпинистский мешок, некоторые предметы домашнего обихода. Более ничем помочь ему она не могла и начала всерьез собираться в Москву. В письме от 10 февраля она обсуждает с мамой, что купить в Риме, спрашивает, «нужно ли привезти примус?». Но через день-два после отправки этого письма все перевернулось: пришла телеграмма от Грамши из Палермо, что его везут через Рим на север, он просит передать ему теплое пальто.

Татьяна Аполлоновна заматалась между министерством внутренних дел и тюрьмой Реджина Чели. «Странный способ получить справку, — пишет она родным. — Ты являешься с билетиком, на котором написаны имя, отчество и фамилия... Мне каждый раз отвечали: «No»». И далее в письме: «Позавчера у нас на квартире был обыск. Ничего не нашли, так как книги и бумаги Антонио я успела перевезти...»

Что же произошло на Устике?

14 января 1927 года следователь военного трибунала Миланского округа передал по телеграфу на остров распоряжение: препроводить Грамши и некоторых его товарищей в Милан. Муссолини выразил неудовольствие сравнительно мягким приговором.

Перевод узника в тюрьму Сан Витторе сделал невозможным план побега, который замыслили Камилла Равера и другие товарищи Грамши по партии.

На проводы узников собрался чуть ли не весь остров. Маленькая группа ссыльных-коммунистов оставляла после себя добрую память. В одной из книг о фашистской Италии приведен рассказ немолодой женщины, жительницы Устики.

«Видите вон тот домик внизу? Это мой. А знаете, кому я его сдавала? Тому, кого называли вождем, его звали Грамши. Он был небольшого роста, но какая голова!.. А говорил он, о святой Бартоло, как ангел! От его слов камни и те зашевелились бы... Глаза так и сверкали, и он становился красивым, а ведь был он, как бы это сказать, немного горбатым. Его товарищам приходилось заставлять его поесть, иначе, говорят, он просто забывал об этом,— все, видишь ли, читал и изучал. Даже со мной он говорил о многих хороших вещах, о жизни наших, будто заживо погребенных сицилийских женщин.

Он часто гулял по берегу моря и всегда беседовал о рыбаками, хозяева лодок и прасолы, скупавшие рыбу, наживались на них. И вот тогда многие решили создать рыболовецкий кооператив. А знаете, что потом случилось? Политических увезли отсюда и здесь оставили только уголовных. И хозяева лодок — они все фашисты — построили себе вот эти красивые виллы, а прасолы — они все фашисты — скупили половину земель...

Не помню хорошо, но, кажется, увезли его отсюда в 1927 году».

Итальянская женщина, мы не знаем твоего имени, но благодарны за воспоминания, запечатлевшие кусочек жизни Антонио Грамши и последние минуты его пребывания на острове.

«Я целовала его руки и так плакала, когда он уезжал... Он еле держался на ногах, лицо было как земля, но

глаза, какие были у него глаза! Они горели, как огни маяка! У его товарищей глаза тоже светились, особенно у профессора с длинной бородой, который его лечил... Его звали Маффи!

— Чао, Грамши! Чао, Антонио! Лечись!

Грамши посылал прощальные приветы.

Рыбаки плакали».

— Спрячемся вон там.

— Смотри, смотри...

Из норы медленно и торжественно вылезали ежи.

Пять ежей! Два побольше и три маленьких. Они направились к яблонам, покружились в траве, а затем принялись за работу: помогая себе мордочками и лапками, они катили яблоки, которые падали с деревьев...

Яблоки падали на землю с глухим шумом. Они больно ударяли по головам, по плечам.

— Ох, ох! — застонал Карло.

Самый большой еж стал взбираться на дерево. Он устроился на ветке, на которой было много яблок, и начал раскачиваться. На землю посыпалось много яблок. Яблоки сыпались как град. Невыносимо болели плечи, кисти рук.

— А-а-а-а!..

Крик отчаяния и боли раздался совсем рядом. Кто это? Брат Карло? Голос чужой, не Карло...

Он с усилием поднял тяжелые набрякшие веки.

— А-а-а-а! — вопль захлебнулся на высокой ноте.

Где же поляна, озаренная лунным светом, усыпанные яблоками деревья, ежи?.. Он лежал в крошечной тьме. Вокруг лежали другие люди, много людей, он слышал тяжелое дыхание, стоны, заглушаемые глухими ритмичными ударами, доносящимися откуда-то слева. Попытался протянуть руку, чтобы нащупать стену. Тело пронзила острая боль.

Медленно возвращалось сознание. Он лежит на дне трюма парохода, скованный цепью длиной в ладонь с уголовным преступником, страдавшим эпилепсией. После отплытия из Палермо час или полтора сосед лежал тихо. Потом забеспокоился, задвигался, пытался что-то стряхнуть с себя. Это начинался припадок. Через несколько минут больной забился в страшных судорогах.

Секунды стали часами. Каждое движение эпилептика отдавалось в Грамши. Через минуту-другую больной затих. Припадок кончился. Грамши лежал не двигаясь, тело радовалось недолгому покою.

«...Мой любимый... единственный... сердце мое...» Кто-то шепчет щемяще-нежные слова... как странно звучат они в этом аду... Старый каторжанин, его тоже везут в Неаполь, беседует со своим зябликом. Маленькая пичужка, согреваемая теплом старого тела, — вот все, что осталось у человека.

«...Мой единственный... сердце мое...»

Сколько тоски и нерастраченной ласки в этом шепоте. Старый-старый каторжанин. Что совершил он, за что отечество изгнало его из своей среды? И кто в этом виновен?

Ни физическая боль, ни лишения не могли погасить живой интерес Грамши к людям, с которыми сводили его пути-дороги арестанта. Разные встречались люди: добрые и злые, смирившиеся и ожесточенные, спокойные и вспыльчивые, открытые и замкнувшиеся в своем несчастье.

Глухие удары волн в корпус пароходика ненадолго стихли. Наверное, переменился ветер. Сейчас он дует с запада, с острова Сардинии. Ветер его детства. Сардиния... Бедная мама... С каким трудом она растила семерых детей, пытаясь внести радость в нелегкую, жестокую жизнь.

Качка уменьшилась. Сверху, с палубы, доносятся слова команды, топот множества ног. Наверное, пароход входит в гавань Неаполя.

14 часов провел Грамши на дне трюма почтового парохода линии Палермо — Неаполь. После этого путешествия четыре дня в неаполитанской тюрьме показались отдыхом. Он старался поменьше думать о том, что ждет его в Милане, и с педантичностью ученого пытался анализировать свои впечатления и встречи. А их было множество. Перед Грамши открылись доселе мало знакомые ему или известные лишь теоретически общественные срезы.

Еще по дороге на Устику он встретился с группой арестантов-сицилийцев, обвиняемых в принадлежности к мафии — тайному террористическому обществу, существующему в Италии уже более ста лет. На Устике познакомился с колонией ссыльных бедуинов из кочующего арабского племени, сохранившего еще родовой строй. Родовой строй в Европе, во второй четверти XX века! В Палермо, ожидая проверки вещей, которую регулярно производила охрана, как будто во время пути в пожитках арестантов сами собой могли появиться опасные для общественного порядка предметы, встретил «потрясающий экземпляр» — анархиста-индивидуалиста, известного под кличкой Единственный. На все вопросы полиции он коротко отвечал: «Я — Единственный, и баста!» При знакомстве с Единственным произошел смешной эпизод. Когда назвали Грамши, Единственный внимательно всмотрелся в него и спросил: «Грамши Антонио?» — «Да, Антонио». — «Не может быть, Антонио Грамши обязательно великан, а не такого маленького роста». И отошел, расстроенный. Грамши вспоминал об этом разговоре с юмористическим сожалением — грустно, когда у человека рушатся иллюзии.

В неаполитанской тюрьме, а затем по дороге в Милан Грамши встретил целую галерею интереснейших типов. В Неаполе он присутствует при обряде посвящения в Каморру — тайную бандитскую организацию, возникшую в этом городе еще в XVIII веке.



7 февраля 1927 года Грамши был привезен в миланскую тюрьму.

Первый сектор, камера номер 13. Окно, выходящее во двор, не обычное окно, а так называемая «волчья пасть» с внутренней решеткой. Из окна виден лишь кусочек неба. Около десяти часов утра этот кусочек слабо освещался солнцем (окно выходило на юго-запад). Перемещаясь по горизонту, солнце словно украдкой заглядывало в камеру, и к двум часам дня на полу возникала полоска шириной сантиметров в шестьдесят. Потом полоска сужалась, сужалась, превращалась в прочерченную на сером полу тонкую светлую линию, которая вдруг исчезала, словно чья-то невидимая рука стерла ее резинкой. Еще некоторое время в камеру, отражаясь от серых каменных плит, проникал отсвет уходящего солнца, и все заканчивалось до следующего дня.

Никогда раньше Грамши с таким нетерпением не ждал появления первого солнечного луча, как в камере миланской тюрьмы.

Для узника был установлен режим строжайшей изоляции. Толстые тюремные стены надежно отгораживали его от общения с окружающим миром. Солнечный луч был посланцем этого мира, символом свободы.

Условия, в которых находился Грамши, не позволяли ему никаких контактов: один в камере, один на прогулке, любое передвижение — в сопровождении полицейского. Но однажды при обходе двери камеры Грамши и соседней камеры оказались открытыми одновременно. Находившийся рядом узник бросился обнимать Грамши как старого друга. Много было чудесного в этом эпизоде: и случайно открытые двери, и великодушные надзирателей, и, наконец, то, что человек, назвавшийся Данте Романи, был Грамши незнаком. Впрочем, Данте Романи и не претендовал на старую дружбу. Он много слышал о Грамши и рад счастью увидеть такого человека.

На другой день чудеса продолжались. Снова оказались открытыми двери, и Романи, проведенный в тюрьме только одну ночь, уже имел карандаш, перья и писчую бумагу. Он сказал Грамши, что его скоро освободят, и, оглянувшись, не подслушивает ли надзиратель, предложил передать на волю письма, обращения, приказы, распоряжения.

«Что передать?» — громко, как у глухого, спросил Грамши.

Надзиратель не шелохнулся.

Провокация была разыграна до крайности грубо. «Неужели кто-нибудь может попасть на такую удочку?» — подумал Грамши, когда очнувшийся от своего летаргического состояния надзиратель с грохотом запирает железную дверь его камеры.

Назавтра выяснилось, что так называемый Данте Романи не потерял надежды на успех. Когда заключенных вывели на прогулку, он оказался рядом с Грамши, всячески выражая ему свою преданность. Грамши не обращал на него внимания, думая о своем.

«Здравствуй, дорогой Антонио!» — услышал он знакомый голос. Оглянулся. К их маленькой группе надзиратель присоединил еще одного заключенного. Это был депутат-коммунист Рибольди, которого Грамши не видел со дня своего ареста. Достаточно было незаметного знака глазами, чтобы Рибольди оценил ситуацию и, как говорится, прикусил язык. Через несколько дней так называемый Данте Романи исчез.

Вызовы к следователю: 9 февраля, 20 июня, 24 июня... Новые попытки подослать провокатора. Снова допросы.

Грамши использует те небольшие возможности, которые еще предоставляют обвиняемому попираемые фашистами законы. Он протестует против грубого нарушения депутатской неприкосновенности, указывает на неконституционный характер созданного Муссолини Особого трибунала. Грамши понимает, что приговор будет суровым.

Нужно психологически настроить себя на длительное пребывание в тюрьме. Нужно насытить бесконечное тюремное время работой, большой, по заранее выработанной программе. В своей чуть иронической манере он пишет Татьяне, что одержим мыслью, согласно сложной гётевской концепции, сделать что-нибудь «für Ewig» (для вечности) и набрасывает обширную программу, включающую исследование о формировании общественной мысли в Италии в прошлом веке, исследование о сравнительном языкознании, о театре Пиранделло, которым Грамши много занимался в Турине, и очерк о романах-приложениях и о народно-литературном вкусе.

Для реализации этих замыслов не хватает малости: права писать. Пока ему разрешены лишь два письма в неделю. Поэтому Грамши сосредоточивается на изучении языков. С удовольствием читает «Фауста» в подлиннике. Словарный запас у него достаточный, но нужно восстановить в памяти лингвистическую основу. Рядом с «Фаустом» лежит немецкая грамматика, к ней он обращается в трудных случаях, а рядом с грамматикой — «Барышня-крестьянка» Пушкина: текст, литературный перевод, подстрочник и примечания. Пушкина учит наизусть, проза Пушкина прекрасна. Метод заучивания прозы наизусть Грамши считает превосходным. После немецкого и русского надеется взяться за систематическое изучение английского, испанского и португальского, он их уже изучал когда-то, затем за румынский язык, который известен ему по университетским занятиям лишь в его неолатинской части. «Как видишь, все это свидетельствует о том, что я душевно совершенно спокоен», — пишет он Татьяне.

Душевно спокоен. Эту мысль Грамши повторяет в ряде писем, предшествующих судебному процессу. Повторяет настойчиво, словно убеждая близких и самого себя. Это спокойствие кажущееся, спокойствие вулкана, в глубинах которого скрытно от нас клокочет раскаленная

лава. Чтобы убедиться в этом, надо перечитать «Письма из тюрьмы» и воспоминания товарищей Грамши по судебному процессу. Используя терминологию самого Грамши, скорее можно говорить об «акклиматизации», об известном приспособлении к обстановке. Идет второй год заключения.

«Миланская тюрьма, 14 ноября 1927 г.

Дорогая Юлия,
всякий раз, когда мне разрешается писать, я пользуюсь этой возможностью, чтобы послать тебе хотя бы привет. Прошел год со дня моего ареста и почти год, как я написал тебе первое письмо из тюрьмы. Я очень изменился за это время. Мне кажется, что я стал крепче и сумел приспособиться к тюремной жизни. Мне даже немного смешно теперь, когда я вспоминаю свое душевное состояние в тот момент, когда я писал тебе то первое письмо (я даже не стану описывать тебе это состояние, так как ты пришла бы в ужас). Думаю, что Делио за этот год имел возможность накопить впечатления, которые он принесет через всю свою жизнь; это меня очень радует.

Нежно целую тебя.

Антонио».

«21 ноября 1927 года.

Дорогая Юлия,
во дворе, куда нас обычно выводят на прогулку, была устроена выставка фотографий детей заключенных. Делио вызвал всеобщее восхищение. Вот уже несколько дней, как я не в одиночной камере, а в одной камере с другим политзаключенным, у которого очень милая трехлетняя дочурка. Зовут ее Мария-Луиза. По сардинскому обычаю мы решили, что Делио женится на Марии-Луизе, как только оба достигнут брачного возраста. Что ты на это скажешь? Мы ждем, конечно, согласия обеих мам, что-

бы наш договор принял более обязательный характер, хотя это и является серьезным отклонением от правил и обычаев моего родного края. Я представляю себе, что ты, читая это, улыбаешься, и чувствую себя от этого счастливым; мне лишь с большим трудом удастся мысленно увидеть тебя улыбающейся.

Нежно целую тебя, дорогая.

Антопио».

Веселое, шутливое письмо. В конце грустная нота: «Мне лишь с большим трудом удастся увидеть тебя улыбающейся». Мысли о семье, от которой он надолго оторван, не покидают Грампи, с течением времени приобретают трагический оттенок. Но это позднее. Сейчас он тревожно ждет весточек от жены. Письма приходят редко, реже, чем это дозволено тюремными правилами. Каждая пропущенная возможность получить письмо воспринимается им как невозполнимая потеря коротких минут общения с близкими. Он пытается представить себе Юльку с двумя детьми, обстановку, в которой они находятся, но реальная картина не возникает; слишком мало он знает о своих. Летом 1924 года он так же пытался представить маленькую маму и своего первенца, новую жизнь, появившуюся на свет. Кажется, тогда это удавалось, во всяком случае не было щемящего ощущения беспомощности...

Тогда он написал Юльке несколько страниц шутливых несуразностей и признался, что поглупел от счастья. «Не надо иронизировать над своими добрыми чувствами», — назидательно ответила Юлия. Это так, но без иронии он вряд ли выжил бы в тюрьме...

Пришло письмо от Юлии, начатое в декабре прошлого года, законченное и отосланное в январе нынешнего:

«Дорогой мой, опять прошло много времени. Я тебе не писала, маленький был болен...

Я не знаю как сказать тебе то, что мне кажется более важным, то, что делает мою жизнь подвешенной. И все-таки я от тебя не отделилась за все эти годы разлуки, я все время чувствовала себя твоей девочкой, хотя ты изменился, хотя я изменилась. Ты дезориентирован... Но, действительно, это так. Не думаешь ли ты, что достаточно было бы твоей руке быть на моем лбу, чтобы мы почувствовали себя по-настоящему вместе? У нас столько связей, столько воспоминаний...»

Он сразу же садится за ответ, чтобы отослать его следующей почтой.

«27 февраля 1928 года.

Дорогая Юлия,

Получил твое письмо от 26.XII.1927 года с припиской от 24 января и с приложенной к нему записочкой. Я был просто счастлив, когда получил от тебя эти письма. В последнее время я, правда, стал спокойнее... И мне уже не кажется больше, что я был выбит из колеи. Это были просто вспышки сопротивления тому новому образу жизни, который под воздействием всей тюремной обстановки с ее правилами, с ее рутинной, с ее лишениями, с ее насущными нуждами начинал неотвратимо довлеть надо мной; этот огромный комплекс мельчайших событий и дел, которые механически повторяются из месяца в месяц, из года в год,— все те же, все в том же ритме, с монотонностью гигантских песочных часов. Все мое существо каждой своей клеточкой упорно сопротивлялось, физически и духовно, влиянию этой засасывающей внешней среды...

Впрочем, ты не думай, что жизнь моя протекает так монотонно и однообразно, как это может показаться на первый взгляд. Стоит только привыкнуть к жизни в аквариуме и приспособить свои органы чувств к восприятию приглушенных и сумеречных ее проявлений (все с

тем же ироническим отношением), и сразу же вокруг тебя возникает целый мир с его особой жизнью, с его особыми законами...

Любую деталь, любую подробность, касающуюся твоей жизни или жизни детей, которую мне удастся уловить, я пытаюсь использовать для того, чтобы нарисовать себе более полную картину вашей жизни. Но таких подробностей слишком мало, и слишком мал мой опыт. И еще: дети ведь слишком быстро меняются в этом возрасте, чтобы я мог уследить за всеми изменениями и составить себе ясное представление об их развитии. Во всем этом я, несомненно, довольно плохо разбираюсь. Но в данных условиях, очевидно, и не может быть иначе...

Антонио».

Близятся дни «большого процесса», так называли в Италии гласную судебную расправу над руководством коммунистической партии. Что ж, сделано все, что возможно: выработана тактика поведения на процессе — тактика борьбы в условиях полного фашистского произвола. Грамши не тешит себя надеждами. Но он спокоен. Далеко на востоке у него растут два сына. Недавно в тюрьму пришли две фотографии старшего — Делио. Одну он оставляет себе, другую посылает на остров Сардиния, матери.

«30 апреля 1928 года.

Дорогая мама, посылаю тебе фотографию Делио. Судебный процесс по моему делу назначен на 28 мая — значит, отъезд на сей раз близок. При всех обстоятельствах постараюсь телеграфировать тебе. Чувствую себя довольно хорошо. От сознания, что процесс близок, становится легче: вырвусь, по крайней мере, из этого однообразия. Не волнуйся и не пугайся, какой бы приговор мне ни вынесли. Я думаю, что это будет от четырнадцати

до семнадцати лет, а может быть, и больше, именно потому, что против меня нет никаких улик... Будь бодрой. Обнимаю тебя.

Ни»

«Ни» — Нино, так его звали в детстве.

А Делио растет; интересно, обнаружил ли он какие-нибудь склонности. Современные дети любят технику.

Зимой 1928 года в Милане стояли сильные холода. Ртутный столбик опустился до 18—20 градусов. Татьяна Аполлоновна простудилась, ходила с температурой и окончательно свалилась. 30 января ее положили в больницу с двусторонним воспалением легких. Ослабленный организм плохо сопротивлялся. Течение болезни осложнилось. Татьяна Аполлоновна бредила, временами теряла сознание. Словно в полусне видела бесстрастное лицо пожилой монахини. Монахиню звали Мария. Однажды вечером, когда Татьяна Аполлоновна лежала в полузабытьи, монахиня присела рядом и шепотом, чтоб не мешать другим больным, рассказала ей нехитрую и скорбную повесть своей жизни. Человек не может вечно молчать, ему нужно выговориться. Мария была с юга, из Калабрии. Она жила в маленькой деревушке, там же жил красивый парень — трафаретная, вечно повторяющаяся история, — он ее соблазнил и бросил. Мария хотела умереть, но не умерла и стала монахиней, одной из двухсот тысяч женщин без возраста, которых Ватикан вербует различными способами, главным образом на нищем сельскохозяйственном Юге.

В тот вечер сестра Мария стала такой, какая она была четверть века тому назад, — бедной крестьянкой из горной калабрийской деревушки. Тот вечер больше не повторялся, но сестра Мария сохранила к Татьяне Аполлоновне симпатию.

Татьяну Аполлоновну огорчало, что почти на три месяца она потеряла связь с внешним миром. Сестра Мария рассказывала ей некоторые новости и даже читала газеты, правда, только правительственные сообщения. В марте — апреле все итальянские газеты кричали о подготовке полета Нобиле на дирижабле «Италия» к Северному полюсу.

С многочисленными восклицательными знаками сообщались данные о дирижабле: высота — 25 метров! длина — 115 метров! ширина — 18,8 метра! Три мотора мощностью 720 лошадиных сил! Дирижабль снабжен водяными, ледяными и еще какими-то якорями! Гондолы прикреплены к корпусу на стальных тросах... и многое-многое другое.

15 апреля 1928 года в 1 час 50 минут утра дирижабль «Италия» с командой в 18 человек вылетел из Милана. Специальный выпуск вечерних газет сообщил, что над Альпами дирижабль попал в бурю... 6 мая дирижабль прибыл в Кингсбей, последнюю базу перед полетом на Северный полюс.

Пока в большом мире совершались эти события, Татьяна Аполлоновна, не покидая окончательно больницы, с разрешения врачей посещает Грамши в тюрьме. «Ходила на свидание, — пишет она родным 4 апреля. — Для Антонио моя болезнь явилась огромным лишением. Мне его очень жаль и страшно досадно...»

Грамши сообщает свояченице, что его и товарищей скоро отправят в Рим.

«Думаю на днях поехать в Рим, — пишет Татьяна Аполлоновна еще из больницы. — Надеюсь иметь свидание, хотя следователь и адвокат утверждают, что мне откажут... Чего-нибудь я все-таки добьюсь...» И на следующий день, по-прежнему из больницы: «Думаю не сегодня-завтра двинуться в Рим, чувствую себя недурно, только слабая, да и нога что-то не позволяет ходить по-человечески...»

...Вечер 11 мая. Обвиняемых по «большому процессу» построили на тюремном дворе. Снова наручники, цепь. Случайные пассажиры, оказавшиеся ночью в помещении вокзала, испуганно жмутся к стенке. Через полутемный зал, между двумя рядами карабинеров, двигается вереница скованных людей. Напротив выхода на платформу уже стоит тюремный вагон. Что такое тюремный вагон? Узкий коридор делит его на две части. По обеим сторонам коридора — камеры, маленькие, на одного человека. В наружных стенках окошек нет. Летом в камерах жарко, зимой — холодно. Майские ночи в 1928 году были очень холодные...

Прежде всего узнику надо влезть в вагон, это непросто, когда на спине вещевой мешок, а на уровне пояса цепь. Человек лезет вверх, цепь тянет вниз.

В вагоне общую цепь сняли, охрана развела арестантов по камерам-клетушкам. Поезд тронулся. Обыкновенный пассажирский поезд. В вагонах люди знакомятся, угощают друг друга взятой в дорогу снедью, смеются. Во всех вагонах, кроме одного, тюремного. Здесь угнетающая, мертвящая тишина. А впереди — долгая ночь. Человеку, запертому в такую клетушку, кажется, что он один-одинешенек на целом свете. Так нельзя. Надо что-то предпринять! «Синьоры, — вдруг раздается голос Грампи. Его слова хорошо слышны товарищам через тонкие металлические стенки камер. — Синьоры! Организационный комитет, подготавливающий в нашу честь праздника в Риме, сегодня ночью проводит большой конкурс на самый остроумный рассказ. Все должны в нем участвовать! Победители получают ценные премии!» Так передают этот эпизод итальянские биографы Грампи со слов участников импровизированного «конкурса». В ответ раздается взрыв дружного смеха — тюремный вагон ожил. «Начинай ты, Антонио!» Карабинеры не мешают: они вышли из народа, многие из них — бедные сардинские

крестьяне... И Грамши начинает рассказывать. Потом рассказывают другие. Так прошло время, часа два, может больше. Люди устали слушать. «А теперь — другое соревнование, товарищи! Объявляю конкурс на лучший сторнель!» Сторнель — народная песня.

Мчится по рельсам поющий тюремный вагон. Кругом ночь. Ночь и песня!

Римская тюрьма Реджина Чели, шестой корпус, камера на первом этаже. В камере темно, в ней никогда не бывает солнца... Ее окно выходит во дворик, который не виден, потому что нижняя часть окна заколочена досками. Камера тесна. Трем ее заключенным негде и шагу ступить... Все четыре этажа тюремного корпуса заполнены исключительно политическими заключенными — коммунистами. Под угрозой строжайшего наказания запрещено перестукиваться или каким-либо иным способом поддерживать связь с заключенными других камер. Когда заключенных выводят раз в день на часовую прогулку во дворик тюрьмы, делают это таким образом, что во время прогулки они не могут даже взглянуть друг на друга.

В камере Грамши — Скоччимарро и Террачини. Это несомненная удача: можно без помех обсудить план предстоящей борьбы. Но очевидно и другое: фашисты не собираются соблюдать даже декорум законности. Их не беспокоит то, что подсудимые — депутаты, избранные народом, действовавшие в рамках существовавшего в стране законодательства, журналисты, сотрудничавшие в легальных газетах... Приговор предрешен заранее, в этом смысле традиционные судебные споры сторон бессмысленны. Но далеко не бессмысленно придать процессу нежелательную для фашистов окраску: высмеять подкупленных свидетелей, поставить в тупик членов суда, предать фашистские беззакония гласности. В тесной камере шестого корпуса была выработана линия поведения обвиняемых на процессе.

«Подсудимые — враги фашизма, и они должны быть уничтожены,— через несколько дней скажет в своей речи прокурор.— Эти люди опасны, так как они умны».

С 28 мая по 4 июня 1928 года ежедневно обвиняемых привозят во Дворец правосудия. Налево, через вестибюль,— дверь. Небольшой зал. В углу — железная клетка с частыми прутьями. В клетке — обвиняемые. Вокруг клетки — карабинеры. Позади еще отряд чернорубашечников; револьверы, кинжалы... С правой стороны места для судей. На стене большой портрет короля, «коллекционера марок», как иронически называли его в народе.

Обвиняемых судит Особый трибунал.

— При рассмотрении отдельных обвиняемых фигура Антонио Грамши сразу выделяется,— сказал прокурор.— Он — душа всего движения, он указывает путь партии. Во время захвата фабрик он стоял во главе рабочих. Он действительный вождь этой партии... Мы должны на двадцать лет лишить этот мозг возможности работать.

Перед тем как суду удалиться на совещание, председательствующий предоставляет подсудимым последнее слово. Очередь доходит до Грамши. Он встает и произносит лишь одну фразу:

«Вы приведете Италию к катастрофе; мы, коммунисты, ее спасем!»

4 июня 1928 года «Особый трибунал по охране безопасности государства» приговорил Антонио Грамши к 20 годам 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения.

В последний раз — под строгой охраной — идет Грамши гулками коридорами римского Дворца правосудия. У подъезда уже ждет тюремный фургон. Машина трогается, сворачивает на мост Умберто. Последний взгляд на Тибр. Путь до тюрьмы Реджина Чели недлинен. Грамши жадно смотрит через оконце в фургоне. На светлом

прямоугольнике, вдоль и поперек перечеркнутом решеткой, как на экране возникают и исчезают кусочки жизни большого города: каменщик на строительных лесах, уличный торговец, дети, играющие у фонтанов...

Тюрьма Реджина Чели. Койка Грамши рядом с койкой Скоччimarро. Уже целую неделю Антонио мучают невыносимые, насквозь пронизывающие боли. Сегодня ему особенно плохо. Скоччimarро с тревогой смотрит на друга. Грамши произносит несколько слов, но так тихо, что Скоччimarро их не разобрал и тихо спросил:

— Что ты сказал, Антонио?

— Я не выйду из тюрьмы живым, — отчетливым шепотом повторил Грамши.

— Нет-нет. Ты с такой энергией боролся со следователями!

Грамши покачал головой. И чуть помолчав, сказал:

— Так или иначе, наша жизнь не прошла даром. Нам удалось создать такой фундамент для коммунистической партии, который никто не в состоянии разрушить.

Утром следующего дня заключенных отправляли по разным тюрьмам, к месту постоянного заключения. Перед расставанием Грамши и Скоччimarро сумели пожать друг другу руки. Больше они не виделись никогда. Грамши была определена тюрьма в Тури, в маленьком городке на юго-востоке страны. Состояние, в котором находился узник, делало для него переезд по этапу очень мучительным. Очевидно, боль, которую он испытывал в Риме, была предвестницей начавшегося общего воспаления. Тюремный врач сказал, что это антонов огонь, и тут ничем помочь нельзя.

На одном из этапов в тюремный изолятор вошел надзиратель, грузный мужчина средних лет.

— Говорят, ты бывал в России? — спросил надзиратель, недоверчиво глядя на измученное, обросшее бородой лицо узника.

«Южанин. Неаполитанец», — автоматически отметил про себя Грамши и кивнул головой. Даже небольшое движение причинило боль.

— Слушай, кто такой был Красьин? — вдруг спросил надзиратель.

— Ты из Неаполя?

— Да, ты откуда знаешь?

— Знаю. На твои вопросы отвечать не буду. Все, что нужно и что не нужно, у меня спросил следователь.

— Какой следователь! Я тебя по-хорошему спрашиваю.

— По-хорошему так не спрашивают. Зачем тебе это нужно?

— Ты что, ничего не слыхал? — искренне удивился надзиратель. — Они же спасли их — и Мариано, и Дзанни, и всех других, кто живой. Русский ледокол «Красьин». Наш падре сказал, что Красьин — фамилия человека. Но кто был этот человек, падре не знает. А ты знаешь?

— Знаю, — удивился Грамши настойчивому интересу надзирателя. — Русский большевик, ученик Ленина, советский дипломат, посол. Я был немного знаком с ним. Но тебе-то что?

— Как что? — возмутился надзиратель. — Что я не человек? «Красьин» спас и моего брата. Бедный Альдо совсем замерзал. «Красьин» разломал лед и спас моего брата. Сегодня все газеты только об этом пишут. Знаешь, я тебе прочитаю, а ты мне еще расскажешь о Красьине. Я это напишу Альдо, он будет доволен. Согласен?

— Согласен, — ответил Грамши, радуясь неожиданной, с неба свалившейся информации о «большом мире».

Надзиратель вышел. Грамши впал в забытие. Очнулся от боли, его тряс за плечо надзиратель.

— Ты не спи, потом спать будешь.

Незлюбивая южная экспансивность надзирателя смягчала его грубость.

— Читай.

— Я не очень грамотей, так ты не смейся.

— Не буду смеяться.

Читал надзиратель с немислимыми ударениями, трудные слова произносил по складам, но Грамши слушал с большим интересом; впервые при фашизме итальянские газеты отдавали дань уважения мужеству советских людей.

— Начнем с «Мессаджера», 13 июля: «В последний момент, когда мы помещали нашу статью, еще отсутствовали подробности спасения. Мы имеем простое сообщение, и сердце наше переполняется бесконечной радостью за спасенных. Мы также полны, как, думаем, полны и сердца всех итальянцев, глубокого изумления перед храбростью и смелостью моряков нашей дружественной нации, которая также первая сумела получить сведения о потерявшихся во льдах».

— Так. Теперь «Пополо ди Рома»: «Мощный корабль, разломав льды, победоносно пройдя сквозь туманы, спас наших братьев, боровшихся между жизнью и смертью и переносивших страдания, которые только может себе представить человеческая мысль. Нам приятно вспомнить также в этот момент, что другое русское судно первым пришло и принесло помощь другим итальянцам темной ночью, когда Мессина была почти вся разрушена ужасным землетрясением».

— Ужасное!.. Такого еще свет не видывал. Двадцать лет прошло, а как вчера... Минута, и нет города.

— Ты был в Мессине?

— Брат был.

— Альдо?

— Альдо!.. Альдо еще на горшке сидел. Старший брат, Анджело. Его доставили на русском военном корабле в Неаполь раненого. Мы, папа, мама и братья, встречали Анджело в порту.

— Сколько же у тебя братьев?

— Десять. Мы махали флагами и кричали: «Вива, русские моряки, вива!» Читать еще?

— Если не устал.

— «Лаворо д'Италия»: «Поход «Красина» следует воспринимать, как одно из самых благородных человеческих проявлений. Экипаж и капитан проявили максимум умения и храбрости, достойных только самых отважных моряков. Это никогда не будет забыто итальянским народом».

Как причудливо переплетаются человеческие судьбы, как прочно сложились исторические связи между двумя географически отдаленными нациями.

— Все. Газеты я спрячу для бедного Альдо. А теперь рассказывай.

Грамши устал, очень устал. Но уговор есть уговор. Лежа на койке изолятора, он рассказывал тюремному надзирателю о похожей на роман жизни русского большевика Леонида Борисовича Красина.

...Утром 19 июля Грамши прибыл к месту назначения.

«Тюрьма в Тури, 19 ноября 1928 г.

Дорогая Юлия,

...после отъезда из Милана я испытывал огромную усталость. Условия жизни моей ухудшились во всех отношениях. Я сильнее почувствовал тюрьму. Сейчас мне немного лучше. Тот факт, что положение мое в какой-то мере стабилизировалось и жизнь потекла по какому-то определенному руслу, — уже одно это привело в порядок в известном отношении и мои мысли.

Я был очень счастлив, получив твою фотографию и фотографии детей. Когда между зрительными восприятиями образуются слишком большие промежутки во времени, они заполняются мрачными мыслями. Что касается Джулиано, то я вообще не знал, что и думать, так как у меня не было никакого зрительного представления, ко-

торое подкрепило бы мою память. Теперь я доволен. Вообще же вот уже несколько месяцев, как я чувствую себя еще более изолированным и отрезанным от всего мира...

Когда я вижу, как ведут себя и как разговаривают люди, находящиеся по пять, восемь, десять лет в тюрьме, и замечаю, как изменилась их психика, я, право, прихожу в ужас и начинаю сомневаться в том, правильно ли я представляю себе, что меня самого ожидает в будущем. Ведь и другие (не все, но, по крайней мере, некоторые) тоже думали, что они не дадут одолеть себя, и все же, сами того даже не замечая (настолько процесс постепен и «молекулярен»), они стали теперь другими, но не знают, не могут судить об этом именно потому, что они стали совершенно другими. Конечно, я буду сопротивляться. Но вот, например, я замечаю, что разучился подсмеиваться над самим собой, как бывало раньше, а это плохой признак.

Дорогая Юлия, интересуется ли тебя все то, что я тебе рассказываю? И дает ли это тебе какое-то представление о моей жизни? Я все же интересуюсь и тем, что происходит в мире. За последнее время я прочел множество книг о деятельности католиков... Через какие фазы пройдет французский радикализм, прежде чем произойдет раскол и появится на свет французская католическая партия? Этот вопрос «не дает мне спать»... Другие вопросы, конечно, тоже.

Понравился ли тебе мой разрезальный нож? И знаешь ли ты, что я затратил на него почти целый месяц труда и изрядно истер себе пальцы?

Дорогая, пиши мне подробнее о себе и о детях. Хорошо, если б ты присылала мне, хотя бы два раза в год, ваши фотографии. Тогда я мог бы следить за тем, как дети развиваются, и чаще видеть твою улыбку.

Нежно обнимаю тебя, дорогая.

Антонио».

«Этот вопрос «не дает мне спать»... Другие вопросы, конечно, тоже». Четыре каменные стены отгородили узника от мира. Но мир, раздираемый противоречиями, живет по своим законам, в нем происходят события, эхо которых проникает в тюрьму... На прогулке он узнал о VI конгрессе Коммунистического Интернационала, политическим заключенным в Тури удавалось получать кое-какую информацию «с воли». Но как протекал конгресс? Какие принял решения? Итальянские коммунисты первыми приняли на себя удар фашизма, их опыт должен стать достоянием коммунистических партий всего мира. Нелегкая задача легла сейчас на плечи его товарищей, прежде всего — на Пальмиро Тольятти.

Глава вторая **БОЙЦОВ НЕ ОПЛАКИВАЮТ**

В январе 1929 года Грамши добился права писать в камере. 8 февраля он заносит первые заметки в тетрадь, которую нумерует: «№ 1». Это первая из всемирно известных ныне «Тюремных тетрадей». Их будет 24, когда Грамши покинет Тури. Но пока только начата первая.

В конце февраля уже повеяло весной. Ведь Тури — провинция Бари — юг Италии. В марте в Тури приезжает Татьяна Шухт. Ей разрешают периодически посещать заключенного. Свидания происходят во двореке тюрьмы, под наблюдением тюремной охраны, продолжаются примерно по полчаса каждое. Несмотря на присутствие стражника, Татьяне Аноллоновне удастся сообщать Грамши некоторые политические новости (по возвращении в Рим она запишет содержание этих бесед и через верных людей отошлет свой доклад Заграничному центру Итальянской коммунистической партии). Ей нет нужды гово-

рять о деятельности Муссолини, об этом ежедневно кричат правительственные газеты, чтение которых заключенным разрешается. Если уметь читать, — это обширный источник информации.

В январе Муссолини распустил палату депутатов. Большой фашистский совет подготовил список 400 кандидатов. Список был одобрен и представлен на всеобщие выборы, намеченные на март.

В феврале в Латеранском дворце кардинал Гаспарри и Муссолини подписали договор о примирении государства и Святого престола. Для Муссолини «Латеранские соглашения» были большим успехом. Состоялись «выборы» на основе нового избирательного закона. Новая фашистская палата депутатов была не более чем декорацией тоталитарного режима, она лишь послушно одобряла уже изданные правительственные декреты. Процесс фашизации итальянского государства фактически был завершен.

От Татьяны Шухт Грамши ждет других новостей, так сказать, новостей из противоположного фашизму лагеря. Но как мало — Татьяна Аполлоновна это понимает — она может ему дать. Впрочем, и это «мало» очень существенно не только для оценки событий сегодняшнего дня, но главное — для размышлений над проблемами исторического материализма, проблемами революции, истории и политики — над тем, что стало содержанием его «Тюремных тетрадей». Подобно тому, как Леверье открыл планету Нептун «на кончике пера», Грамши, исследуя с марксистско-ленинских позиций различные общественные явления, открывает новые социальные и политические закономерности, характерные для эпохи общего кризиса капитализма и создания широкого мирового фронта освободительной борьбы.

От Татьяны Аполлоновны Грамши требует новостей и... цветочных семян — крупинки живой природы. В час

прогулки на тюремном дворике можно кое-что посеять. Татьяна Аполлоновна приносит разные семена, черенки розы, клубни георгин.

Цветы приносят неопытному садоводу радости и огорчения. «Роза получила страшный солнечный удар,— сообщает он Татьяне,— все листья и самые ценные части ее сожжены и обуглены; вид у нее жалкий и печальный, и все же у нее появились новые бутоны. Значит, она не погибла — по крайней мере на сей день. Солнечный удар был неизбежен, так как я мог защитить ее только бумагой, а бумагу уносил ветер».

Он не уверен в том, что из семян вырастут именно цветы. «Некоторые растения в самом деле почему-то больше похожи на петрушку и на луковицы, чем на цветы. У меня каждый день появляется искушение вытянуть их немного, чтобы помочь им расти, но я колеблюсь между двумя концепциями мира и воспитания: быть ли последователем Руссо, предоставляя действовать природе, которая никогда не совершает ошибок и в основе своей так добра, или же стать волюнтаристом и совершать насилие над природой, вмешиваясь в процесс эволюции опытной рукой человека и применяя принципы власти». Как всегда, у него в шутливой фразе большой подтекст.

...Листок бумаги, исписанный таким знакомым почерком, прочитан. В конверте есть еще что-то. Небольшой кусочек плотной бумаги, любительская фотография: Юлия со своим отцом и младшим сыном Юликом!

В камере быстро темнело. Электрическая лампочка — мучительница узника в долгие, бессонные ночи (по тюремному уставу электричество не тушили до утра) — еще не зажигалась, через зарешеченный прямоугольник окна проникал слабый свет угасающего дня. Грамши подошел к окну и поднес снимок к глазам. От близости снимка,

колеблющегося в напряженно дрожащей руке, дорогие лица на фотографии ожили... Фотограф-любитель выбрал удачный момент, — маленькая группа выглядела удивительно естественно. Опираясь спиной на ствол дерева, полулежал седобородый Аполлон Александрович. Рядом на хвое, темной по контрасту с ее белым платьем, сидела Юлия, с такой знакомой грустновато-загадочной улыбкой. К коленям матери привалился голенький загорелый Юлик. Заранее зная, что он увидит, Грамши перевернул фотографию. На обороте стояла круглая тюремная печать и неразборчивая завитушка начальника тюрьмы. Фото, как и письма, цензуровались, — Грамши это знал. И все же каждый раз испытывал неприятное чувство: свободные и вольные фотографии как бы вдруг становились тюремными узниками. Цензура, тюремная цензура! Приходилось думать о ней, когда, склонившись над листом бумаги, узник на минуту чувствовал себя наедине с близкими. То же требовалось и в ответных письмах. Самые безобидные вещи могли быть истолкованы превратно. Однажды Юлия Аполлоновна прислала письмо с милым рассказом о том, как маленький Делио знакомится с географией. Лежа в кроватке, головой к северу, он сообщал маме, что за его головой живут народы, которые запрягают в сани собак, слева от него находится Китай, справа — Австрия, в том направлении, где ноги, — Крым. Начальник тюрьмы заподозрил за этим шифр, вызвал Грамши и долго допытывался: почему ваша жена интересуется Китаем? Что это за люди, которые запрягают в сани собак? Не зная содержания письма, Грамши потратил немало усилий, чтобы найти правдоподобный ответ на эти вопросы. Больше часа длился допрос, пока Грамши не сказал: «Но разве вы не женаты? И разве вы не понимаете, что может писать мать, когда ей хочется рассказать о сыне, находящемся вдалеке от отца?» Простой довод неожиданно подействовал на начальника тюрьмы,

возможно и не злого человека, но раба предписаний и инструкций, панически боящегося испортить свой послужной список накануне выхода на пенсию.

Начальник прочитал заключенному нотацию и отдал письмо.

Может ли нас интересовать фигура этого рядового тюремщика? Может в той степени, в какой он влиял на жизнь Грамши. Начальник вскоре умер, недослужив несколько дней до долгожданной пенсии, а Грамши в разговоре с Татьяной Шухт выразит по этому поводу даже некоторое сожаление, ибо «и в данном случае знаешь, что потерял, но не знаешь, что приобретешь...» «Приобретение» значительно ухудшило жизнь заключенного, но это произошло позднее. А тогда Грамши читал и перечитывал «географическое» послание и, отвечая на него, просил Юлию быть осторожнее в своих письмах, а сам писал, по его собственному выражению, «тюремным» языком и сетовал на то, что вряд ли когда-нибудь сумеет от него избавиться. Но и написанные «тюремным» языком письма-раздумья, письма-собеседники и даже письма-монологи были единственной связью с женой и детьми.

«Тюрьма в Тури, 30 июля 1929 года.

Дорогая Юлька,

...Меня, естественно, очень часто преследует мысль, что на твои плечи легло самое тяжкое бремя нашего союза (самое тяжкое в силу объективных причин, пусть так, но это не меняет сути). Потому я не могу уже думать о твоей силе — которой я так часто восхищался, хотя и не говорил тебе об этом, — а думаю о том, что тебя, наверное, одолевают порой и слабость и усталость; и думаю об этом с огромной, почти мучительной нежностью, которую можно выразить в ласке, но нельзя выразить словами. А потому я все еще очень завидую тебе, потому что я ведь лишен возможности наслаждаться первыми, самыми

свежими впечатлениями, связанными с жизнью наших детей, и не могу помогать тебе направлять и воспитывать их...

Дорогая, обнимаю тебя.

Антонио».

Письма разрешается посылать два раза в месяц, да еще по одному дополнительно на пасху и на рождество. Письма — как вехи на длинном тюремном пути, вехи времени. «Время представляется мне как нечто телесное с тех пор, как для меня более не существует пространства».

Но объективно пространство — огромный мир за стенами тюрьмы — существует и напоминает о себе...

Тольятти разыскал в Париже Дженнаро Грамши. После прихода к власти фашизма Дженнаро уехал во Францию, где работал шофером такси. Тольятти намеревался предложить Дженнаро съездить в Италию, повидать родных, навестить Грамши в тюрьме, попытаться обрисовать ему ситуацию, сложившуюся в международном рабочем движении.

Дженнаро явился в назначенное время.

— Как дела в Гиларце? — спросил Тольятти после обмена приветствиями. — Пишут?

— В Гиларце? — переспросил Дженнаро. — Ничего, все по-старому. Только мама прибалывает. Слава богу, на старости лет она не одна. Дети, внуки. Дочь у меня растет в Гиларце.

— Помню. Эдмея?

— Верно. Мы ее называем Мея. Хорошая девочка.

— Скучаешь по дочке?

— А что я могу сделать? Взять сюда, в эти паршивые парижские мебелирашки? Нет-нет. Там бабушка, тетки, там дом.

— Хочешь съездить домой?

- Есть дело? — оживился Дженнаро.
- Есть дело.
- Хочу.
- Дело нелегкое и деликатное.

Тольятти подробно объяснил Дженнаро, что от него требуется. И, завершая разговор, сказал:

— Первым делом поспедай в Тури со свояченицей Антонио Татьяной Шухт. Она поможет сориентироваться.

Без особых приключений Дженнаро Грамши приехал в Италию и добрался до Тури. Татьяна Аполлоновна жила в Тури безвыездно с 23 декабря 1929 года. Раз в месяц она добивалась свидания с заключенным, носила ему передачу, раз в две недели получала от него письма, раз в две недели посылала ему письма и довольно часто, иногда каждый день, писала родным в Москву. «Сегодня после обеда имела свидание около получаса», — коротко сообщает она родным 24 декабря, то есть на следующий день по прибытии в Тури. 14 января дополняет это сообщение некоторыми подробностями: «Я видела Антонио один раз. Он здоров, говорил все только о детях и Юличке. Здесь мною интересуется полиция, из Бари сюда и ко мне каждый день является карабинер. Черт с ними всеми...» 20 января: «Пока мне дали только одно свидание и посулили другое».

Вот так и жила в маленьком итальянском городке мужественная русская женщина. Получить работу в Тури не удавалось, поэтому расходы сведены к минимуму.

Татьяна Аполлоновна не принимала сочувствия своей неустроенности и аскетизму, считая совершенно искренне, что бытовая сторона ее жизни — мелочь и не должна никого интересовать. Вообще о себе самой Татьяна Аполлоновна в письмах к родным говорит крайне скупое. Только иногда у нее прорывается не жалоба, нет, — скорее мечта. «Я мечтаю, — так буквально пишет она из Тури родителям и сестрам в Москву, — чтобы у меня была хо-

рошая работа, если можно не чиновническая, ведь на самом деле у меня много возможностей, как преподавание, переводы, агрономический институт, лаборатории клинические, детские колонии для больных и слабых, наконец, коммерческие фирмы, итальянские, русские или французские. Здесь последние месяцы я писала прямо на машинке, так что могу быть корреспондентом и машинисткой одновременно».

Это — из письма от 21 июня. Абзацем выше в том же письме сообщение о свидании Грамши с Дженнаро. «Антонио четыре дня тому назад имел неожиданно сюрприз, приехал к нему старший брат...»

До встречи с узником, как было условлено с Тольятти, Дженнаро разыскал Татьяну Аполлоновну.

— Что вам сказать, Дженнаро? Свидание, думаю, вы получите без труда, со времени последнего как раз истекает месяц. По закону, я узнавала, они должны разрешать свидание раз в две недели, но не хотелось обострять отношения, понимаете? Директор тюрьмы стар, глуп, собирается уйти в отставку и боится собственной тени. Однако, так мне кажется, человек он не злой. Однажды директор сам сказал вашему брату, что, когда родные посылают что-нибудь из одежды — это разрешается, — пусть вкладывают немного съестного. На пасху, например, ваша мама послала Антонио посылку и между вещами вложила в нее сардинский домашний хлеб. Поверьте мне, Антонио, который так равнодушен к еде, обрадовался как ребенок. Что же еще? Когда директора нет, его заменяет бухгалтер. Он тоже трус и тоже собирается оставить свой пост в Тури, так как здесь в лицее нет старших классов, а у бухгалтера есть сын, которого он очень любит. Боюсь, что любовью к сыну истощаются его добрые чувства. Ниже бухгалтера на служебной лестнице стоит старший надзиратель. По-моему, он не злой человек и не брезгает, как бы это выразиться, подношениями.

— Что может зависеть от старшего надзирателя?

— Ох, Дженнаро, очень многое. Ведь при свидании присутствует кто-нибудь из надзирателей. Всего их, кажется, четверо или пятеро. Точно не знаю. Один просто ужасный человек.

— Хотя один ужасный, — засмеялся Дженнаро. — А то все незлые или полужлые. Нет, на таком деле — все ужасные.

— Не могу согласиться. Тут есть такой, при нем слова не скажешь, а другой, из Сардинии, симпатичный. Мне кажется, вам надо сообщить Антонио что-то важное. Постарайтесь, чтобы при свидании присутствовал ваш земляк.

— Но как это сделать?

— Я ужасно бездарная в таких делах, — со вздохом призналась Татьяна Аполлоновна. — Меня многие учили... Подарите старшему надзирателю какую-нибудь французскую вещицу. У него жена и дочери.

— Французскую вещицу? Я хотел сделать подарки сестрам... и вам от Пальмиро Тольятти. Он очень благодарен...

— Не надо мне, не надо! — замахала руками Татьяна Аполлоновна. — И сестры на вас не обидятся. Повторяю, все зависит от того, какой надзиратель будет присутствовать при свидании.

Разрешение повидаться с братом Дженнаро получил на 16 июня. Старший надзиратель дары принял, хотя выразил сомнение, понравятся ли они его женщинам.

Утром 16-го Дженнаро встретился с Татьяной в скверике перед зданием тюрьмы.

— Садитесь, Дженнаро. Это моя скамейка. Я часто сижу на ней. И не только в дни свиданий.

— Ну и жарища у вас, — сказал Дженнаро, садясь и вытирая платком потный лоб. — Или отвык в Париже?

— Жарко, — согласилась Татьяна Аполлоновна. — Се-

годня 34 градуса. У Антонио в такую погоду как раз терпимо. Вообще камера у него плохая, шумная и сырая.

— Почему шумная?

— Она рядом с комнатой тюремной стражи. Всю ночь шум и крики.

— Нельзя добиться перевода?

— Пробовали. И не раз. Ничего не выходит. Это сделано нарочно. Еще отдан приказ: в течение ночи трижды заходить в камеру Антонио для «проверки». Представляете? Он почти не спит.

Дженнаро пробормотал что-то невнятное.

— Вы сказали?.. Я не поняла.

— Это по-сардински. Переводить не стоит.

— У мужчин хоть то преимущество, что они могут позволить себе выругаться, отвести душу. А нам остаются только слезы.

Она отвернувшись, худые плечи вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Дженнаро растерянно молчал.

Прошел пожилой мужчина, покосился на сидящих на скамье и вежливо снял шляпу. Татьяна Аполлоновна ответила на поклон.

— Видите, меня здесь знают,— сказала она, вытирая слезы скомканным платочком.— Иные интересуются здоровьем синьора профессора. Так здесь называют Антонио.... Нам, пожалуй, пора?

— Нет, еще есть время... Таня, я человек не слишком чувствительный. Но сегодняшняя встреча с Антонио... Как он выглядит?

— Неважно. Только не показывайте этого... Чтобы Антонио не догадался по вашему лицу. Сам себя он давно уже не видел, ведь в тюрьме нет зеркал... О его душевном состоянии вы не спрашиваете?

— Нино всегда был сильнее всех нас.

— Он и сейчас сильнее. Но тюрьма, понимаете? Тюрьма. Вот она перед нами. Что в ней страшного? А на

самом деле... Я прочитаю вам письмо Антонио ко мне. Недавнее письмо. Это ответ на мои глупые советы. Вы слушаете? «Тюрьма в Тури, 19 мая 1930 года. Дорогая Татьяна, получил твои письма и открытки. Снова не без улыбки подумал: любопытное же, однако, у тебя представление о моем тюремном положении...» Читайте дальше сами вот отсюда, вслух, пожалуйста.

— Почерк немного изменился.

— Да? Возможно. Я не заметила.

— Читать вслух?

— Если не трудно. В этом письме Антонио был откровенен... и резок. После, на свидании, он спросил: не обиделась ли я? Нет, я не обиделась, но хотела бы послушать его как бы со стороны. Понимаете?

— Отсюда?.. «Твое поведение бессознательно жестоко: ты видишь связанного человека (в действительности ты не видишь его связанным и не можешь представить себе его пут), который не хочет двигаться, потому что двигаться он не может. Ты же думаешь: он не двигается потому, что не хочет (ты не видишь, что именно потому, что он пытается двигаться, путы уже изранили его тело), и давай подгонять его каленым железом! К чему это приводит? Ты заставляешь его корчиться от боли, и к путам, которые, врезаясь в тело, обескровливают его, ты прибавляешь еще ожоги».

— Не понимаю, Таня... Какие советы вы ему давали?

— Оставим это. Глупые советы. Читайте дальше.

— «...ожоги. Но и эта вызывающая содрогание картина, годная для какого-нибудь дешевого романа об испанской инквизиции, пожалуй, не переубедит тебя, и ты будешь продолжать в том же духе...» Может быть, лучше я про себя?

— Нет, читайте.

— «...а так как каленое железо — это тоже метафора, то получится так, что я впредь буду следовать своему

правилу не пробивать стены головой (которая у меня и без того достаточно болит, чтобы еще заниматься подобным спортом) и не буду заниматься вопросами, для решения которых нет соответствующих возможностей. В этом моя сила, единственная моя сила, и именно ее ты хочешь у меня отнять. Впрочем, этой силой, к сожалению, нельзя наделить другого; ее можно потерять, но нельзя ни подарить, ни передать. Ты, мне кажется, недостаточно осознала мое положение и не можешь понять, из каких основных элементов оно складывается. Надо мной довлеют несколько тюрем: одна состоит из четырех стен, из решеток, из глазка и т. д.; все это я заранее предвидел, предвидел как перспективу второго плана, ибо более вероятной перспективой с 1921 по ноябрь 1926 года была не тюрьма, а потеря самой жизни».

Рукой, в которой Дженнаро держал письмо, он коснулся своей головы:

— Вот она, перспектива. Шрам. Памятка до самой смерти. Они охотились за Антонио. Он бы не отделался шрамом.

— Я знаю. Дочитывайте и пойдем.

— «Что я не сумел предвидеть,— это то, что к одной тюрьме прибавится еще и другая: полная оторванность не только от общественной жизни, но и от жизни семьи.

Нежно обнимаю тебя.

Антонио».

— «Надо мной довлеет несколько тюрем...» — угрюмо повторил Дженнаро. — У нас в Сардинии говорят: чем больше орел, тем теснее для него клетка. Ну, мне пора.

— Здравствуй, Наннаро! — воскликнул Антонио Грамши, входя в сопровождении надзирателя в помещение для свиданий. Его опухшее лицо осветилось улыбкой. — Какими ветрами тебя принесло!

— В отпуск приехал. Надо же повидаться. Дочка растёт. Надо же повидаться,— повторял Дженнаро, удрученный видом брата. Когда Антонио улыбнулся, Дженнаро с испугом заметил, что у брата выпали почти все зубы. Улыбка на опухшем, измученном лице сжимала сердце. Что эти негодяи сделали с Нино за четыре года! Что они с ним сделали!.. В детстве, когда Нино ушибался, Дженнаро утешал младшего братишку: «Ничего, вырастешь, станешь мужчиной, и все пройдет». Чем же его утешить сейчас? Но, взглянув в глаза брата, Дженнаро понял: утешать его не надо.

Надо было выяснить насчет надзирателя. Но тот представлялся сам:

— Вперед, Сардиния! — подмигнул он Дженнаро. — Я, знаешь, из Паулилатино, слыхал?

— Даже бывал, — с облегчением отозвался Дженнаро, отметив про себя, что французские подарки явно понравились.

— Ну, бывал? — обрадовался надзиратель. — Хорошо у нас, правда? Не то что здесь?

— Еще бы! — с энтузиазмом воскликнул Дженнаро, хотя в памяти всплыло захолустное сардинское местечко, по сравнению с которым городок Тури выглядел столицей.

— Жаль времени мало. Ты в следующий раз приходи пораньше. Я тебе кое-что про Паулилатино расскажу. Бывать-то ты бывал, а не все видел, это уж точно... Покурю-ка я за дверью. Братьям, считаю, есть о чем потолковать, — снова подмигнул надзиратель. — Только на часы поглядывайте. Тридцать минут, земляки, понятно? Начальство, ничего не поделаешь!

Надзиратель вышел. Братья остались одни. Несколько секунд стояли молча, потом одновременно бросились друг к другу, обнялись. Одни, без посторонних глаз.

За короткое время свидания Дженнаро рассказал бра-

ту все, что должен был рассказать. Антонио огорчился, он считал, что отождествление социал-демократии с фашизмом лишает коммунистов союзников в традиционных организациях рабочего класса.

Но время свидания истекло. Грамши сказал, что он обдумает услышанное и изложит свою точку зрения Дженнаро при новой встрече.

Дженнаро поехал в Гиларцу. Его рассказы о Франции, о Париже вся семья слушала с неослабевающим вниманием. Самым благодарным слушателем была мать. За свою жизнь Беппина Марчиас не выезжала дальше Кальяри. Но прежде всего Дженнаро должен был со всеми деталями рассказать о посещении тюрьмы в Тури.

— Ты уверен, что Нино хорошо себя чувствует? — подозрительно спрашивала Беппина Марчиас. И Дженнаро скрепя сердце уверял мать, что Нино выглядит неплохо и условия, в которых он находится, вполне приличные. Особое внимание было уделено надзирателю из Паулилатино.

— Хороший человек, благослови его мадонна, — сказала Беппина. — Я приготовлю наши сласти, испеку panischedda *. А ты отвезешь. Скажи — от матери синьора Грамши.

Письма в тюрьму Беппина Марчиас упорно адресовала: «Синьору Грамши». Дженнаро не стал объяснять матери, что, переступив порог тюрьмы, заключенные становились просто номером: на открытках из Гиларцы (мать обычно посылала сыну открытки — фотографии Гиларцы) секретарь тюрьмы автоматически ставил цифры: «7047», после чего письмо поступало на цензуру к тюремному священнику, а в некоторых случаях — к самому директору.

* panischedda — хлеб, который пекут в Сардинии (сард.).

В июле Дженнаро снова был в Тури. То ли в прошлый раз не было слежки, то ли в ожидании встречи с братом он ее просто не заметил, но сейчас агенты полиции буквально наступали на пятки. Их было человек пять, а может быть и больше. В трактире, где Дженнаро и Татьяна обедали, трое полицейских в штатском устроились за соседним столиком, остальные ждали у входа. Так, с эскортом, Дженнаро добрался до тюрьмы. Его ждал неприятный сюрприз: на свидании вместо прежнего надзирателя присутствовал заменяющий директора тюрьмы бухгалтер.

Свидание превратилось в пытку. Подозрительность бухгалтера не позволила спокойно говорить даже о делах семейных. Фотографии матери и Меи, которые привез Дженнаро, бухгалтер пока отобрал, обещая вернуть после цензуры. Время истекало. Пристально глядя в глаза брату, Грамши сказал:

— Прощай, Дженнаро. Передай дома, что с новым курсом воспитания я не согласен.

— Разговоры на посторонние темы воспрещаются, — нервно вмешался бухгалтер.

— Какие же это посторонние темы, синьор бухгалтер, — пожал плечами Грамши. — Уверяю вас, для меня тема воспитания — самая важная.

— Свидание окончено, — буркнул бухгалтер и нажал кнопку звонка. Вошел надзиратель, другой, незнакомый.

— Заключение в камеру. И пусть кто-нибудь проводит посетителя к выходу.

В сопровождении надзирателя Грамши и Дженнаро вышли в коридор. У окна стоял стражник из Паулилатино.

— Проводишь посетителя до ворот, — сказал первый надзиратель.

— Только и дел у меня: провожай да обхаживай.

— Давай-давай. Приказано.

— Ладно. Сюда пожалуйста, синьор.

Дженнаро догадался, что парень из Паулилатино хочет ему что-то сказать. И действительно, отойдя от двери на приличное расстояние, тот зашептал, не глядя на Дженнаро:

— Ваши дела, земляк, меня не касаются. Задумали бежать — бегите.

— Да нет же, — удивился Дженнаро. — С чего ты взял?

— Эти ваши дела меня не касаются, — упрямо повторил надзиратель. — Но что я тебе скажу, земляк. Ключот профессора.

— Кто ключот? — не понял Дженнаро.

— Свои же ключот. Я на дворике дежурил, во время прогулки. Ключот. Поимей в виду, земляк. А матери за хлеб спасибо. Только в Сардинии такой выпекают, больше нигде... Будь здоров, земляк.

Дженнаро вышел на площадь и направился к ожидающей его Татьяне. Она сидела на «своей скамейке», вся ее поза выражала такую беспредельную усталость, что Дженнаро решил не передавать ей разговор с надзирателем и ограничиться сообщением, что при свидании присутствовал представитель директора тюрьмы.

— Вы очень огорчены? — спросила Татьяна.

Дженнаро промолчал, проводил Татьяну домой; сердечно распрощался с ней и поехал в Бари, где у него были знакомые, связанные с антифашистским движением; у них он рассчитывал получить некоторую дополнительную информацию. Некоторую информацию он получил и, не заезжая в Гиларцу, направился в Париж, явился к Тольятти и сказал ему, что Грамши согласен с новой тактической линией в рабочем движении.

Комментируя этот поразительный по своему драматизму эпизод, уже упоминавшийся нами итальянский биограф Грамши Джузеппе Фиори, лично беседовавший с Дженнаро, пишет: «Дженнаро счел нужным передать Тольятти искаженный вариант разговора. «Я поехал к

Тольятти, — рассказывает он мне, — и сообщил ему: «Нино полностью согласен с вами». Этого вывода я не ожидал и спросил у него причину. Он не понимает моего удивления. По его мнению, то, что он сказал Тольятти, было единственным логичным решением».

Несомненно, Дженнаро был человеком большого личного мужества. Это он доказал и в период прихода фашистов к власти в Италии, и в Испании, сражаясь в рядах интернациональной бригады. И если бы вопрос касался его личной судьбы, возможно, он поступил иначе. Но здесь решалась судьба брата, младшего, Нино, которого он опекал в детстве, приобщил к социалистическому движению (чем Дженнаро всегда гордился) и горячо любил. Он ужаснулся, увидев брата после четырех лет тюрьмы, почувствовал, что его жизнь висит буквально на волоске, и... не смог поступить иначе. Он рассуждал с позиции, как ему казалось, здравого смысла.

Оправдываем мы или осуждаем поступок Дженнаро? Не ошибся ли он в оценке ситуации? Не стусил ли краски?

Беседы, которые Грамши вел с товарищами по заключению на прогулках во внутреннем двореке тюрьмы, были для него формой борьбы против засасывающей тюремной рутины. Беседы эти превратились в своеобразный цикл, некоторые называли его курсом лекций. И в этом определении нет преувеличения. Да, курс лекций, наверное, один из самых необыкновенных лекционных курсов в истории науки.

По замкнутому прямоугольнику, огороженному стеной из неоштукатуренного кирпича высотой примерно в рост человека, непрерывно движется цепочка людей. На стене под навесом, потому что летом в Тури солнце жжет немилосердно, стоит надзиратель. Где-то в середине цепочки Грамши. Он говорит негромко, чтобы не вызвать подозрений надзирателя, но его слышат идущие спереди и сзади.

Время прогулки ограничено. Он предлагает товарищам обсудить в камерах основные тактические принципы, которыми, с его точки зрения, нужно руководствоваться партии в нынешней обстановке. И кратко излагает эти принципы:

Фашизм уничтожил лучшие кадры партии, можно рассчитывать самое большое на пять-шесть тысяч активистов.

Наиболее подходящая тактика — не сектантская изоляция, а поиски классовых союзников.

...Круг, еще круг. За стеной дворика высокая наружная стена. На ней часовой...

Нужно привлечь к союзу с рабочим классом отсталых крестьян и мелкую буржуазию, недовольную своим положением и готовую бороться за осуществление промежуточной (для пролетариата) стадии, то есть за восстановление свобод, ликвидированных фашизмом. Надо поощрять широкое народное антифашистское движение.

...Надзиратель смотрит на большие башенные часы, которые изо дня в день монотонно отмеряют тюремное время...

Партия должна найти такой лозунг, который способен мобилизовать все антифашистские силы для создания этого движения.

...Свисток надзирателя. Прогулка окончена.

Добрые намерения часто оборачиваются против песущего добро. Желание Грамши вовлечь в обсуждение жизненно важного для партии вопроса большее число политических заключенных привело к неожиданному и грустному результату. Об этом свидетельствует Джованни Лаи, сардинский коммунист, который в 1924 году встретился с Грамши на конференции в Кальяри.

«Правда то, — пишет Лаи, — что в действительности споры среди товарищей по тюрьме не всегда имели характер политической дискуссии. Часто, слишком часто,

по моему мнению, они докатывались до уровня сплетен или даже клеветы, а иногда личная оценка Грамши доходила до очернения. Я тогда был в одной камере с Бруно Спадони и Анджелло Скуккия. Скуккия иногда даже утверждал, что позиции Грамши социал-демократические, что Грамши больше не коммунист, что он встал на путь оппортунизма и примкнул к крочеанству, что надо заявить партии о его разлагающем действии, исключить его из коллектива, лишить прогулок по тюремному двору. Спадони и я вначале терпели в надежде образумить этого товарища, но решительно говорили, что не позволим продолжать его недостойное поведение. Когда стало ясно, что мы с ним ничего не сможем поделать, сказали Грамши. Он ответил, что в других камерах дискуссии тоже часто вырождались и вели только к расколу или раздору...»

Грамши прекратил беседы с заключенными во время прогулок.

В монотонность заключения вторгся внешний мир. И стало еще труднее сопротивляться изнуряющей тюремной рутине с ее повседневными мелкими заботами и тревожениями.

Уже много лет — наверное, с момента, когда по лестнице дома на улице Морганьи застучали шаги карабинеров,— его воля стала *волей к сопротивлению*, свобода, одно из самых прекрасных и емких слов в тысячелетней истории человечества, стала лишь *свободой его внутренней жизни*. Этой свободы он не отдаст! Только не позволять мыслям мельчать, чувствам притупляться!

Открыта тетрадь, одна из нескольких привезенных Татьяной, с этикеткой канцелярского магазина в Бари. Хороший магазин, когда-то он покупал там писчую бумагу...

В последних письмах Таня не раз возвращается к взглядам Бенедетто Кроче. Кроче — серьезный противник. Именно сейчас, в разгар фашистской диктатуры,

идеалистическая философия Кроче с его «религией свободы» способствует отходу интеллигенции от политической борьбы. Огромная разница между либеральной и демократической философскими концепциями свободы. Революционный класс создает государство, в котором само понятие демократии приобретает новое содержание.

Тесные строчки заполняют листок за листком. Директор тюрьмы заявил, что ему надоело разбирать мелкий почерк заключенного, и поручил миссию цензора священнику. Прочитает ли кто-нибудь, кроме недалекого тюремного прелата, его тетради? Кто знает? Только не позволять горечи сомнений отравлять радость общения с людьми, общения через мысль!.. Тонкая, невидимая нить, в любой момент эта нить может оборваться. Склонившись над тетрадью, узник мучительно ищет истину, яростно спорит, мыслит. Мыслить — значит жить!

Этой зимой в Тури стояла отвратительная погода: туман, сырость, частые дожди. Но вот зима кончилась, пришла весна, и с весной пришла хорошая весть. Надзиратель вручил Грамши книжную посылку. Все книги проверены, о чем свидетельствует на титульных листах подпись начальника тюрьмы и круглая печать. Подпись с печатью были и на английском журнале весьма скучного содержания. Предельная добропорядочность журнала вызвала у Грамши недоумение... и догадку. Догадка подтвердилась: на страницах журнала друзья сделали записи симпатическими чернилами о нелегальном съезде Коммунистической партии Италии — первом съезде в условиях фашизма.

В один из июньских дней 1931 года Джованни Лаи вышел на свободу. Спускаясь с вещами, он вдруг метнулся по коридору.

— Эй, куда? — ринулся за ним конвойный.

Но Лаи уже стоял у двери камеры Грамши. И заглянул в глазок. Он увидел склоненную над столиком

голову. Равномерно движущиеся локоть и плечо. Грамши писал.

— Прощай, Антонио! — крикнул Лай в глазок. — Меня выпускают.

— Будь весел, Джованни, — донесся голос Грамши. — Увидимся в Риме.

— Я надеюсь увидеть тебя в Сардинии.

— Хватит болтать! — сердито приказал конвойный.

— Но-но, я теперь свободная душа.

— Марш на выход, свободная душа! — окончательно озлился конвойный.

...Через частую решетку из толстых прутьев в камеру проникал скупой свет. Дорог каждый час...

Буржуазные философы оплакивают мир. Нет ничего беспощадней истории, утверждают они. История не стесняется в средствах, она несоизмерима с судьбой человека. Никогда еще человек не был так незащищен перед фатумом истории...

Человек и история. Вопрос, переходящий из поколения в поколение. Прошла, кажется, целая вечность с той короткой апрельской ночи, когда молодой туринский социалист в своей каморке на пьяцца Карлина дал на него ответ в статье для первого номера «Ордине нуово». Как смело в молодости мы вершим судьбы мира!.. Уже светало, когда он написал: «История — это вечность; зло не может взять верх, беспорядок и варварство не могут взять верх, пропасть не поглотит людей. Мир спасет себя сам, своими собственными силами; рождаясь среди горя и отчаяния, люди несут в себе нравственные богатства и способность к жертвам и неслыханным подвигам».

Статья называлась «Разложение и генезис», вышла она 1 мая 1919 года с многочисленными цензурными купюрами. Грамши отчетливо помнил, что перед этим абза-

цем и после него цензура выкинула по 20 строк. А рассуждения о вечности не тронула: какое дело цензуре до вечности!

Да, молодость смела, подчас дерзка, но и сегодня в одиночной камере он готов повторить слово в слово то, что сказал 1 мая 1949 года. Люди, захлестнутые хаосом истории, — фашистские диктатуры в Италии и Германии частное проявление этого хаоса — проявят свою волю. Люди, несущие в себе несоизмеримые ни с чем нравственные ценности, вооруженные нетленным богатством мысли.

На бумагу ложатся строки, выношенные долгими ночами, когда затихает дыхание тюрьмы.

...Философия истории, философия новой наступавшей эпохи. Новое возникает в диалектическом процессе развития, строится подчас в муках.

И все-таки первые камни нового мира, пусть еще грубые и неотесанные, прекраснее заката агонизирующего мира и его лебединых песен.

Маркс является интеллектуальным родоначальником исторической эпохи, которая, вероятно, продлится века, то есть до тех пор, пока не исчезнет политическое общество. Только тогда его мировоззрение будет превзойдено (концепция необходимости, превзойденная концепцией свободы). Проводить параллель между Марксом и Ильичем с целью расставить их по ступенькам какой-то иерархической лестницы — это нелепость и пустая трата времени: они выражают две фазы, которые являются однородными и разнородными в одно и то же время...

На столике тонкая стопка книжек. На каждой штамп и подпись начальника тюрьмы. Такой же штамп лежит на страницы его рукописи. Не договаривать до конца: те, для которых это написано, — поймут. И шифр: несложный, но он тоже помогает: марксизм — «философия практики», партия — «современный государь» (этот термин

когда-то употребил Лабриола), Ленин — «Ильич», «Виличи»...

Ильич, Ленин. Он заставил нас мыслить иначе, чем мыслили раньше, заставил по-иному понять движение истории.

Мыслить по Ленину — значит развивать его учение, значит применять ленинизм для разрешения проблем современного мира. В различных исторических условиях возможны и необходимы разнообразные пути революционного движения.

В стопке на столике нет книг Ленина, доступ в тюрьму им категорически запрещен. Ссылки на труды Ленина он делает по памяти (подлинная мука для исследователя)... Кажется, Ильич понял необходимость превратить маневренную войну, победоносно примененную на Востоке в 1917 году, в войну позиционную. Ильич только не имел времени, чтобы углубить свою формулу... На Востоке государство было всем, «гражданское общество» находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе государство — «политическое общество» — лишь передовая траншея, позади которой прочная цепь крепостей и казематов — «гражданское общество», то есть разветвленная «крепкая» структура классовых союзов буржуазии и подчиненные им атрибуты парламентской системы.

Каким же образом рабочий класс может прийти к руководству обществом и государством в обстановке современной Европы, в конкретных условиях Италии?..

Из коридора, приглушенные окованной железом дверью, доносятся грубые голоса, тяжелые шаги стражников. Приближается час ужина и вечерней поверки.

...Бегут, тесно прижимаясь друг к другу, строчки, надо торопиться.

Рабочий класс — единственный класс, способный стать «национальным классом». Бороться за гегемонию рабочего класса во всех звеньях гражданского общества, бо-

реться внутри капиталистической системы еще до свершения социалистической революции, добиваться перевеса сил на решающих участках. «Коллективный разум» класса — партия. С высокой организацией, твердой дисциплиной, с такой дисциплиной, которая не подавляет личность, не лишает ее свободы.

...Загремели запоры. Стражник остался в коридоре. В камеру вошел разносчик пищи. Громко топая тяжелыми башмаками, он приблизился к столику, поставил на него железную миску с похлебкой, швырнул кусок хлеба и незаметно сунул в руку Грамши бумажку. Одновременно Грамши протянул ему сигарету. Разносчик кивнул.

Дойдет ли до адресата записка — крохотный клочок бумаги, всунутый вместо табака в сигаретную гильзу? В записке Грамши обращал внимание партии на движение фабрично-заводских уполномоченных в созданных фашистами профсоюзах. Нужно проникать изнутри в массовые организации фашистов.

Стражник справился с замком и отошел. Став спиной к двери, чтобы тюремщики ничего не увидели через глазок, Грамши осторожно развернул скомканную бумажку. Это была листовка партии, обращенная к итальянским безработным. Грубыми, но точными штрихами был нарисован изможденный, мускулистый человек со знаменем в руках, за ним толпы людей. И надпись: «Хлеба и работы! Вперед, за хлеб и свободу!»

Внизу листовки карандашом приписано: «Мы — боремся! Береги себя, Антонио!»

«Мы — боремся!» Коммунистическая партия оказалась единственной партией Италии, которая не была сломлена. На драконовские законы фашистов партия ответила непримиримой борьбой. Он гордился этим.

Как бы он хотел быть вместе с ними!

Зажглась тусклая электрическая лампочка. До вечерней проверки и осмотра решеток еще почти час. Грамши

стел кусочек хлеба, отодвинул миску с холодной похлебкой и раскрыл тетрадь. Снова побежали строчки. В четырех каменных стенах, за тюремной решеткой одиночки теснятся люди, события, целые эпохи...

«...Не хочу, чтобы меня оплакивали; я — боец, которому не повезло в битве сегодняшнего дня, а бойцов нельзя и не следует оплакивать...»

— Слышите! Бойцов не оплакивают!.. Слышите!..

Глава третья **ДОМ, В КОТОРОМ ОН НИКОГДА** **НЕ ЖИЛ**

— Не пожалейте парочку чентезимо-о-о, синьоры!.. Монтаньяна вздрогнул от удивления. Итальянская речь в московском трамвае, набитом до отказа вагоне линии «Б», или «букашки», как его ласково называют москвичи. И не просто итальянская речь, а знакомая, когда-то слышанная фраза. Да еще протяжное с завыванием «чентезимо-о-о...». Кто же это произнес? С трудом развернувшись вполоборота, Монтаньяна окинул взглядом пассажиров. Ни одного итальянского лица; за годы поездок в разные страны Монтаньяна научился распознавать земляков. И где же он все-таки слышал эту фразу? На родине, в Турине? Конечно, в Турине, много-много лет тому назад. Монтаньяна отчетливо вспомнил оживленный перекресток неподалеку от piazzа дель Пополо, одноногого нищего, который, опираясь на костыль и размахивая старой шляпой, призывал прохожих «не жалеть чентезимо». Нищий был местной достопримечательностью, к нему привыкли и охотно подавали милостыню, подбрасывая монетки вверх. Нищий их ловил. Иногда подброшенные

монеты разлетались веером, по нищій с непостижимой ловкостью подпрыгивал на одной ноге, и монеты, как намагниченные, падали в его шляпу.

— Следующая остановка «Самотечная площадь», — объявил кондуктор. Монтаньяна начал энергично пробиваться к выходу, потому что Юлия Аполлоновна по телефону назвала ему именно эту остановку.

Сойдя с трамвая, Монтаньяна вытащил бумажку с адресом и при тусклом свете фонаря прочел: «Большой Троицкий переулок...» Где же этот переулок? Надо у кого-нибудь узнать.

— Троицкий, пожалуйста, товарищ? — обратился Монтаньяна к остановившемуся прохожему, мужчине в черном кожаном реглане с поднятым воротником.

— Следуйте за мной, — хриплым басом буркнул мужчина. — Понятно? Ферштейн? Ком! — перейдя на ломаный немецкий язык, скомандовал мужчина и зашагал впереди.

«Кажется, я видел этого человека, — думал удивленный Монтаньяна, следуя за странным провожатым. — Походка... Линия спины... Определенно видел. Голос знакомый... впрочем, голос явно изменен. Но кому это могло понадобиться здесь, в Москве?»

Мужчина в реглане поравнялся с уличным фонарем. Монтаньяна попытался разглядеть его лицо. Оно было скрыто поднятым воротником. Виднелись лишь слегка оттопыренные уши... Уши! Ну конечно!..

— Не торопись, Примо, — негромко произнес Монтаньяна.

Мужчина остановился как вкопанный и развел руками.

— Узнал, — огорченно сказал Примо Джибелли своим обычным тенором. — Но в вагоне не узнал, правда? — оживился он. — Давай, друг, поцелуемся. Сколько лет не виделись!

Они обнялись.

— Что же, показывай дорогу, раз обещал. Ферштеен?

— Ферштеен, синьор, следуйте за мной.

По крутой Троицкой улице они поднялись вверх и свернули налево. Это и был нужный переулок. Пройдя под аркой, оказались во дворе, обсаженном молодыми деревьями. Джибелли уверенно подвел к подъезду четырехэтажного дома. Поднялись на второй этаж.

— Здесь, — сказал Джибелли и поднес руку к кнопке звонка.

— Подожди минуту, — попросил Монтаньяна. — Сейчас мы увидим его семью. У меня такое чувство, будто я в чем-то виноват. Он в тюрьме, а я на свободе.

Примо выжидательно посмотрел на друга. Он понимал волнение Монтаньяна: когда в первый раз после ареста Грамши Джибелли навестил его семью, то испытал примерно то же.

— Когда меня в 1917 году арестовали и держали в тюрьме восемнадцать месяцев за поджог церкви Сан Бернардино, которую я не поджигал, — продолжал Монтаньяна, — Грамши прислал мне в тюрьму несколько прекрасных книг. А мы с ним еще не были знакомы. При встрече я поблагодарил его за книги, он только пожал плечами и что-то спросил о прочитанном. Возник интересный разговор, интересный для меня, конечно. Ты помнишь, как Антонио умел слушать? Внимательные блестящие глаза тревожат мысль, короткие заинтересованные реплики умело направляют твой немудрящий рассказ по лабиринтам диалектики, делают его значительным. В конце разговора Антонио сказал: «Благодарю тебя, друг!» «За что?» — спросил я. Грамши улыбнулся и ответил пословицей: «Если у человека есть перец, он им посыпает даже капусту. За перец, дорогой Марио!» Звони, Примо.

На звонок отозвались быстро. За дверью послышался топот маленьких ног, и детский голос спросил:

— Кто там?

— Это мы, кариссимо Делио,— отозвался Джибелли.— Примо Джибелли и Марио Монтаньяна.

— Дядя Примо!— радостно воскликнул мальчик.— Подождите, пожалуйста. У нас замок плохо открывается,— так же радостно сообщил мальчик. Раздалось металлическое щелканье и лязг. Еще шаги. Женские голоса. Замок упорно не открывался.

— Вот что, Делио,— сказал через дверь Примо.— Попробуй просунуть ключик в щель над порогом. Пожалуй, пролезет... Протолкни его чем-нибудь. Чем? А ты сам сообрази... Прошел!..

Примо поднял ключ и намеревался вставить его в замочную скважину.

— Разреши,— сказал Монтаньяна,— это уже по моей части.— Он взял у Джибелли ключ и стал его внимательно разглядывать.— Когда я работал учеником механика, хозяин всегда посылал меня открывать замки. Что ж, попробуем.— Монтаньяна вставил ключ и стал его поворачивать, легонько потряхивая дверь. Замок щелкнул, дверь открылась.— Вот и все,— удовлетворенно сказал Монтаньяна.

Юлия Аполлоновна долго не отпускала руку Монтаньяна, повторяя:

— Вы оттуда! Вы оттуда! Вы видели его?

Монтаньяна находился в Италии на нелегальном положении и, разумеется, не мог видеть Грамши, то есть получить свидание с заключенным, его снова кольнуло неясное чувство вины. А Юлия Аполлоновна продолжала держать руку гостя, и Евгения Аполлоновна с треногой смотрела на сестру, зная, что волнение вызывало у нее тяжелые припадки болезни. Монтаньяна перехватил этот взгляд и, чтобы переменить разговор, сказал:

— Прежде всего мы починим замок!

— Что вы, завтра вызовем слесаря, у нас есть такой дядя Гриша, он все умеет.

Но Монтаньяна заявил, что они сами справятся с задачей. Делио притащил отвертку и плоскогубцы. Инструменты незамедлительно были пущены в ход.

Из квартиры напротив осторожно выглянула старушка, остановился поднимавшийся по лестнице мужчина с черной бородкой.

— П-пойманы на месте п-преступления, — сказал мужчина, с интересом наблюдая за возней у двери. — Сейчас п-позову кого надо.

— Не позовешь, — сказал полуобернувшись Джибелли. — Бороду отрастил, так думаешь, не узнаем.

— Нет, п-позову. И тоже б-бородатого.

По лестнице поднимался еще один мужчина с черной бородкой. Изнутри Монтаньяна несколько раз щелкнул замком.

— Все. Принимайте работу.

— Посмотри, кто пришел, — сказал Джибелли.

Монтаньяна вышел на площадку, вытирая на ходу замасленные руки тряпкой.

— Эрнани!.. Джино!.. Рад вас видеть, старые туринские бойцы!

— Четыре шумных туринца — многовато для московской квартиры, — покрутил головой Джибелли, когда все втиснулись в переднюю.

— Шумите, дорогие мои, шумите! — воскликнула Юлия Аполлоновна. — Мы так истосковались по дружескому шуму.

Джибелли снял реглан, повесил его на вешалку и отошел, уступая место другим. Под регланом у него оказалась летная форма: темно-синий китель с голубыми петлицами, на груди орден Красного Знамени.

— Дядя Примо, расскажите, за что вас наградили орденом? — спросил Делио, с первого момента не отрывавший от Джибелли восхищенного взгляда. Делио было в ту пору восемь лет, в этом возрасте какой мальчишка не мечтает о подвигах.

Примо Джибелли вошел в комнату. На противоположной от двери стене висел увеличенный с фотокарточки портрет молодого Грамши. С чуть уловимой доброй улыбкой он смотрел на шумное, но приятное его сердцу собрание.

— Дядя Примо, расскажите, пожалуйста, — присоединился к брату шестилетний Джулио.

Примо Джибелли не мог оторвать взгляд от портрета. В этой обстановке он производил особенно сильное впечатление.

— Дядя Примо...

— Отставить. Не с меня начнем. Вот, Эрнани Чивалери. В 1920 году мы с ним носились на машине по Турину, развозили рабочим оружие. Был он тогда лихой безбородый парень...

— Д-далась тебе моя бородка, — добродушно отозвался Чиваллери. — Я и сейчас лихой п-парень.

— Дядя Примо, за что вам дали орден?

— Погодите, ребята, надо соблюдать очередь. Давай, Эрнани.

— У меня н-ничего интересного.

— Не кокетничай, красный директор.

— Если н-надо. О первых г-одах я писал т-товарищу Грамши.

Монтаньяна кивнул.

— З-значит, о чем я п-писал? Как работал на заводе. Как по поручению Межрабпома вез п-продукты, к-которые собрали итальянские рабочие, из Новороссийска вез в Царицын. Засуха была на Волге, г-голод. Дети... вспоминать с-страшно. Мы с-столовую открыли! Р-руководил

этим т-товарищ Мизиано. Потом работал в Ростове на з-заводе «Красный Аксай», слесарем. Вы з-знаете, я хороший слесарь, меня н-назначили мастером цеха. Было очень трудно. Собирали все по в-винтику... Стал учить молодежь. И с-сам учился. Занимался р-рационализацией. Сказали: п-принимай цех. Стал н-начальником цеха, потом помощником директора по р-рационализации. В прошлом году командировали в Коммунистическую академию, на факультет т-техники и т-технической политики. Было очень т-трудно. Учился год. И направлен в II-промышленную академию на второй курс м-машиностроительного факультета. Т-товарищи очень хорошие. Заниматься приходится четырнадцать-пятнадцать ч-часов. Т-тема дипломного проекта: спроектировать кузнечный цех для к-комбината. Т-такого цеха на с-станкостроительных заводах нет. Очень трудная т-тема. Вот и все.

— Говорил: нет ничего интересного. Да у тебя, дружище, самое интересное! — воскликнул Джибелли. — Ты базис. А мы... так, надстройка... И подумать только, когда мы в двадцатом гоняли по Турину, развозили оружие, я на него покрикивал: «Поворачивайся, Эрнани!» На кого покрикивал? На будущего красного директора. Прости, Эрнани, я исправлюсь, честное слово, исправлюсь.

— Х-хватит смеяться, — добродушно отозвался Эрнани, — а то я знаешь что?

— Не знаю, но все равно сдаюсь.

— Что-то ты легко с-сдаешься?

— Только тебе, Эрнани, по старой дружбе. А врагам — не сдавался и не сдамся никогда. Лучше смерть.

В шуточный разговор неожиданно вторглась серьезная нота. Придет время, перед Примо Джибелли грозно встанет необходимость сделать выбор. И он его делает! Но это произойдет через четыре года.

— Дядя Примо, за что вы получили орден? — не успокаивался Делио.

— Не мучай мальчугана, Расскажи, — поддержал Делио Монтаньяна.

— С чего же начать? Осенью 1921 года меня направили в Зарайское авиационное училище.

— Т-ты про орден, а не про З-зарайск.

— Не прерывай, Красный Директор. Знаешь ли ты, что зарайским воеводой был когда-то Дмитрий Пожарский? Тот самый, который вместе с Мининым стоит на Красной площади? Не знаешь. А надо бы знать национальных героев своей страны.

— Когда Пожарский был воеводой Зарайска? — осведомился Де-Марки.

— Сразу видно, что Джино — человек любознательный. Дело было в начале XVII века.

— И сколько времени тебе потребуется, чтобы рассказать историю древнего Зарайска за триста лет?

— Зря я тебя похвалил, Джино, зря. Но без шуток — хороший городок. И, главное, прекрасная летная школа. Ладно, подходим к ордену. Крупная банда перешла на нашу южную границу, вырезала заставу. Командование решило банду уничтожить с воздуха. На разведку послали моего друга Василия Седякина. Не вернулся Седякин. Послали меня. Полетел. Обследую квадрат за квадратом. Никого не видно. Ни самолета Васи Седякина, ни банды. Смотрю, синяя ленточка вьётся, исчезает, снова появляется. Речушка. Решил снизиться. Вода ведь, бандитам надо поить коней. Так и есть: пасутся кони, на поляне дымит костер. Сбросил бомбы. Снизу стреляют. Не обращаю внимания, из винтовки трудно попасть. Самолет трянуло. Оказывается, у них пулемет. Надо набирать высоту и уходить. Беру ручку на себя, не слушается: перебиты тросы управления. Задел колесом верхушку дерева, все же сел. Но чудес не бывает — самолет скапотиро-

вал. Культурно скапотировал, мне только голову раскровянило. Пришел в себя. Вижу, бегут к самолету бандиты, орут. Вылез из кабины, вытащил наган: «Прощай, Примо». Вдруг какой-то чернобородый кинулся. Подумал: «Первая пуля в тебя, а вторая в себя». Выстрелил, бандит рухнул. И в ту же минуту меня скрутили.

— Ой, дядя Примо! — выдохнул Делио.

— Не волнуйся, малыш. Видишь, живой! Сокращаюсь и выпускаю дальнейшие подробности. Выяснилось, что командует бандой некий Исмаил, а главное его — англичанин, английский шпион, одним словом. Англичанина надо доставить самолетом в Тавриз. Требуется самолет и летчик. Самолет — Васи Седякина. Он целый стоял на опушке. Васю-то они убили. А летчик — я летчик. Сел в кабину, в заднюю влез англичанин. Взлетел. Вдруг бандиты подняли стрельбу, какое-то разногласие у них вышло. Англичанин крикнул: «Я ранен». Ранен — это хорошо, но матерый был диверсант, черт его знает, еще придет в себя. Оружие у него. Решил штопорнуть. Р-1 — машина серьезная. Войти в штопор — пара пустяков. Витки считаю. Оглянулся: англичанин на ремнях висит, без сознания. Пора выходить из штопора. Нога до отказа, ручка до отказа. Не выходит из штопора. Земля все ближе. Плохи твои дела, летчик Джибелли... Ну-ну, не переживай, Делио... Да, строгая машина Р-1, даже жаль, что ее сняли с вооружения.

— Почему сняли? — спросил Делио.

— Лучшие машины есть. В авиационных школах, между прочим, Р-1 остался. На нем курсанты учатся... Вот за эти самые дела летчик Джибелли получил орден Боевого Красного Знамени. Все... Слово предоставляется товарищу Джино Де-Марки, агроному, кинорежиссеру, поэту, отцу прелестной дочки по имени Лучана...

— У тебя тоже есть прелестная дочка по имени Эрнестина, — вставил Де-Марки.

— Есть, — охотно согласился Джибелли. — И у Эрнани есть, по имени Лидия. Не перебивай, тебе же хуже будет... Кинорежиссеру, поэту, остроумному парню, который любит разыгрывать других, но не любит, когда разыгрывают его самого, обладателю еще многих и многих достоинств... Теперь говори, Джино. Давай...

— Ты все сказал за меня, дорогой друг. Мне остается только...

— Прочитать стихи, — вмешался Монтаньяпа.

— П-прочитай, п-пожалуйста, — попросил Чиваллерри.

— У меня нет ничего нового.

— Читай старое, даже лучше. Читай.

— Раз вы настаиваете... «Свобода».

Я люблю рассвет розоватый,
и багрянец заката,
и ночи бархатную темноту,
и воздуха густой
травяной настой...

Джино замолчал. После паузы, тихо:

— Не могу... Извините.

— Свобода! У меня такое чувство вины перед ним! — угрюмо сказал Джибелли. — Мы-то на свободе!

— Перестань, Примо! — оборвал его Монтаньяпа.

— А, что говорить!

Джибелли резко отодвинул стул и подошел к окну.

Все молчали. Обстановку разрядил Делио.

— Дядя Примо, мне папа письмо прислал. Хотите прочитать?

— Хочу ли я прочитать? Конечно, хочу. — Джибелли оторвался от окна и обнял мальчика. — И все хотят. Дядя Джино читает нам письмо вслух. Читай, друг, только внятно.

— Постараюсь.

«Тюрьма в Тури, 10 октября 1932 года.

Дорогой Делио,
я узнал, что ты был у моря и видел там много чудесных вещей. Мне хотелось бы, чтобы ты описал в письме все эти чудеса. Увидел ли ты какие-нибудь неизвестные тебе дотоле живые существа? Около моря их всегда тьма-тьмущая: тут и креветки, и медузы, и морские звезды, и т. д. Как-то давно я обещал тебе написать про зверушек, которые повстречались мне в детстве, но мне все не удавалось выполнить своего обещания. Сейчас постараюсь это сделать:

1. Вот, например, история про лису и жеребенка. Говорят, что лиса всегда знает, когда должен родиться жеребенок, и караулит его появление на свет. Вот почему, как только родится жеребенок, мать начинает бегать вокруг малыша, чтобы защитить его, ибо сам он не в состоянии двигаться и не может спастись бегством, если какой-нибудь дикий зверь нападет на него. И все же на дорогах Сардинии можно иногда встретить лошадей без хвоста и без ушей. Почему? Да потому, что, когда они только родились, лисе удалось всякими хитростями приблизиться к ним и отгрызть у них хвост и ушки, которые были тогда совсем еще мягенькие. Когда я был маленьким, такая вот лошадь, помню, была у одного старого торговца, который продавал оливковое масло, свечи и керосин, разъезжая со своим товаром по окрестным деревням (тогда не было еще ни кооперативов, ни каких-либо других способов доставки и продажи товаров); ну а по воскресеньям, чтобы не подвергаться насмешкам уличных мальчишек, этот торговец прикреплял своей лошади искусственный хвост и искусственные уши...

Дорогой Делио, а теперь напиши мне, как ты путешествовал и что ты видел нового и интересного. Целую тебя, а также Джулиано и маму Юльку.

Антонио».

— Ты написал? — спросил Джибелли у Делио.

— Еще нет.

— Не откладывай. Летчики у нас пикогда не откладывают важные дела. Сегодня же берись. Договорились?

— Договорились, дядя Примо.

С маленькими сыновьями он разговаривает просто и доверительно, словно не разделяют их тысячи километров и тюремные стены, словно сидят они на отцовских коленях и слушают сказку. В ласковых письмах «дорогой Юльке» кроме вопросов о детях попытка помочь жене перенести трудности.

«24 октября 1932 года,

Дорогая Юлька,

получил твои письма от 5 и от 12 октября с письменцем Юлика и с тремя фотографиями, которые мне очень понравились... Я очень рад, что ему захотелось написать мне; не знаю только, что ответить ему относительно моей фотографии. Быть может, у тебя имеется какая-нибудь моя карточка? Я, правда, изрядно изменился с той поры, а давать ребенку фотографию десятилетней давности — это ведь в какой-то мере обманывать его. Сейчас у меня много седых волос и черты лица из-за отсутствия зубов, наверно, очень изменились (я не могу судить об этом сам, ибо вот уже четыре с половиной года как я не видел себя в зеркале, а изменился я, видимо, именно за эти годы). Я с интересом прочел то, что ты пишешь о Делио-школьнике, о его серьезности, не мешающей ему, однако, любить веселье, игры и развлечения. Мне очень горько сознавать, что я лишен возможности принимать участие в духовном развитии и в каждодневной жизни наших детей, а ведь мне удавалось всегда быстро сдружиться с детьми...

Дорогая, нежно тебя обнимаю.

Антонио».

Ушли гости. Уложив спать возбужденных детей, Юлия Аполлоновна зажгла настольную лампу и горестно развернула последнее письмо.

«30 января 1933 года.

...Ты обязательно должна писать мне о себе и о состоянии своего здоровья как можно подробнее, и пусть тебя не останавливает опасение, что ты можешь огорчить меня. Единственное, что могло бы огорчить меня, это сознание, что ты не борешься за улучшение своего здоровья, за восстановление своих сил, — а этому я не верю. Хотя будущее еще туманно, но опускать руки из-за этого не следует. Я пережил много очень тяжелых моментов в жизни, не раз чувствовал себя физически слабым, почти выбившимся из сил, но я никогда не поддавался физической слабости, и, насколько возможно предсказывать в этих вопросах, не думаю, чтоб я и впредь когда-нибудь поддался ей. А ведь я мало чем могу помочь себе. Но чем больше я отдаю себе отчет в том, что мне предстоит пройти через тяжелые испытания, что я слаб, что трудности возрастают, тем больше напрягаю я всю свою силу воли. Когда я подвожу порой итог истекшим годам и думаю о прошлом, мне кажется, что если бы шесть лет тому назад я мог предвидеть, что мне доведется пережить, я не поверил бы, что это возможно, и решил бы, что не выдержу... Думаю, что ты гораздо сильнее, чем сама полагаешь, а потому ты должна еще крепче взять себя в руки и напрячь все свои силы, чтобы окончательно побороть тот душевный кризис, который ты переживала. Дорогая, я хотел бы помочь тебе, но часто я думаю о том, что в прошлом, не имея ясного представления о твоём состоянии, я мог невольно способствовать ухудшению твоего самочувствия. Пиши мне чаще; сделай над собой усилие и пиши мне чаще. Пусть Делио и Джулиано тоже напишут мне... Крепко-крепко обнимаю тебя, дорогая.»

Утром, вставая с постели, он упал. Долго лежал на каменном полу. Наконец пришел тюремщик, уложил его на койку и оставил в покое. С трудом открыл тяжелые веки. Знакомая серая стена камеры наклонилась вперед. Сейчас... сейчас она рухнет. Подняться нет сил... Стена выпрямилась, качнулась назад и заколебалась в неторопливом волнообразном ритме. Пытаясь остановить ее, протянул руку. Рука беспомощно дернулась и осталась лежать, вытянутая вдоль туловища. Тело пронзила острая боль. Рядом лежала чужая рука, прикованная цепью к его руке. Ускользающим сознанием понял, что начинает бредить.

Глава четвертая ВЫСТОЯТЬ!

Как мучительно болит голова... Кто-то подошел к изголовью, прохладная рука легла на лоб. Стало легче... Юлия? Ты здесь, любимая? Как хорошо! Я знал, что ты придешь... Плачешь? Кто обещал мне быть сильной-сильной... Где же дети? А, Делио... Какой ты огромный, Делио... Тебе уж восемь лет... Нет, девять, прости, ошибся. Знаешь, у папы болит голова, но это пройдет... И Джулио здесь? Здравствуй, малыш! Мама писала, что у тебя выпал первый молочный зуб и ты хотел прислать его мне. Жаль, что не прислал! Ну ничего, ты сам приехал, это куда лучше... Куда же вы уходите?.. Кто это? Вон!.. Пусть убирается! Слышите! Я вас не звал!..

— Успокойся, Антонио, он ушел.

— Кто здесь? Тромбетти... Где я?

— Где? В тюрьме Тури, разумеется. Лежи спокойно, Антонио. Тебе надо лежать. Хочешь спросить, как я сюда попал? Начальник тюрьмы разрешил перебраться в твою

камеру. Принимаешь квартиранта? Все-таки помогу, если что... Хочешь пить? Лежи, лежи... Вот так. Что с тобой было? Ты бредил, Антонио, стонал, смеялся, говорил с детьми, хорошо говорил, ласково. Потом явился святой отец... Не в бреду. Вполне натуральный поп, от него за версту разило святостью и подгоревшим луком. Ты его выгнал... Дай-ка оботру тебе лицо.

— Если вздумают причащать меня, не позволяй, Густаво.

— Не позволю, будь спокоен.

— Наверное, я очень болен, Густаво. Я разучился подсмеиваться над самим собой. Плохой признак.

— Ерунда, Антонио. Ты еще им покажешь.

— Обещай мне, Густаво. Когда ты выйдешь из тюрьмы...

— Еще сколько ждать!

— ...Расскажешь моей жене и детям, все расскажешь.

— Антонио, да ты сам...

— Обещаешь?

— Обещаю.

Лязгнули запоры. Вошел тюремный надзиратель Вито Семерано. На его широком крестьянском лице было написано искреннее сочувствие. Среди служащих тюрьмы, как и всюду, были люди, ненавидящие фашизм. Они старались не причинять заключенным лишнего зла.

— Сейчас придет доктор, — сказал Семерано. — Но очень-то он хотел.

Надзиратель подошел к Грамши, внимательно посмотрел на искаженное болью лицо больного, покачал головой и повернулся к Тромбетти.

— Ну, он согласился? Ведь доктор спросит.

Тромбетти пожал плечами. Семерано недовольно крикнул.

— Упрямые вы, коммунисты, люди. Что стоит подписать наршивый клочок бумаги.

— Речь идет о прощении, не так ли? — спросил Грамши. Он трудно и тяжело дышал, но голос его звучал спокойно. — Просьба о помиловании, обращенная лично к Муссолини. Это отнюдь не ново, это довольно старо. Я не буду просить о помиловании.

— Многие в стране хотят видеть тебя на свободе, — угрюмо сказал Тромбетти. — Они думают, что ты имеешь право сделать это.

— Они хорошие люди, но они слепы. И довольно об этом. Я не хочу кончать жизнь самоубийством.

В коридоре послышались шаги. Надзиратель торопливо окинул взглядом камеру и встал у двери.

Вошел тюремный врач. Не обращая внимания на больного, он буркнул надзирателю:

— Ну?

Семерано виновато развел руками:

— Разрешите доложить, синьор доктор...

Не дослушав, врач повернулся к лежащему неподвижно Грамши:

— Все понятно. Заключенный номер семь тысяч сорок семь. Вы опять жалуетесь на здоровье. Вы здоровы. Я не считаю нужным оказывать вам медицинскую помощь. Вы наш политический враг. Желаю вам смерти, заключенный номер семь тысяч сорок семь.

Врач деревянно повернулся и, выбрасывая вперед негнущиеся ноги и отбивая такт руками, явно подражая кому-то из фашистских бонз, вышел из камеры. Гулко прозвучали в коридоре шаги и стихли. Надзиратель ото-ропело взглянул на больного.

— Я хотел сделать как лучше.

Снова открылась и закрылась железная дверь. Лязгнули засовы.

Грамши метался на койке.

— Темно... Как темно... Где солнце?.. Нет, нет!.. Нельзя жить в мире без солнца!..

Влажным полотенцем Тромбетти вытер больному лицо. Грамши затих. Заботливо подоткнув тонкое и шершавое тюремное одеяло, Тромбетти осмотрелся — что бы еще сделать? Больше делать было нечего. Он сел на табурет возле изголовья. Грамши по-прежнему дышал тяжело. Тромбетти всматривался в хорошо знакомые черты и думал — откуда в физически немощном человеке такая неукротимая сила.

В стену постучали. Это сосед по камере, араб, пожизненный узник, несчастная жертва судебной ошибки, беспокоился о здоровье Грамши. Осторожно, чтобы не разбудить забывшегося больного, Тромбетти стукнул три раза. Так было условлено. Араб затих.

Выражение боли на лице Грамши исчезло. Губы зашевелились, на них появилась слабая улыбка... Наверное, привиделось что-нибудь хорошее. Быть может, красные знамена над заводами Италии в 1920 году. Или встреча с Лениным спустя два года. Есть на свете мудрецы, которые, сами того не желая, делают науку недостижимой для простых смертных. Ленин — другой. У Ленина история понятна и человечна. В ней слышатся голоса множества людей, с их судьбами, идеалами, стремлениями...

Снова постучал беспокойный араб. Бедный, невежественный человек, которому Грамши отдал частицу своего тепла.

Тромбетти видел Антонио Грамши, когда тот, признанный вождь итальянских рабочих, поднимал их на борьбу. С бьющимся сердцем читал его речь с трибуны парламента, ту самую речь, которая передавалась из уст в уста. Он привык видеть в Грамши мозг партии, душу партии. Но никогда он его не любил так, как сейчас, мужественного, несломленного.

«Ночь длилась бесконечно, — вспоминал позднее Тромбетти. — Временами Грамши терял сознание, а в минуты просветления говорил «о бессмертии души, в реальном и

историческом смысле, о бессмертии полезных и необходимых для человека дел, которые переживут его самого и будут жить после его смерти в окружающем его мире».

В заточении Грамши умирал. Создается Международный комитет по освобождению Грамши — жертвы фашизма. Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький и многие другие обратились с призывом к людям всех стран — бороться за жизнь Грамши. Призыв был поддержан на многотысячных митингах. Мир требовал спасения Грамши. Муссолини вынужден был сделать какой-то жест.

В Тури приехал знаменитый профессор Умберто Арканджели. Он тщательно осмотрел больного. Затем пожелал поговорить с его близкими. С профессором встретились Татьяна Шухт и Пьеро Сраффа, бросивший все свои дела и прибывший из Кембриджа. Арканджели показал свое заключение. Оно было кратким и категоричным: больной умрет, если не выйдет на свободу. Необходимо удовлетворить просьбу о помиловании. Арканджели добавил, что ручается за быстрое и благоприятное решение вопроса, если... если узник подаст такую просьбу. С осени прошлого года различные представители властей выдвигали этот вариант, настаивали на нем. Но сейчас слова «просьба о помиловании» произнес врач, крупный специалист, человек хотя и занимающий в фашистской Италии официальное положение, но относящийся к Грамши с уважением и доброжелательностью. Было над чем задуматься. Татьяна Аполлоновна и Пьеро Сраффа решили попытаться повлиять на Грамши.

Надзиратель впустил их в камеру и ушел (это устроил Арканджели). Больной неподвижно лежал на койке. Они сказали Грамши, что многолетнее одиночное заключение дает право на такую просьбу, что, выздоровев, Грамши принесет огромную пользу своей стране и всему человечеству, что это в конце концов пустая формальность. Больной лежал неподвижно. Казалось, он не слушает.

Однако когда Пьеро Сраффа умолк, в камере раздался тихий, но твердый голос:

— Нет.

Татьяна Аполлоновна и Сраффа продолжали уговоры, Сраффа приводил разные исторические примеры, когда интеллект по необходимости отступает перед грубой силой. Ответом было одно слово:

— Нет.

Надзиратель приоткрыл дверь и сказал, что время истекло. Подавленные, не глядя друг на друга, словно стыдясь своей слабости, самые близкие друзья Грамши вышли в коридор, а в ушах звучало: «Нет!»

Им удалось упротить профессора Арканджели не упоминать в заключении о возможности подачи просьбы о помиловании. Профессор неохотно согласился и написал: «В настоящих условиях Грамши не сможет долго прожить; я считаю необходимым перевести его в больницу или клинику, если невозможно предоставить ему «условную свободу»». В таком виде заключение профессора Арканджели было опубликовано в «Юманите» и других газетах. На нее сослался Ромен Роллан в своей знаменитой статье «За тех, кто умирает в тюрьмах Муссолини» в защиту того, кто «велик душою... велик мыслью. Ибо он стал в Италии предвестником нового социального строя». Прекрасные и вещие слова!

Волна возмущения и протеста захватила даже подавленную фашизмом Италию, и Муссолини отступил. В Тури пришло распоряжение о переводе узника в другое место.

Физическое состояние Грамши было ужасным. Татьяна Аполлоновна поехала в Рим, добилась приема у директора итальянских тюрем и получила разрешение сопровождать заключенного.

— Гуманность — мой принцип, синьора, — любезно улыбаясь, сказал высокопоставленный чиновник, — когда

возможно, я руководствуюсь этим принципом. Вы сможете поехать тем же поездом, а быть может, в одном вагоне. Очередная ложь!

В одиночной камере, на койке, которая в нарушение тюремных правил не убиралась на день, неподвижно лежал Грамши. Около него бессменно дежурил верный Тромбетти.

Еще раз послушаем его рассказ. «Отъезд Грамши из Тури произошел неожиданно. В сопровождении стражников мы отправились на склад и там собрали вещи Антонио. Пока он, заранее условившись со мной, занимал разговорами стражников, я засунул в его чемодан и спрятал среди вещей 18 полностью исписанных тетрадей Грамши... Вернувшись в камеру, Грамши сказал, что он не будет ложиться спать, добавив, что до утра ждать недолго, а новой встречи мы не скоро дождемся, он поручил мне сообщить на «волю» о том, как он жил в тюрьме, о том, как с ним здесь обращались... Около шести часов утра следующего дня, когда было еще темно, пришли вооруженные конвойные. Антонио отпорол от арестантского халата номер, который носил в течение пяти лет, и оставил его мне на память. Его посадили в тюремный фургон. Я поставил рядом с ним его чемодан, мы обнялись, фургон тронулся и вскоре исчез в сумраке... Я плакал так, как не плакал уже много лет».

Маленькая железнодорожная станция. Пассажирский поезд. Полузабытые узником звуки: фыркание паровоза, свистки кондуктора, голоса людей, которые могут разговаривать, петь, кричать, если им хочется, не боясь, что их посадят в карцер.

«Какое сильное волнение охватило меня в поезде, — чуть позднее напишет Грамши, — когда после шести лет, в течение которых я видел только одни и те же мрачные

лица, я вдруг обнаружил, что все это время необъятный мир — луга, леса, обыкновенные люди, дети, деревья, огороды — все продолжало существовать по-прежнему. И я был еще более потрясен, когда после столь долгих лет увидел себя в зеркале...»

Обнадеженная высокопоставленным лжецом, Татьяна Аполлоновна помчалась в Тури. В дирекции тюрьмы ничего узнать не удалось. Целый день просидела она на скамейке около тюремных ворот, на «своей» скамейке. Мимо проходили жители городка, вежливо кланялись, некоторые спрашивали о здоровье «достопочтенного профессора», просили пожелать ему счастливого пути (удивительно, как любые вести просачиваются сквозь толстые тюремные стены). Сидела до глубокой ночи, вернулась на рассвете.

Грамши уже не было в Тури. Татьяна Аполлоновна нашла его в Чивитавеккия; заключенный находился там временно. Через 18 дней, ранним утром 7 декабря он покинул Чивитавеккия и, сопровождаемый стражей, был перевезен в Формию (неподалеку от Неаполя) в клинику доктора Кусумано. Он болен, тяжело болен. Прикованного к постели человека охраняет специальная команда. Все же кое в чем положение Грамши улучшилось. Окно комнаты выходит прямо на море. Держать окно открытым не запрещается, частые решетки не мешают солоноватому и холодному в это время года воздуху проникать в камеру, наполняя ее дурманящим дыханием свободы. Узник надеется, что его будут лечить и тогда он сможет вернуться к своей работе.

Гнетет одиночество. В Тури были товарищи по заключению, не говоря уже о верном Тромбетти, который последнее время ухаживал за ним как нянька, с неиссякаемым оптимизмом уверяя: «Ты еще им всем покажешь!»

14 декабря Татьяне Шухт разрешили навестить узника в Формии. Первое впечатление обрадовало: клиника мало напоминала тюрьму. На краю залива стояло старинное громоздкое здание. И хотя на окнах были решетки, они не мешали видеть море.

С радостной улыбкой Татьяна Аполлоновна вошла в комнату Грамши. Он сидел у открытого окна и, как ей показалось, дремал. В комнате было холодно. Татьяна хотела тихонько опустить раму, но услышала его голос:

— Не закрывай, Танечка. Какой вкусный воздух.

Она ответила, что воздух действительно отличный, но можно простудиться. К следующему разу сошьет ему теплогрейку на меху, и тогда можно будет сколько угодно сидеть у открытого окна, даже работать, что вкусного воздуха теперь у него будет достаточно.

При слове «работать» по лицу Грамши скользнула болезненная гримаса. Татьяна Аполлоновна стала говорить, что теперь все будет хорошо, ведь клиника — не тюрьма, как вдруг дверь распахнулась, вошел здоровый детина с бегающими глазками на толстой физиономии и спокойно уселся на стул. Это был бригадир карабинеров, под его командой находились 15 человек, свидания будут происходить при бригадире или его помощнике.

А затем выяснилось, что в клинике доктора Кусумано не лечат, во всяком случае Грамши никто лечить не собирается.

...И в дом у Садового кольца регулярно приходят весточки-отчеты.

Год 1934.

15 февраля. «С ноября 1933 года Антонио не написал ни строчки... Письмо Делько, где он спрашивает у отца, когда он придет, я не могла переслать Антонио, ведь

никто в Министерстве не поверит, что дети не знают о заключении отца... вопрос этот может показаться подозрительным».

«С ноября 1933 года Антонио не написал ни строчки...» Исправим маленькую неточность: не с ноября, а с начала декабря, — четвертым декабря датировано письмо Грамши Татьяне Аполлоновне. Это — триста семьдесят восьмое письмо, написанное Грамши с момента ареста, то есть за семь с половиной лет. Все это время Грамши полностью использовал свое право писать один раз в месяц, два раза в месяц, еженедельно, в отдельные периоды — два раза в неделю. За период с 4 декабря 1933 года по 8 апреля 1935 года до нас дошло лишь одно письмо и, видимо, было написано только одно письмо. Оно адресовано матери.

«8 марта 1934,

Дорогая мама,
в прошлом году из-за очень плохого состояния здоровья я не мог послать тебе поздравления по случаю твоих именин. Я бы не хотел, чтобы этот год прошел и ты не получила выражения моей большой любви и нежности.

Татьяна информировала Терезину о моих новых условиях жизни, которые хоть и не стали наилучшими, но их все же нельзя сравнить с теми, какие были год назад. До сих пор я вам не писал потому, что был в очень нервном состоянии и знал, что Татьяна, которая посещает меня каждое воскресенье, вас информирует.

Я еще не стал хозяином своих физических и моральных сил; в последнее время в Тури состояние мое было почти катастрофическим, а выздоровление идет медленным темпом, с резкими колебаниями. Но ты знаешь силу моей сопротивляемости и то, что я обладаю большим запасом энергии и терпения, которые помогли мне преодолеть трудности в самые тяжелые минуты жизни.

Я очень мало знаю о состоянии твоего здоровья: Терезина и Грациетта пишут мне редко. Надеюсь впредь писать тебе если и не очень часто, то регулярно. Получаю весточки о Юлии и детях, и мне кажется, что живут они в неплохих условиях.

Дорогая мама, обнимаю крепко тебя и всех домашних.
Антонио».

Не прочитала мать Грамши письмо горячо любимого сына; уже больше года ее не было в живых. Джузеппина Марчиаз умерла 30 декабря 1932 года.

Физическое состояние Грамши ухудшается, но интерес к внешнему миру неизменен. Источники информации те же, что и раньше: Татьяна и официальная пресса. Как бы ни изображали газеты февральские события во Франции, было очевидно, что попытка фашистов захватить власть потерпела неудачу. Коммунисты призвали рабочих всех партий выйти на улицу и преградить путь фашистским бандам. 12 февраля в стране забастовало 4,5 миллиона человек. Коммунисты и социалисты шли вместе против общего врага.

— Какие молодцы! Какой пример для международного рабочего движения! — возбужденно сказал Грамши Татьяне, когда дежуривший в комнате карабинер на минуту оставил их одних. — Попробуй, Танечка, узнать о событиях во Франции подробнее.

Татьяна Аполлоновна смотрела на Антонио со смешанным чувством боли и радости, — давно она не видела его таким оживленным. Кое-какие подробности удалось узнать, но как трудно передать их заключенному.

16 апреля. «В условиях, при которых происходят наши с ним свидания, не часто можно иметь возможность что-нибудь сказать... Антонио намеком высказывает какую-нибудь свою мысль... Вчера как раз был хороший бригадир, тот, который так хорошо к Антонио относится...

Этот бригадир действительно друг, Антонио во время его отлучки из комнаты во время обеда (другие не выходят ни на минуту) сказал мне, чтобы я не показывала вида, что он друг...

...Значительно увеличилась бдительность полицейского отделения, и письмо мое, например последнее, пришло к нему чуть ли не наполовину сожженным, меня вызвали расспросить, что значит «когда ты пишешь про апельсин, который растет на окне»?..»

Уже не в первый раз появилась надежда на обмен Грамши. Переговоры между СССР и Италией идут по дипломатическим каналам. Татьяна Аполлоновна регулярно сообщает новости сестре в Москву:

26 марта. «Антонио спросил у меня насчет того, как идет дело... об обмене его или о высылке в СССР...»

19 мая. «Не знаю, писала ли я тебе, что здешний посол писал своевременно в Москву по этому поводу и даже не раз, что было получено утвердительное обещание и заявлено... что имеются для этого все элементы».

В письмах Татьяны Аполлоновны упоминаются и «переговоры с итальянским посольством в Москве относительно Антонио Грамши». Складывается впечатление, что реален благоприятный исход. Все это словно не касается местной полиции, наоборот, рвение ее усиливается, возможно по приказу сверху.

25 июля. «Он живет надеждой, что с минуты на минуту положение может измениться, хотя бы в том смысле, что он сможет свободно писать без контроля здешней полиции, копающейся в душе».

12 ноября. «...Остался в самой клинике, как и был раньше, пост карабинеров на часах, не говоря о полицейских в штатском и в форме, которые всегда находятся в клинике. Здешняя полиция боится похищения Антонио... Так что надзор, если можно так выразиться, еще как бы усилился».

Неожиданно приехал из Англии с новостями старый друг профессор Пьеро Сраффа.

17 августа 1934 года в Париже было подписано Соглашение о единстве действий Коммунистической и социалистической партий Италии. Делегации обеих партий отметили, что разногласия по вопросам теории, методов работы и тактики препятствуют организационному слиянию партий, однако эти разногласия не могут быть помехой сплочению и единству народных сил в борьбе против фашизма и войны.

Сраффа в общих чертах рассказал о подготовке к VII конгрессу Коминтерна, о наметившейся ориентации на создание широкого, антифашистского народного фронта.

— Наконец-то! — воскликнул Грамши. На его изжелта-бледном лице выступил румянец.

15 декабря. «Я не сомневаюсь, что его будущая деятельность принесет немалую пользу пролетариату... Он начал немного говорить по-русски... Я прямо поражаюсь его способностям. Мне страшно приятно говорить с ним по-русски. Конечно, это только начало, но я не сомневаюсь, что это скоро будет настоящая беседа на языке, понятном и его детям».

В этот же день, 15 декабря 1934 года, полномочный представитель СССР в Италии В. П. Потемкин посетил Муссолини. Это был традиционный прощальный визит главе правительства перед отъездом аккредитованного дипломата в другую страну: Потемкина назначили полпредом СССР во Францию. Потемкин твердо решил использовать этот визит для разговора о судьбе Грамши и примерно за неделю до этого передал Татьяне Аполлоновне просьбу срочно зайти к нему.

— Уезжаю, Татьяна Аполлоновна. Сожалею, что по довел наше дело до конца.

— Я уже слышала о вашем отъезде,— грустно сказала Татьяна Аполлоновна.— И Грамши знает. От меня. Он вам так доверял.

— Не оправдал доверия,— невесело усмехнулся Потемкин.— Если бы зависело от меня... Обещаю одно, как бы ни сложилась прощальная беседа с Муссолини, напомнить ему о Грамши, решительно напомнить. Поэтому и пригласил вас зайти. Посвятите, пожалуйста, в детали сегодняшней обстановки. Нужно быть во всеоружии. Муссолини любит ловить на мелочах, подчеркивая свою осведомленность... Но прежде о предшествующих попытках обмена Грамши на, скажем, подходящих разных лиц. В аппарате полпредства мне подготовили соответствующую справку. Не исключено, однако, что какие-нибудь детали упущены. Поэтому прошу вас, Татьяна Аполлоновна, рассказать все, что вам известно по данному вопросу.

— Я затрудняюсь, Владимир Петрович, о многом я только слышала... Но если вы считаете, что это нужно... Первая попытка улучшить положение Антонио, как мне рассказывали, была сделана в июле 1928 года. После спасения генерала Нобиле советские моряки были очень популярны в Италии. Экипаж ледокола... этого знаменитого...

— «Красина»?

— Да-да, «Красина». Антонио рассказывал, что он был немного знаком с ним... Боже, какая я бестолковая, не с ледоколом, конечно.

Потемкин улыбнулся.

— Я знаю, что Грамши встречался с покойным Леонидом Борисовичем. Так что же экипаж ледокола?

— Кажется, обратился к Нобиле с просьбой, чтобы он ходатайствовал перед Муссолини об освобождении Грамши, ибо Грамши очень болен и может умереть в тюрьме. Но момент был неподходящим: после катастрофы с дирижаблем Муссолини и слышать не хотел имени Но-

биле. Потом были еще две-три попытки, в том числе и через Ватикан... Ничего не вышло, вы знаете. Наконец, последние переговоры с итальянским посольством в Москве.

— Да. Боюсь, что Муссолини не желает выпускать Грамши из рук. Перейдем к сегодняшнему дню. Как здоровье товарища Грамши и какова, на ваш взгляд, наша программа-минимум? Программа-максимум, разумеется, полное освобождение, на котором я и буду настаивать. Нужно подготовить несколько вариантов, в зависимости от того, как сложится беседа. Ну-ну, успокойтесь, дорогая Татьяна Аполлоновна. Все-таки кое-чего мы добились и добьемся еще, не сомневаюсь.

Последние месяцы Татьяна Аполлоновна находилась в непрерывном нервном напряжении. Известие об отъезде Потемкина, который сделал ряд реальных попыток, чтобы облегчить судьбу Грамши, ее очень расстроило. Но она взяла себя в руки.

— Постараюсь возможно короче ответить на ваш вопрос, Владимир Петрович. Месяц тому назад Антонио получил так называемую «условную свободу». Это произошло на основании статьи 176 уголовного кодекса и статьи 191 тюремного устава. Видите, какая я стала законница,— попыталась улыбнуться Татьяна Аполлоновна.— Мы очень ждали «условной свободы», но оказалось... Жизнь Грамши не стала легче, Владимир Петрович. В клинике установлен пост карабинеров. Полицейские в форме и в штатском не спускают с него глаз. Полиция боится похищения Антонио... Это у них идея фикс. Так что надзор еще как бы усилился. А он едва может ходить, не в состоянии писать. Он очень, очень болен. Я ведь врач, плохонький, но врач, и вижу. Если бы вы знали, Владимир Петрович, как Антонио хочет поправиться, чтобы работать, бороться. Как он страстно мечтает попасть в Москву и даже строит планы на будущее,

хотя и не верит, что будущее придет. Не верит, но заставляет себя верить. А в клинике Кусумано его не лечат, а если не лечат — это значит медленно убивают, не берусь судить по чьей воле, но убивают... Извините, я говорю путано, повторяюсь.

15 декабря во время прощального визита, воспользовавшись поворотом разговора, Потемкин напомнил Муссолини о том, что в одной из предыдущих встреч он обратился к премьер-министру с заявлением о Грамши.

— Я по своей инициативе ставил перед вами вопрос о возможности освобождения Антонио Грамши из тюрьмы, — сказал Потемкин.

— А... вот о чем, — отозвался Муссолини. — Должен сказать, что эта птица залетела в клетку на много лет.

— Мне известно, что Грамши тяжело болен.

— Если это верно, я попрошу прокурора перевести осужденного в тюремную больницу.

Потемкин, не выдавая своего недоумения, внимательно посмотрел на Муссолини. Зачем дуче этот странный тактический ход? Ведь он отлично знает о переводе Грамши в тюремную клинику, но почему-то делает вид, что не знает. «Только не дать Муссолини уклониться от темы разговора», — подумал Потемкин и твердо сказал:

— Мы могли бы обменять Грамши на одного вашего разведчика, арестованного на месте преступления.

— Это уже не разведчик, — усмехнулся Муссолини.

— По вашей личной просьбе мы освободили из-под ареста одного чиновника вашего посольства в Москве, занимавшегося деятельностью, мягко говоря, несовместимой с его служебным положением.

— Не будем вспоминать, господин посол, дела давно минувших дней.

Потемкин видел, что Муссолини всячески уходит от ответа на прямо поставленный вопрос, и все же продолжал настаивать.

— Антонио Грамши как мыслитель, выдающийся литератор-публицист, как борец за свободу и патриот известен не только в Италии. Он представлял в Коминтерне коммунистическую партию своей страны, легальную партию.

— Нет! — сказал с раздражением Муссолини. — Нет! Я бессилен перед законом. Осужденный опасен своими идеями коммунизма, чуждыми и несовместимыми с основами фашизма.

— Мне кажется, — сдержанно заметил Потемкин, — что для вас Грамши как политический узник, привлекающий к себе внимание общественного мнения, представляет большую опасность, чем если бы он был на свободе.

— Когда вы уезжаете, господин посол? — спросил Муссолини, вставая.

Аудиенция заканчивалась. Муссолини явно дал понять, что не намерен продолжать разговор о Грамши. Но всегда корректный Потемкин, даже нарушая дипломатический этикет, решил быть максимально настойчивым:

— У этой проблемы есть, если так можно выразиться, еще один аспект. Жена Грамши, русская женщина, со своими двумя маленькими сыновьями Делио и Джулио живет в Москве. Дважды обращалась она к итальянским властям с просьбой разрешить ей свидание с мужем и дважды получала отказ.

— Возможно, — сухо ответил Муссолини. — Находясь во Франции, господин посол, не забывайте Италию. И не верьте французам. О, это нация хитрецов. Ваше правительство делает ошибку, идя на сближение с Францией.

По дороге в посольство Потемкин обдумывал только что закончившуюся беседу. О судьбе Грамши он напомнил достаточно твердо и решительно, это не должно пройти бесследно, хотя бы в части разрешения жене Грамши приехать в Италию (как мы увидим, Потемкин был прав, хотя ситуация неожиданно и трагически осложнилась, но

виной тому были не дипломатические, а иные причины). Что касается эскапад дуче в адрес Франции, то Потемкин не придавал им значения, имея точную информацию о франко-итальянских переговорах, которые действительно через несколько месяцев завершились подписанием соглашения Лавала — Муссолини. Это соглашение разделило сферы влияния двух государств в Африке и было предвестником разбойничьей войны Италии с Эфиопией.

Сближение Италии с Францией находилось в непосредственной связи с обострением итало-германских отношений. В ту пору Муссолини еще стремился сохранить по отношению к Гитлеру позу наставника. «Тридцать веков истории позволяют нам с сожалением смотреть на некоторые доктрины, возникшие за Альпами и разделяемые людьми, предки которых еще не умели писать в то время, как в Риме были Цезарь, Вергилий и Август», — высокомерно заявил Муссолини в одной из своих воинственных речей, от которых он позднее был бы не прочь отказаться.

Вообще речи Муссолини не раз ошеломляли его собственных сподвижников, министру иностранных дел Д. Гранди приходилось лавировать и изворачиваться. В своих мемуарах Гранди вспоминает, как он пытался однажды обратить внимание дуче на некоторую противоречивость его заявлений. «Какое тебе дело до того, что я говорю моей толпе, — ответил Муссолини, — для чего я тебя сделал министром иностранных дел, если не для того, чтобы говорить, что мне вздумается».

Атмосфера в фашистской Италии накалялась, страна готовилась к войне. В обстановке военного психоза узник, неподвижно лежащий на тюремной койке, был причиной постоянного беспокойства властей, о чем свидетельствует Татьяна Шухт.

15 февраля 1935 года. «Вот уж около трех недель, как среди служащих полиции, как местной, так и в поли-

дейском отделении министерства внутренних дел, чувствуется какое-то сильное волнение в смысле проявления особой бдительности в надзоре: различного рода бесед комиссара полиции с лицами, содержащими клинику, приезда два раза из Рима главного инспектора полиции... два приезда за три дня... Установление нового караула карабинеров, увеличенное в два раза (не считая экстренных приходов начальства) количество полицейских и установление ночного присутствия двух агентов...

Задавали вопросы директору клиники, нельзя ли подплыть на подводной лодке к берегу, или прилететь на аэроплане, или подъехать с пулеметами на автомобиле и увезти Антонио? Все это разговоры, конечно... Но факт тот, что надзор, можно сказать, удесятирили, и так как это дело обходится очень дорого, то можно ожидать и того, что решат без всякого суда, просто административным порядком, вновь водворить Антонио... в тюрьму. В последний раз из Формии в Рим, до самого дома меня провожал полицейский и провел в Риме целых три дня, следя неустанно за всеми моими движениями... Антонио просил написать тебе, что со всем этим мое положение тоже становится трудным и меня могут выслать в двадцать четыре часа, а ведь я единственное его звено связи с внешним миром».

25 мая. «Антонио стало хуже... Пришел отрицательный ответ из министерства насчет перевода в другую больницу... Я стала плакать, так что ему пришлось меня успокаивать.

Сам он молчит, читает и всегда готов вести беседу на какую бы то ни было политическую, научную или историческую тему, при этом он действительно живет. Как он был огорчен, если бы знали, несчастием с «Максимом Горьким» *. Я была потрясена его отзывчивостью.

* Имеется в виду авиационная катастрофа, происшедшая над Центральным аэродромом в Москве. Во время демонстрационного

Я ему, конечно, передам постановление ЦК о постройке других трех великанов, думаю этим его сильно порадовать...

Иногда случается, что он свистит или мурлыкает какую-нибудь песенку. Он знает также кое-какие русские песни...»

Пришло письмо из Москвы: Юлия с мальчиками видели большой портрет Грамши, выставленный в Центральном парке культуры и отдыха. О своих впечатлениях Юлия писала сдержанно, больше о детях, но Татьяна ощутила в письме сестры острую боль растревоженного сердца.

...Мальчики убежали вперед. Обеспокоенная Юлия Аполлоновна ускорила шаг, вышла на широкую аллею и застыла от неожиданности. Вся аллея была заполнена народом. А над толпой голов возвышался, словно парил в воздухе, огромный портрет Антонио Грамши. Молодой, красивый, такой же, как 12 лет назад, когда они золотой московской осенью бродили по этим же местам. Мучительно сдавило сердце.

— Вам нехорошо? — тревожно спросила стоящая рядом девушка.

— Нет-нет, спасибо... Где-то здесь мои дети...

Дети были неподалеку, притихшие, неотрывно смотрели на портрет отца.

Людей становилось все больше, они выстраивались с плакатами и транспарантами возле выставленных в парке портретов узников тюрем разных капиталистических стран. Детей чуть оттеснили, Юлия Аполлоновна приблизилась к ним. Так они и стояли перед портретом Антонио

полета в многомоторный самолет-гигант «Максим Горький» вре-
зался истребитель.

Грамши, его жена и двое сыновей, стояли в рядах москвичей, пришедших отдать дань уважения мужеству и стойкости бойцов-антифашистов.

Осенью 1935 года начались военные действия против Эфиопии. К концу года итальянская армия достигла почти полмиллиона человек. Но еще несколько месяцев инициатива находилась в руках эфиопских войск. Только 5 мая 1936 года итальянские войска заняли столицу Эфиопии — Аддис-Абебу.

Все эти новости дошли до Грамши уже в клинике «Куисисана» в Риме, куда его перевели в августе 1935 года.

Еще одно известие, и известие волнующее, привез верный друг Пьеро Сраффа. С трибуны недавно завершившего свою работу VII Всемирного конгресса Коминтерна прозвучало имя Грамши. «Братья по оружию! — сказал основной докладчик Георгий Димитров, обращаясь к Грамши, Тельману и другим узникам фашизма. — Вы не забыты. Мы с вами».

Утром в клинику пришли два электромонтера с мотками тонкой проволоки.

— Проводят радио, — объяснил карабинер. — Приказ. Завтра в Риме дуче скажет речь.

К утру пятого мая на стене комнаты Грамши висела большая черная тарелка репродуктора. Довольно долго тарелка извергала невнятные шумы и хрипы, затем, словно репродуктор прочистил глотку, отчетливо прозвучал мужской голос. Грамши прислушался. Нет, это еще не Муссолини. Торжественно, с пафосом говорил диктор:

«Сегодня мы празднуем взятие Аддис-Абебы — столицы Эфиопии. Этой победы мы ждали сорок лет. И вот она, великая победа!.. В эти минуты на главные площади

итальянских городов идут колонны людей, торопясь занять предназначенное им место до сигнала... Слышите, сигнал! Он требует тишины... Дуче выходит на балкон палаццо Венеции...»

Из репродуктора раздался рев толпы. Затем воцарилась тишина.

«Я заявляю итальянскому народу и всему человечеству, что мир восстановлен!..» Вот это уже сам Муссолини. Грамши слушал не без любопытства, отчетливо представляя гримасничающего оратора.

«...Речь идет о нашем мире, римском мире, который заключается в простом и необратимом утверждении: Эфиопия принадлежит Италии!»

Снова оглушающий рев толпы...

Еще несколько дней черная тарелка извергала ликование...

После захвата Эфиопии в речах Муссолини все чаще стал звучать тезис о предначертанной историей миссии фашизма, призванного воссоздать «священную римскую империю на указанных судьбой холмах Рима».

В прошлое отошли времена, когда Муссолини подчеркивал свою демократичность. Сейчас он был для народа дуче — военный вождь, титул, заимствованный у древнего Рима, провидец, который всегда прав (лозунг «Муссолини всегда прав» постоянно внедрялся в сознание каждого итальянца). Газеты вещали о фашистском стиле жизни, который требовал «быстроты, решительности, динамизма» и прочих качеств «человека эпохи Муссолини». В десятках выступлений Муссолини утверждал принцип «врожденного неравенства людей».

Казалось, фашистский режим прочно держит в руках все нити управления государством. Но именно в момент кажущегося громогласного успеха в Италии все отчетливее стали вырисовываться признаки общественного протеста, который позднее привел к мощному движению

Сопротивления. Даже профильтрованной информации, поступавшей к Грамши в тюрьму, было достаточно, чтобы воспроизвести общую картину. Мог ли Муссолини представить, что в дни его триумфа где-то в жалкой тюремной клинике человек, в котором едва теплится жизнь, трезво, как опытный шахматист, анализирует и взвешивает возможные варианты, видит в казалось бы неприступной позиции роковые слабости, неизбежно приводящие к краху фашизма. Демагогия может оглушить, усыпить, загипнотизировать, но рано или поздно приходит усталость от трескучих фраз, приходят сомнения и, в конечном итоге, прозрение. Раньше других этот процесс охватывает молодежь, именно ту часть общества, на которую любой тоталитарный режим оказывает особое давление. Может быть, в этом слове и кроется причина или одна из причин, порождающих активное противодействие, желание критически переосмыслить происходящее.

Перед молодым итальянцем было три дороги: фашизм, следование по традиционному пути итальянского либерализма, коммунистическое движение. Все больше молодых людей входило в коммунистические группы.

Почти все предвидения Грамши сбылись, но ему это уже не суждено было увидеть.

После клиники Татьяна Аполлоновна зашла в лабораторию за медицинскими анализами и только потом направилась домой. Кончался холодный ясный день, какие нередко бывают зимой в Риме; в сгущающихся сумерках голые ветви платанов казались узловатыми руками, воздетыми в горестной жалобе к небу. Татьяна Аполлоновна смертельно устала, мечтала лечь и уснуть. Но посидев с четверть часа бездумно и не двигаясь, встала, зажгла спиртовку, поставила на нее кофейник и села за письмо в Москву.

«Рим, 16 февраля 1937.

Дорогая Юличка,

мне очень жаль, что с этой почтой Антонио не может написать тебе письмо, вот уже больше трех недель, как он стал чувствовать сильное недомогание, страдает сильными головными болями, бессонницей, и вследствие этого чувствует слабость. И вот уже две недели как он не встает с постели».

Кофейник настойчиво забулькал. Она потушила спиртовку, налила в чашку черную как деготь жидкость (Татьяна Аполлоновна из-за сердца старалась не пить крепкий кофе, но сегодня надо побороть усталость), накрыла кофейник цветастой русской «бабой» (московский подарок), обжигаясь, торопливо сделала несколько глотков и продолжила:

«...Сегодня, когда я пришла в клинику в двенадцать часов, Антонио не слышал, как я вошла, и лежал пластом, так прошло около получаса, пока я закашлялась, и он тогда сразу отозвался, и очень жалел, что я не позвала сразу, как пришла. У него сегодня страшная головная боль. Когда принесли обед и я стала ему помогать есть, он опять-таки выразил сожаление о том, что я его не позвала раньше. Этим он хотел сказать, что мы должны были вместе сговориться о том, что я должна тебе написать от его имени, так как он не в состоянии это сделать сам.

Во-первых, он просил написать тебе о причине, вследствие которой он сам не написал тебе в этот раз. Его нездоровье. Во-вторых, сообщить... что мы сейчас ожидаем выяснения его юридического положения в связи с амнистией... по случаю рождения наследника у пьемонтского принца. До настоящего дня еще не был напечатан декрет по этому вопросу. Но как бы то ни было, положение Антонио должно измениться. И вот... он просил меня написать тебе, чтобы ты непременно, со следую-

щей почтой написала: приедешь ли ты в Италию или нет?»

Вопрос задавался не впервые. Ожидание приезда в Рим Юлии с детьми сменилось недоумением и горечью. И только недавно она выяснила истинную, а не выдуманную причину неопределенных, уклончивых ответов сестры. Недомолвки между горячо любящими людьми, продиктованные желанием уберечь друг друга от лишней боли, в результате причинили обоим сторонам душевную травму.

О недомогании Юлии она знала давно. Естественно, знал и Грамши. Эта тема затрагивалась в письмах многих лет. Речь шла о нервной депрессии, о нервном истощении — состоянии более чем понятном и объяснимом психическим напряжением, которое возникло у молодой женщины после ареста мужа и не ослабевало с годами его заключения. Нервная депрессия излечима, в письмах Грамши осторожно пытается помочь Юлии Аполлоновне преодолеть своеобразный психологический барьер, ласково и настойчиво внушает жене уверенность в ее внутренней силе. «Ты гораздо сильнее, чем сама предполагаешь... ты недооцениваешь своей собственной силы» — вот мысль, которую Грамши терпеливо повторяет.

Мысль эта — результат многих раздумий; Татьяна Аполлоновна их свидетельница, в известном смысле, соучастница. Антонио советовался с ней, поначалу в письме, потом на свидании в тюрьме... Где же письмо?..

Последнее время агенты перестали обыскивать Татьяну Аполлоновну при входе и выходе из клиники. Письма Грамши она стала выносить «на волю» и перед отсылкой на всякий случай переписывала их.

Она перебирает толстую, тщательно хранимую пачку... Кажется, вот... Да. «Я не пишу Юлии, и потому, что я все еще не могу определить, какой позиции мне лучше всего и целесообразнее всего придерживаться в отношении

Юлии, учитывая ее положение и ее душевное состояние.

Вот это мне кажется невероятно трудным и сложным, я всячески пытаюсь найти какой-то выход, но не могу его найти и не уверен, что это мне удастся. Я хотел бы подробнее поговорить с тобой обо всем этом, с тем чтобы ты постаралась помочь мне». Она помогла как сумела. Но сумела ли?..

Татьяна Аполлоновна снова и снова перебирает пачку. Надобности в этом нет: она и так помнит каждую строку.

«25 января 1936 года.

Дорогая Юлька...

Я еще не решил, должен ли я писать тебе или нет. Мне кажется, что уже тем, что я пишу тебе, я как бы насиливаю твою волю... Ты сама должна решить, как долго ты здесь пробудешь. Пусть эта поездка не накладывает на тебя никаких обязательств и пусть главной ее целью будет окончательное восстановление твоего здоровья, дабы ты могла вернуться к нормальной трудовой жизни. По-моему, ты должна понять, что эта поездка необходима для тебя, для детей (поскольку при настоящем положении вещей их будущее в значительной мере связано с тобой, с твоей работоспособностью), а также необходима в силу целого ряда других соображений.

...Я прежде всего твой друг, и после десятилетней разлуки мне поистине необходимо поговорить с тобой как с другом, со всей откровенностью, без обиняков.

Вот уже десять лет как я отрезан от мира... Я очень изменился,— по крайней мере мне так кажется,— но и ты не могла остаться прежней. Пусть тебя не беспокоит практическая сторона дела: я думаю, что все это можно будет уладить.

Антонио».

Она переживала за обоих, писала родным, что Антонио плохо, что приезд Юлии необходим. Ответы приходили неясные, туманные. Ничего не понимала, сердилась, снова писала. В Москве с болью читали ее злые письма, созывали семейные советы и никак не могли решиться сообщить в Рим правду. А правда заключалась в том, что по состоянию здоровья Юлия Аполлоновна не могла совершить такую поездку, тем более с детьми.

5 сентября 1936 года Татьяна Аполлоновна сделала то, что, по-видимому, следовало сделать раньше: написала матери (Аполлона Александровича уже не было в живых) и попросила откровенно ответить, что она думает по поводу приезда Юлии в Рим. Не дожидаясь ответа, торопит сестру: «Скорее приезжай!»

Юлия Григорьевна поступает разумно и осторожно: передает решение вопроса врачам. Созывается копсимум. Мнение единодушное и категоричное: ехать нельзя, нервное напряжение, неизбежное в такой сложной поездке, неминуемо спровоцирует приступ болезни.

В последнем месяце уходящего года Татьяна Аполлоновна наконец получает подробный и все же не вполне ясный ответ. Можно ли надеяться на улучшение здоровья Юлии? У Татьяны Аполлоновны сохранились кое-какие связи в римском медицинском мире; она пишет родным, что переведет полученные данные на итальянский язык, затем покажет их кому-нибудь из здешних «светил».

Нужно сообщить больному грустную новость, но слова буквально застревают в горле. Грамши внимательно смотрит на свояченицу: «Ты получила письмо от мамы или Жени? Прочитай его вслух, Танечка». Растерялась, сказала, что забыла письмо дома. Грамши молчал. Он уже не упоминает о приезде Юлии.

«5 января 1937 года.

Дорогая Юлька...

твои письма я перечитываю много раз: сначала так, как читаются письма самых дорогих нам людей, так сказать, без определенной цели, то есть лишь с чувством нежности к тебе; затем я их перечитываю «критически», стараясь угадать, как ты себя чувствовала в тот день, когда ты писала мне, и т. д.; я обращаю внимание также и на почерк, на то, насколько уверенно водила пером рука, и т. д. Словом, я стараюсь извлечь из твоих писем все возможные сведения и уловить все, что в них может быть заключено.

Ты прекрасно пишешь о детях, и мои постоянные жалобы объясняются тем, что никакие впечатления, даже твои — Юльки, которую я ощущаю как часть меня самого, — не могут заменить непосредственных, живых впечатлений, если бы я имел возможность видеть детей воочию, возле себя, я, несомненно, нашел бы в них что-то новое, другое. Да и сами мальчики были бы, наверное, другими. Ты не находишь? Совершенно «объективно».

Дорогая, я хочу, чтобы ты обняла за меня маму и передала ей вместе с моими добрыми к ней чувствами наилучшие пожелания по случаю дня ее рождения. Мне думается, что ты всегда знала, насколько мне трудно (а мне это очень трудно) выказывать свои чувства, этим ведь и объясняются многие тяжкие недоразумения. В итальянской литературе писали, что если Сардиния — остров, то каждый сардинец — остров на этом острове.

Дорогая, обнимаю тебя со всей нежностью.

Антонио».

Татьяна Аполлоновна вкладывает письмо Грамши, точнее — копию его, в пачку и задумывается. Можно ли снова спрашивать бедняжку Юлю о приезде? Татьяна Аполлоновна смягчает прямолинейность вопроса: «если

твое здоровье позволит», и объясняет, почему необходима полная ясность: «отсрочка на неопределенное время будет значить, что он не должен ждать тебя, оставаясь в Риме, и поэтому сделает нужные шаги, чтобы ему разрешили поехать в Сардинию...»

Предстоит самое трудное — сообщить в письмо в Москву о тяжелой болезни Грамши, сообщить всю правду. Более двух лет Грамши не выходит из своей комнаты, малейшее физическое усилие вызывает нарушение сердечной деятельности, почти всегда держится повышенная температура. Татьяна Аполлоновна не могла больше ничего утаивать.

«Теперь о детях. Жаль, что от них нет письма. Антонио... сказал мне, что он все-таки думает, что сможет их увидеть раньше, чем прекратится его жизнь. Он говорит, что убежден, что не долго будет жить...»

Татьяна Аполлоновна пытается смягчить трагическую определенность сказанного:

«Эти слова его, конечно, не должны означать, что сейчас жизнь Антонио находится в опасности. Это абсурд». Но сама понимает, что «это» — не абсурд. Надеяться на выздоровление можно только при радикальной перемене в жизни больного. Грамши обдумывает разные варианты, которые могут возникнуть после отбытия срока тюремного заключения. Намечены планы, условно говоря — основной и резервный. Основной — подать прошение о выезде к больной жене в Москву, с приложением медицинских заключений советских и итальянских врачей. В случае неудачи, то есть отказа итальянских властей в разрешении на выезд больного в СССР, Грамши решает заявить о согласии подвергнуться высылке на родину в Сардинию. «Антонио считает, что будет гораздо легче бежать из Сардинии, чем из Италии, — сообщает Татьяна Аполлоновна 24 марта Жене и предупреждает: — Об этом нельзя заикаться, чтобы не началась болтовня».

В этом же письме есть фраза, точнее — две фразы, очень важные для понимания нечеловеческих усилий, которые делает Грамши в надежде «выстоять!»: «Антонио считает своим долгом сделать все, чтобы восстановить свое здоровье, свою работоспособность. Эта мысль его всегда преследует».

24 марта Татьяна Аполлоновна пишет также и Юлии. Ни слова о поездке в Италию — уже все ясно, основное в письме — сообщение о пребывании в Риме Пьеро Сраффа: «Антонио в эти дни имеет большую радость — приехал его навестить его друг Пьеро... и вот сегодня 3-й день у Антонио визит утром и вечером. Как он счастлив видеть человека, с которым можно беседовать. Меня бесконечно трогает его удовольствие... ему так много хочется рассказать и самому услышать. Беседы эти его, конечно, очень утомляют, но это для него больше, чем воздух, которым он дышит...»

Одной из тем бесед, если не главной, были события в Испании.

18 июля 1936 года в Испании началась гражданская война. Мятежники, поддерживаемые фашистскими Германией и Италией, пытались задуть республику.

Антифашисты из разных стран прибыли в Испанию, чтобы встретить общего врага с оружием в руках. Среди них многие, упоминавшиеся на страницах этой книги.

В составе 1-й интернациональной эскадрильи военно-воздушных сил Испанской республики воевал Примо Джибелли.

10 ноября 1-я интернациональная эскадрилья получила задание уничтожить бомбовым ударом огневые позиции на фронте юго-западнее Мадрида. Долго и тревожно ждали на аэродроме возвращения Джибелли.

31 декабря 1936 года Примо Джибелли посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В начале 1937 года итальянская печать глухо наметнула на существование секретного договора между генералом Франко и Муссолини и громко трубила о победах итальянских подразделений в Испании. К весне численность итальянских войск на Пиренейском полуострове достигла 40 тысяч человек. Целый экспедиционный корпус, обильно снабженный военной техникой, готовился к наступлению на Мадрид с севера.

После десятидневных боев под Гвадалахарой экспедиционный корпус Муссолини потерпел жестокое поражение. В числе других частей республиканской армии под Гвадалахарой сражалась батарея «Антонио Грамши». До Гвадалахары в послужном списке батареи уже числилось наступление на Теруэль, сражение под Поркуной. Позднее к списку прибавились сражения под Брунете, Вильянуэва дель Пардильо и другие.

Сраффа уехал, пообещав скоро снова увидеться. Грамши покачал головой, но ничего не сказал. Сил становится все меньше и меньше. Грамши прощается с женой и сыновьями.

«Дорогой Делио,
чувствую себя немного уставшим и потому не в состоянии писать тебе много. А ты пиши мне по-прежнему обо всем, что тебя интересует в школе. Я полагаю, что и ты любишь историю, как любил ее я в твои годы: ведь история повествует о живых людях, а все то, что касается людей,— возможно большего числа людей, всех людей мира, которые объединяются между собой в общество и трудятся, и борются, и совершенствуются,— не может не интересоваться тебя превыше всего остального. Но так ли это?

Обнимаю тебя.

Антонио».

Благодаря нескольким амнистиям срок его заключения истек 23 апреля 1937 года.

Днем 25-го Татьяна Аполлоновна принесла в клинику документ об освобождении.

Грамши спокойно полистал документ.

Он поужинал, как обычно, поел немного вареных фруктов и кусочек булки.

Юридически Грамши был уже свободным человеком. И тогда судьба наносит свой последний удар. Кровоизлияние в мозг, паралич левой стороны тела. Мозг еще продолжает работать, больной в полном сознании. Приходит священник, костенеющим языком Грамши требует, чтобы он удалился.

Последние часы борьбы за жизнь. Окончилась ночь, и окончилась жизнь. Смерть наступила в 4 часа 10 минут 27-го апреля 1937 года.

Татьяна и брат Антонио Карло хлопочут о похоронах. У гроба Грамши только они двое и многочисленные агенты полиции. Антонио Грамши стерегут даже после смерти.

Десять лет Татьяна Аполлоновна Шухт самоотверженно пыталась облегчить участь узника. Сейчас эта хрупкая, болезненная, но бесконечно мужественная женщина вступила в борьбу за память дорогого человека. Ей удастся получить разрешение снять с Грамши посмертную маску. Ей мы обязаны спасением тюремных тетрадей Грамши — драгоценного наследства, оставленного им партии, итальянской культуре, международному рабочему движению.

«Ты, запомнившая так много из прошлого,— помнишь ли ты, как я говорил тебе, что «иду на войну»? Быть может, это говорилось не очень серьезно, но по существу это было очень серьезно, я чувствовал, что это именно так. И я тебя очень, очень любил. Будь сильной...»

ЭПИЛОГ

Минуло десятилетие, изменившее лицо мира. Еще до окончания войны — в июле 1943 года — фашистский режим в Италии рухнул. Однако гитлеровцы не намеревались покидать оккупированную территорию. Коммунистическая партия сумела сплотить силы нации и возглавить самоотверженную партизанскую борьбу. Всенародное восстание 25 апреля 1945 года завершило освобождение страны.

В один из мартовских дней 1948 года к тюрьме в Тури двигалась странная процессия. Впереди шествовал чиновник, срочно командированный из Бари — центра провинции — для встречи и приема гостей. За ним, соблюдая дистанцию в полшага, семенил мэр города Тури, поминутно оглядываясь назад. Каждая лужа или выбоина, а таких на пути оказалось немало, вызывала беспокойство мэра. Его тревожила и длинная каменная стена, мимо которой им предстояло пройти. На этой серой стене еще в двадцатых годах кто-то написал красной краской: «Ленин». При фашизме надпись неоднократно соскабливали, но она упорно появлялась все снова и снова, и даже без краски, по выскобленным углублениям можно было прочесть: «Ленин». Мэр вспомнил, как однажды он, боязливо отворачиваясь, пробирался мимо стены, чтобы его, не дай бог, не заподозрили.

Сейчас он тоже с тревогой ждал, когда покажется серая стена. Вдруг там нет надписи!.. Надпись была. Мэр с удовлетворением прочитал: «Ленин».

Волнение, впрочем, не проходило. Ему — захолустному чиновнику — довелось сопровождать сыновей самого Антонио Грамши. Молодые люди приехали в Тури из далекой Москвы. Мэр считал, что на его долю выпала большая честь.

Сыновья Грамши — Делио и Джулиано заканчивали свое путешествие по Италии. В 1947 году Антонио Грамши был посмертно награжден высшей итальянской литературной премией «Виареджо». Для получения премии в Италию пригласили детей Грамши. Они приняли участие в церемонии вручения премии, полученные деньги передали в фонд коммунистической партии и как дорогие гости партии объехали много городов и сел.

В нашу задачу не входит рассказ о необыкновенном путешествии двух молодых людей, вчерашних московских школьников, которых вся Италия встречала как детей своего национального героя. На многотысячных митингах гремели слова приветствия, люди приходили издалека, чтобы посмотреть на сыновей «нашего Грамши», а если повезет и удастся протиснуться поближе, — пожать им руку.

Потрясенные всенародной любовью к памяти отца, оглушенные виденным и пережитым за несколько месяцев, молодые люди шли сейчас к тюремным воротам, меньше всего замечая выбоины и лужи, которые так беспокоили мэра.

Процессия остановилась. У тяжелых, окованных железом ворот ждали чины тюремной администрации, тщательно выбритые, в начищенных мундирах, во главе с начальником тюрьмы. Тем самым начальником, с которым Антонио Грамши вел непрерывную борьбу за право работать, право писать. И тюремный врач был здесь, тот

самый субъект, который осквернил самое имя врача отказом тяжело больному Грамши в медицинской помощи. У волков вырвали зубы, но они продолжали существовать.

Кого это начальник тюрьмы выталкивает вперед? Надзиратель Вито Семерано. Ему можно пожать руку.

— Я слежу, чтобы доска была в порядке,— говорит Семерано, показывая на гранитную плиту, прикрепленную рядом с тюремной дверью. На плите выбито:

«В этой тюрьме жил в заключении Антонио Грамши, учитель, освободитель, мученик, который предрек безумным палачам гибель, погибающей Родине — спасение, трудящемуся народу — победу».

Эта доска была прибита 27 апреля 1945 года — в одну из годовщин смерти Грамши.

Гулкими тюремными коридорами гости подошли к двери, когда-то на долгие годы она захлопнулась за узником.

Снова доска: «Камера, в которой содержался Антонио Грамши».

Камера пуста. Обстановка, хорошо известная по письмам Грамши. Ничего не изменилось. И сосед Антонио Грамши, араб, пожизненный узник, жертва судебной ошибки, продолжал отбывать свое бесконечное заключение.

Нельзя ли войти к этому человеку? Начальник поморщился, но разрешил. Лязгнули засовы... Старик судорожно забился в угол. Он был безумен.

Снова по гулким коридорам, в сопровождении «почетного эскорта» надзирателей к выходу. Как хорошо дышится вне стен тюрьмы.

А на площади уже собрались люди, местные и приезжие. Они стекались со всех сторон: пешком, на велосипедах, мотоциклах, чтобы почтить память человека, жившего, боровшегося и принявшего муки ради их будущего.

И еще прошло время. Три десятилетия. Можно было бы рассказать о том, как ИКП — одна из самых мощных коммунистических партий капиталистического мира — бо-

рется за создание в Италии нового общества. И о том, как в мире растет влияние Грамши, его трудов, его смелой творческой мысли, может быть, в не меньшей степени — влияние его высокой нравственной позиции Коммуниста.

И еще о многом, принципиально важном и нужном, вероятно, следовало бы сказать!

Но ограничимся одним любопытным эпизодом.

Весной 1972 года автор этой книги жил и работал в писательском доме творчества под Москвой, почти рядом с санаторием, в котором находилась Юлия Аполлоновна. Часто навещал ее. В один из погожих апрельских дней подошел к знакомому трехэтажному зданию. У подъезда стояла машина, толпились люди. Не так уж много, но все же непривычно толпились. Обычно на скамьях сидели пожилые люди, неторопливо беседовали, грелись на весеннем солнышке. Распахнулась входная дверь, в сопровождении главного врача вышел корреспондент газеты «Унита» в Советском Союзе Карло Бенедетти и еще двое.

— Товарищ приехал из Италии к Юлии Аполлоновне. С письмом от Луиджи Лонго, — торопливо пояснил Бенедетти. — Извините, пожалуйста, мы опаздываем.

— Как фамилия товарища?

— Тромбетти.

Услышав свою фамилию, уже сидевший в машине Тромбетти приветливо помахал рукой. Машина тронулась. Я смотрел вслед и не мог прийти в себя от изумления. Тромбетти, легендарный Густаво Тромбетти, тот самый рабочий, который ухаживал в тюрьме за тяжело больным Грамши и обещал передать привет его жене.

...Дверь в комнату Юлии Аполлоновны была открыта. На столе в кувшине пламенел огромный букет ярко-красных цветов. Было похоже, что цветы самолетом доставили из Италии. А на кровати сидела счастливая Юлия Аполлоновна.

Через несколько дней газета «Унита» напечатала репортаж о посещении Юлии Аполлоновны с дословным изложением взволнованной речи Тромбетти.

«Дорогая товарищ Джулия!

Я знаю тебя давно. В те долгие дни, когда мы с Грамши сидели в одной тюремной камере, он ежедневно рассказывал мне о тебе, о маленьких Делио и Джулио.

Я был рядом, когда ему не удавалось заснуть и он мучился и страдал от тысячи перенесенных унижений.

Я как мог старался помочь ему, понимал его желания. Он говорил, что ты всегда волновалась за него и за детей, но держалась мужественно, как никто.

И вот через столько лет я приехал сюда повидаться с тобой и передать тебе письмо от товарища Лонго и букет красных цветов — скромный подарок от руководства нашей партии.

Я приветствую тебя от имени миллионов и миллионов итальянцев, которые в память об Антонио борются за новую Италию, за социализм».

«После этих слов, — пишет «Унита», — последовало долгое, взволнованное объятие и крепкое рукопожатие Джулии и товарища Густаво Тромбетти, ветерана нашей партии, который был приговорен специальным трибуналом к 10 годам заключения и прожил с Грамши девять месяцев в тюрьме в Тури...»

...В тюремной камере товарищ по партии обещал узнику передать привет его далекой жене!.. Долго шел этот привет. Четыре десятилетия! И все-таки пришел!

Коротко о судьбах других героев книги.

Похоронив Грамши, Татьяна Аполлоновна взяла на себя весь груз хлопот, неизбежных после смерти близкого человека, особенно мучительных, когда за каждым твоим шагом следят подозрительно-враждебные глаза. Приведена в порядок могила, заказаны отливки маски и

руки покойного, немалыми трудами отосланы в Москву личные вещи Грамши и его библиотека. Никто еще не представляет подлинного значения «Тюремных тетрадей», не представляет до конца и Татьяна Аполлоновна, но ведь это — часть жизни Грамши! Она пытается систематизировать, описать гигантский труд заключенного, понимает, за какую непосильную задачу взялась, и все-таки не отступает.

В декабре 1938 года Татьяна Аполлоновна приехала в Москву.

Война обрушила новые бедствия на многострадальную семью. В 1943 году Татьяна Аполлоновна скончалась в эвакуации во Фрунзе, за год до того похоронив мать.

Дети выросли, выбрали жизненную дорогу.

Старший сын Грамши, Делио, — офицер Краснознаменного Балтийского флота, капитан первого ранга, воспитатель многих сотен советских военных моряков. В октябре 1977 года ему довелось на военном корабле посетить Ливорно с «визитом вежливости», в поисках театра Сан-Марко пройти по улице, носящей имя его отца, на мемориальной доске, прикрепленной к уцелевшей в дни войны после бомбежек английской авиации стене театра, прочитать, что здесь 21 января 1921 года родилась Коммунистическая партия Италии.

Младший сын, Джулиано, — музыкант, преподаватель Московской консерватории. После первой поездки вместе с братом в Италию, о которой мы рассказали, он посетит эту страну еще не один раз, побывает на могиле отца в Риме, повстречается со своими двоюродными братьями и сестрами.

В Милане живет одна из дочерей Терезины Мимма. Когда-то, в ответ на ее ласковое детское письмецо в тюрьму, Грамши написал сестре: «Благодарю всех твоих малышей и не знаю, право, что бы такое сделать, дабы дать им почувствовать мою любовь к ним». Недавно в Италии

вышел едва ли не лучший за все годы сборник воспоминаний о Грамши — итог большой и любовной работы его составителя Миммы Паулезу.

В Сардинии живет Эдмея (Мея), дочь Дженнаро, судьба которой так заботила Антонио Грамши. Она учительница, мать восьми детей.

В Сардинии живет и Джованни Лаи, тот самый молодой коммунист, который в 1924 году охранял Грамши в Кальяри, а спустя семь лет встретился с ним в тюрьме в Тури.

В Москве живут дочери Джибелли и Де-Марки. Лучану Де-Марки увидеть очень просто: нужно посетить спектакли Театра киноактера — «Красное и черное» по роману Стендаля, где она исполняет заглавную роль г-жи де Реналь, «Варвары» А. М. Горького (Лидия Богаевская).

Дочь Героя Советского Союза Примо Джибелли, Эрнестина, — инженер. У нее большая, дружная московская семья и еще больше родичей в итальянском городке Караваджо.

В гостеприимной квартире Джибелли в Москве бывают сыновья Грамши, дочь Чиваллери Лидия Эрнаньева, инженер из Тамбова, и дети других «туринцев».

Эрнестина Примовна по крупицам собирает все, что напоминает о бурной, целеустремленной жизни отца, и помогает жителям Караваджо создать музей его имени. Иногда она с мужем ездит в Италию, привозит оттуда новые впечатления о стране, приветы многочисленных родственников и... рецепты итальянской кухни. В свою очередь Эрнестина Примовна научила кулинаров Караваджо варить украинский борщ.

Хотелось бы завершить книгу на этой идиллической ноте. Но беспокойно в Италии, и летом 1976 года Эрнестину Примовну ждала горькая весть: ее двоюродный брат, секретарь секции ИКП поселка Мазано (секция

носит имя Примо Джибелли), был найден мертвым на дороге. Рядом валялся его покореженный велосипед. Незнакомый автомобиль скрылся. И хотя в этом отчетливо просматривалась рука неонацистов, полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай.

Осенью того же года дочь Примо Джибелли снова приехала в Италию. В дни ее пребывания в Караваджо на секретаря секции ИКП этого города было совершено покушение: его сбил неизвестный автомобиль, сбил почти на том же месте, где произошел предыдущий «несчастный случай». На совет Эрнестины Примовны «быть осторожнее» раненый только усмехнулся.

...В «большом и грозном мире» — ради его будущего жил Грамши — продолжается острая борьба.

«...Обратимся, если сможем, душой и стремлениями к примеру этой жизни...

Пусть гордятся рабочие, пусть гордится передовая интеллигенция тем, что основателем их партии был один из самых могучих умов современной Италии.

Пусть каждый из нас своим трудом в меру сил способствует успеху дела, которое им было не только начато...

Пусть ведет нас воспоминание о Великом, который жил в грозу, но сквозь грозу заставлял звучать свой спокойный голос мыслителя, показав высокий пример несокрушимой воли человека действия.

Он оставил самый глубокий след. Семя, брошенное им, уже принесло плоды».

Пальмиро Тольятти.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5

ЧАСТЬ I

В СТРАНЕ СТА ГОРОДОВ

Турин, весна 1913 года. Первая половина дня	11
Рим, весна 1913 года. Первая половина дня	28
Рим, весна 1913 года. Вторая половина дня	38
Турин (за рекой По), весна 1913 года. Вторая половина дня	45
Турин, весна 1913 года. Вторая половина дня	51
Турин, начало лета 1913 года	59

ЧАСТЬ II

«ОРДИНЕ НУОВО»

Глава первая. «Да здравствует социализм!»	60
Глава вторая. Спор с великим идеалистом	87
Глава третья. От Ливорно до Рима	98
Глава четвертая. Генуэзская конференция	119

ЧАСТЬ III

«СВЕТИ, КАК ПЛАМЯ!»

Глава первая. Юлия	154
Глава вторая. «Свети, как пламя!»	188
Глава третья. Убийство депутата Маттеотти	221
Глава четвертая. Остров нищих и гордых	240
Глава пятая. Татьяна	253
Глава шестая. Счастье совместной борьбы	267

ЧАСТЬ IV ВЫСТОЯТЫ!

<i>Глава первая.</i> «Большой процесс»	313
<i>Глава вторая.</i> Бойцов не оплакивают	338
<i>Глава третья.</i> Дом, в котором он никогда не жил	362
<i>Глава четвертая.</i> Выстояты!	375
Эпилог	407

Хигерович Рафаил Исаевич

X42 Бойцов не оплакивают: (Повесть об Антонио Грамши).— М.: Политиздат, 1979.— 416 с., ил.— (Пламенные революционеры).

X $\frac{10302-100}{079(02)-79}$ 284—79 0901010000 P2 + ЗКИ1(092)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *А. А. Мочалова*

Художник *Н. Л. Двигубский*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 1783

Сдано в набор 20.12.78. Подписано в печать 08.05.79. А 01771. Формат 70×108^{1/32}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Условн. печ. л. 18,81. Учетно-изд. л. 18,82. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 668.
Цена 1 р. 50 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.